

Тамара Логачева

Рождённая
В СССР

Харьков
"Майдан"
2012

ББК 84(2РОС)
Л 69

*Дизайн обложки
Елена Кожевец*

Логачева Т. М.

Л 69 Рожденная в СССР. — Харьков: Майдан, 2012. — 370 с.
ISBN

Эта книга написана журналистом. Человек, посвятивший себя журналистике, по сути, пишет собственную Историю практически всю жизнь. Она состоит из множества отдельных, внешне не связанных между собой текстов, где, вопреки временной последовательности событий, реализуется эмоциональная последовательность внутреннего «я», а событийность «большой истории» пронизана собственной внутренней «Историей», о которой внимательный читательский взгляд может только догадываться.

В сознании автора эти две «Истории» слиты воедино. И когда мысль обращена в прошлое, где все пребывает в неявленном виде, ум пытается преодолеть привязанность к себе, вторичной, где эклектика чувств и желаний, плетиво иллюзий и сновидений чаще всего служит только фоном для внешних событий.

Автор как бы одновременно проживает в двух разных мирах, где все слито и взаимопроникаемо, нет главного и второстепенного, а в свете уходящего дня различимы контуры и знаки топологии Души и того Времени, в котором мы жили и продолжаем жить.

ББК 84(2РОС)

© Логачева Т. М., 2012

Альфред Тульчинский (Нью-Йорк):
«Я счастлив, что родился в Союзе
и не стал стопроцентным американцем»

У нас в Нью-Йорке — поздняя весна. Вокруг масса цветов, аккуратные лужайки. Я знаю, в Харькове сейчас начинают цвести каштаны и акация, распускаются цветы на клумбах. Природе мало дела до человеческих проблем, хотя, заметьте, она всегда показывает нам пример: живите так же красиво, как и я. Жаль, что мы этому так и не научились.

Огромный и не очень понятный мир. И мы в нем — маленькие и растерянные, как дети. Кто из нас мог представить себе тридцать лет назад, что наш мир будет иметь весьма условные границы, а расстояния будут навсегда перечеркнуты самолетным следом в небе, что обмен информацией станет легким и безопасным, и через океан смогут свободно обмениваться мнениями коллеги-журналисты.

Я считаю Тamarу Логачеву близким по духу человеком. Наверное, такое же чувство испытывают люди, нашидшие брата или сестру через долгие годы на другом конце Земли... Весь мир — это, по сути, информация. В ее бездонных океанах существуют глубинные связи между людьми, о чем они порой даже не подозревают. А потом вдруг какой-то толчок выводит ситуацию на пик, откуда люди видят, понимают, чувствуют друг друга.

Так случилось у меня с прекрасным, точнее — настоящим журналистом Tamarой Логачевой. Когда-то нас объединяло общее жизненное пространство, зовущееся Харьковом, его особой аурой, улицей Сумская, где располагалась редакция молодежной газеты. Как в задачке из детства: мы с нею вышли вместе с пункта «А», потом, уже «по-взрослому» пройдя самостоятельно пункты от «Б» до «К», встретились в точке «Л». Написал «Л», чтобы успокоить себя и Tamarу: мол, до конца алфавита еще достаточно времени... Казалось бы, мы с Tamarой Логачевой прошли свои дороги Добра и Зла. Почему же через десятилетия, через страны и континенты, нас волнуют одни те же вопросы, одни и те же беды?..

*

Память! Ничего на свете нет важнее для человека. Бог дал мне добрую память. Поэтому, всякий раз приезжая в Харьков, я обязательно

встречаюсь с друзьями раннего детства, институтской поры, коллегами-журналистами. Знаю, что в Харькове у меня есть друзья и среди них — Тамара Логачева. Сразу оговорюсь: больше всего мне не хочется, чтобы кто-то из молодых принял этот мой монолог за попытку учить кого-то жить. Это — исключается. Тем более, читатель сейчас такой подкованный и свободный, что может и обязан иметь свое личное мнение по любому вопросу. Моя роль достаточно проста — помочь избавиться от иллюзий и спуститься на Землю — грешную, но все равно прекрасную.

Главное, что сегодня мешает миллионам людей — это устойчивые иллюзии. О чем бы мы ни говорили или спорили, какой бы государственный строй ни ругали или хвалили, необходимо знать: оценки любого социального строя меняются. И это происходит по мере нашего избавления от иллюзий.

Общество должно оцениваться по человечности его внутренних связей. Незавершенный «социалистический эксперимент» в СССР создал общество, часть которого жила в наиболее человеческой среде. Нигде и никогда в мире не было такой человеческой общности, что звалась — «советский народ». И это при всех ужасах былой власти... Тот, кто сегодня ругает советскую бюрократию за ее бесчеловечность, понятия не имеет, что такое, например, американская бюрократия. Конечно, Америка — удобная для жизни страна. Но нет в ней и не может быть главного — человечности.

Американцам проще: они впитывают свою внутреннюю бесчеловечность с искусственным молоком из детского питания. Всем, приехавшим туда, как в чужом монастыре, приходится учиться выживать в новой среде, а это очень и очень непросто.

*

Многим, живущим в Украине, кажется, что именно у них — самое тяжелое общественное положение, самая мрачная перспектива. Но сегодня такой же социальный мрак царит практически в любой точке Земли. Правда, в разных формах. И у нас в США — тоже. В начале девяностых, когда, приезжая в Украину, я рассказывал элементарные вещи о жизни на Западе, многие были огорчены. Они, наверное, ждали от меня историй в стиле мексиканских сериалов — паточных и терпких, но никак не горьковатых или хотя бы нейтрально пресных. Говорю я это к тому, что и сейчас, после долгих лет украинской независимости, когда очень многое понято и прочувствовано, главное — это обыкновенная правда о «ЕСТЕСТВЕННОМ» капитализме и положении человека в его системе координат. Для людей, оказавшихся в зоне «искусственного», еще более уродливого капитализма, нужнее этой информации нет ничего. Ваши журналисты, как правило, об этом не

пишут: им не с чем сравнивать, а переводить для читателей с языка на язык «информацию» о Западе или о выживании там по законам банковского, страхового или биржевого капитала бессмысленно.

Полоснули по живому

Лично я много лет получаю американский опыт методом опасных проб и печальных ошибок. Поверьте, коварных ловушек и подводных ям здесь немало, а научиться избегать их так же сложно, как и переходить пешиком минное поле. Народ у вас старается принять особую форму жизни — «рыночную». Но можно ли ее навязать людям с иной, давно сложившейся психологической основой? А ведь таких людей в Украине, все-таки, как минимум, половина населения страны. Как они выживают? А молодые да ранние, которые усвоили главное: прав тот, у кого деньги? Что вообще знают они об истинной цене денег, цене жизни? Вопросы, вопросы...

Тамара Логачева в нашем диалоге через океан как-то написала о том, что всем нам нужен «душевный покой». Душевный покой — не как дачная безмятежность или пасторальный рай, а как психическая основа, как фундамент состояния, без которого человеку невозможно ни работать, ни творить, ни жить. Человек, потерявший душевный покой, «негоден к строевой», к строю не армейскому, а государственному. Вот ведь где проблема!

Тамара Логачева права: выживающее общество Украины да и России, происходящие в них процессы не поддаются элементарной социальной классификации. Никто не знает, как назвать сегодня такой строй, а точнее — его отсутствие.

Очень трудно начинать новую жизнь. Тем более — в непредсказуемых условиях. Нужно быть готовым на внутреннее очень болезненное преодоление, ломку стереотипов. Власти нужно было иметь четкую программу действий, чтобы жизнь постепенно вошла в нормальное, пусть и новое, русло. Но никакой новой программы не было. Спросите любого хирурга — возьмется ли он за скальпель, если нет методики или плана операции? Нет, никогда, ибо такая шальная операция — преступление. Почему же никто не подумал о преступной операции над своим народом? Просто взяли скальпель и полоснули по живому...

Тамара Логачева точна в оценках нашей советской и постсоветской реальности. Но я признаю: я счастлив, что родился в СССР и не представляю себя родившимся на Западе и ставшим стопроцентным американцем. Нет однозначных оценок нашего прошлого, но кто посмеет отрицать: большинство из нас, живших в СССР, несмотря на власть и все ее выверты, оставались достойными и человеческими людьми. В нас жила порядочность, жили чувства добра

и справедливости. Да, пусть во многом наивные, но они были. Они и сейчас живут во многих душах бывших советских людей.

Неприкаянная свобода

А вот у американцев практически отсутствует понятие «нравственность». В словарях есть такое слово, но переводится оно как... «мораль». Это же курам на смех! Нравственность — это органическое желание или возможность человека жить по совести, а мораль — всего лишь свод правил поведения... Но тут, на Западе, это никого не волнует. Все живут по принципу: если мои действия не противоречат закону, значит, я имею на это право. А нравственно это или нет, об этом не принято думать.

Я хорошо понимаю острую, ставшую хронической, боль Тамары Логачевой, когда она говорит о журналистике. Не приемлю расхожей у вас фразы о том, что «журналистика — четвертая власть». Когда нет по-настоящему, независимых изданий, когда все зависит от «руки дающего» или от исполнительной власти, можно только жонглировать словом «власть». Быть властью пресса не может — она ничего не решает. Пресса может только «предлагать» или «сердиться».

Я уверен: и сегодня у вас наверняка есть прекрасные, честные, искренние журналисты. Многие из них начинали еще в советские годы. В старые времена тоже встречались негодяи и проходимцы, но все-таки их было меньше, чем сегодня.

Нынешним молодым журналистам можно посочувствовать. Даже если он или она изначально порядочны, у них нет времени и возможности учиться. Они со старта должны всех «закидать шапками» крикливых слов. Им некогда думать, некогда искать. Нужно гнать многотонные «порожняки» слов.

*

Когда-то в Харькове было всего несколько газет, одно телевидение и одно радио. Журналистов было мало, все знали друг друга. Сегодня — множество изданий, но кто эти люди, пишущие от лукавого или что придет в голову? Откуда вдруг столько журналистов? Похоже, многим из них все равно, где работать: в базарном киоске или в газете, но в газете вроде бы престижнее... Нет серьезной глубокой критики Ее заменило хамство. Еще хуже — ёрничанье и откровенная грязь. В изруганном вдоль и поперек СССР этого не было, хотя не было и эдакой лихости в темах. Да, была цензура, но были и удивительные исключения.

Мне приятно сообщить харьковским читателям, что я, наверное, был первым советским журналистом, сумевшим на телевидении (пусть и в далеком от Харькова Норильске) «сломать барьер запрета» и сде-

лать полуторачасовую острейшую телепередачу о детской проституции. И было это в 1967 году, в год 50-летия Октябрьской революции.

Я это к тому, что важна не тема, а ее воплощение на экране или на газетной полосе. Точнее — степень достоинства автора и его материала.

Сегодня многие мои коллеги, будучи в полной зависимости от своих хозяев, рекламодателей и еще каких-то сил, вместо того, чтобы искать что-то важное и полезное для читателя, — наоборот, закрывают ему дорогу ко многим вещам. Я уже говорил о чрезвычайной важности изучения опыта выживания на Западе сотен тысяч людей с той же советской ментальностью. Была позорная пора начала «перестройки», когда целые полосы ваших газет были отданы на откуп лимонным и максимовым — людям, которые диктовали, «учили жить».

*

Я считаю, никто из нас, живущих на Западе, не имеет права учить, давать рекомендации. Люди сами разберутся в том, кто есть кто и что есть что. Легко выпускать что-то на чужие деньги — судьба тиража не важна, деньги снова дадут. Поэтому о сегодняшней украинской и российской «освобожденной» печати нужно говорить с единственной позиции: пусть каждый редактор или журналист задаст себе простой вопрос — сможет ли выжить издание, если завтра НИКТО не даст ни копейки, ни гривны? Ответ на вопрос — вот истинная качественная оценка издания или телепрограммы. И оценку эту дает читатель, которого уже тошнит от политики и от грязи, порнографии и «компро-мата».

Мне кажется, пройдет немного времени — и начнется процесс естественного отбора во вкусах и модах. Люди будут слушать песни, которые им на самом деле нравятся, читать книги и газеты, которые им по душе. Хотя я понимаю: неприкаянная «свобода» уже убила часть молодых душ. Наверняка не все. Придет эра очищения, люди будут смывать с души наносы ила и грязи недавней эпохи, как солдаты после Победы смывали с себя грязь окопов и ужасы войны. После Победы, о которой часто и слышать не хотят некоторые нынешние девочки и мальчики. У них нет памяти. Их память измеряется не образами, а мегабайтами. У них чаще всего нет друзей, а есть «контакты». Они не знают о том, что в «ужасную советскую пору» их отцы и бабушки часто умели быть искренними и радостными и без порции героина.

Эти молодые люди одинаковы, по существу, и в Харькове, и у нас — в Манхэттене, и в Лондоне, и в Гонконге. Только в Манхэттене и в Лондоне на них уже никто давно не обращает внимания. Там — это норма. А в Харькове в это играют, как в казино — на удачу. Обидно, что в разрушенном Союзе сегодня есть десятки тысяч «эллочек-людоедок»

обоего пола, красящих кролика под котика и уверенных, что они и есть славное племя юных капиталистов. Анекдот!

*

Трудная у нас жизнь. Как только человек позволяет червю злобы влезть в свою душу, он обречен. Беда, когда это случается с молодыми. Внимательно взгляните в лица стариков. За скорбным выражением, за гримасами боли часто прячутся добрые глаза и добрые души. Это ведь они, старики, построили Город, в котором сегодня так вольно чувствуют себя юные и далекие от романтики дамы и господа.

Я очень верю в ЗАКОН СООТВЕТСТВИЯ. Человек должен ВНУТРИЕННО соответствовать своему образу жизни и суммам своих денежных трат. Этот закон — как приговор Судьбы. Его невозможно обойти или обмануть. Он безошибочно карает каждого, кто пытается играть чужую роль в жизни.

Украинский народ сыграл колоссальную роль в прошлой войне. Его доля в великой Победе советского народа огромна. Но спросите себя: что было бы с Украиной, если бы завтра случилась Большая Война? Заметьте, я ответа не даю. И буду счастлив, если мне скажут: а знаете, наши молодые люди, как и 70 лет назад, поднимутся грудью на защиту своей земли.

Я давно стараюсь найти ответ на вопрос: правда ли, что в любом государстве власть тотально влияет на народ? Или все-таки народ тоже во многом влияет на власть? Достаточно пожив по обе стороны «ЧЕРТЫ», я пришел к выводу: народ очень влияет на власть, даже самую узурпаторскую. Любая власть в своих решениях исходит из качеств народа. И чем больше рабских «минусов» в характере народа, тем жестче ведет себя власть.

Для нас, рожденных в СССР, очень важно понять, что мы приобрели и что потеряли вместе с крушением советской империи. Осознать, какими были и какими стали по обе стороны этой в чем-то роковой черты. И знание это передать тем, кто придет следом за нами.

Эрнест Хемингуэй сказал однажды, что каждый человек может написать в течение своей жизни хотя бы одну книгу.

Журналисту, которому есть что сказать «о времени и о себе», сам Бог велел стать автором книги — своеобразной энциклопедии его Души.

В И З И Т К А



**Я по национальности –
Харьковчанка**

Мы так похожи...

Ты был всегда — с тех пор, как я помню себя. Твое присутствие казалось мне таким же естественным, как и биение собственного сердца — его не замечаешь.

Говорят, человеческое сердце — размером с наш кулак. Я сжимаю пальцы руки. Сердце маленькое. И оно бьется. Пусть бьется...

Твое сердце всегда рядом. Оно большое. И оно бьется в унисон моему — маленькому. Ну что же, пускай...

У тебя странное имя. Похоже на плевок Создателя в мировое пространство. Мое мне тоже кажется чужим.

Нас выплюнули в этот мир, приказав: «Живи, как знаешь. Живи, как получится». Мы и живем — как получилось. А как — знаем только мы.

Мы так похожи, что даже не замечаем друг друга. Но приходит час позднего прозрения — и догадка острой нежностью сжимает сердце. Так бывает за утренним чаем, когда вдруг видишь следы времени и усталости на дорогом лице. Всматриваешься в это лицо, будто видишь его впервые. Господи, такой родной и такой единственный!

Я люблю твой фирменный серо-стальной цвет. Цвет сдержанной элегантности, внутренней интеллигентности и некоей особой отстраненности. Это цвет хорошо сочетается с розовой дымкой закатного неба над Госпромом, пронзительным изумрудом апрельской зелени, внутренней тишиной.

Пожалуй, такому фону претит разве что крикливая чрезмерность — во вкусах, словах, предпочтениях. Ты вообще не сторонник крайностей. Даже в часы бурного веселья в уголках твоих губ прячется чуть заметная ирония. Ты знаешь, что и это пройдет, оставив в душе чуть грустный осадок, похожий на кофейный узор на дне выпитой чашки.

Ты принимаешь жизнь, какой она есть. Любишь, но без экзальтации. Веришь, но без фанатизма. Здоровый инстинкт подсказывает, что фанатизм не только опасен, но и жалок в своей сути.

Ты привык много трудиться и полагаться только на свои силы. Ты не готов ничего принимать на веру. Разве что Бога или смерть.

Для тебя не существует раз и навсегда установленных авторитетов. Ты — индивидуалист до мозга костей. И в этом мы с тобой, безусловно, похожи.

Как и у всякого индивидуалиста, у тебя непростая судьба. Ты никогда не вписывался в привычные стандарты и рамки — ты был другим.

— Столица, право, Столица! — восторгался тобой мой любимый земляк Григорий Квитка почти двести лет назад.

Ты и стал первой столицей советской Украины. Да, видно, не суждено было оставаться в этой роли. Ты был другим. И слава Богу! Страшно даже представить, как исказила бы твое лицо вся эта правительственная погань, останься ты столицей.

Тебе, научному и промышленному гиганту, всегда чего-то недодавали. Любви, понимания, заботы, денег, предоставляя ходить в потертом пальто и вынуждая печально светить облупившимися фасадами своих исторических зданий, детищ больших зодчих.

Для твоего культурного и духовного развития тебе выделяли жалкую провинциальную пайку. Но, странное дело, по своему внутреннему самоощущению ты никогда не был провинциальным. Ты всегда оставался во многом «столичнее» Киева с его местечковой душевной затхлостью и этой вечной враждебной настороженностью по отношению ко всем «чужим» и всему «чужому», иному.

Не потому ли все самое яркое, личностное, что рождалось в тебе, тотчас же засасывалось двумя столичными трубами советской империи и чаще всего — московской.

Тебе доставалось то, что оставалось не востребованным — гулкая пустота огромной ночной площади, несущая надежду утробная мартовская снежность, уход в хитросплетения собственной жизни и своей особой судьбы.

— Я по национальности — харьковчанин! — однажды заявил на всю страну мой земляк, баллотировавшийся в народные депутаты тех, еще первых созывов.

Меня это восхитило. Как неожиданно и как просто! Этот парень попал в самую точку — именно так можно было выразить глубинное ощущение человека, всей своей жизнью и судьбой связанного с Харьковом.

Но ведь так оно и есть. За годы своего индивидуального бытия Харьков и в самом деле вылепил особую породу людей, не похожих на всех остальных. Эдакий сплав интеллигентности, прагматизма, жизнестойкости, юмора и независимого склада мышления.

Не это ли — главные составляющие особой харьковской ментальности? Характерно, что вопрос национальной идентичности был здесь всегда третьестепенным и, по большому счету, искусственным.

— Значит, все-таки есть такая национальность — харьковчанин? — спрашивала я у себя.

Ответ на столь важный для себя вопрос я отыскала в исторических хрониках все того же Григория Квитки, прямого потомка тех первых переселенцев, что пришли на эту землю, чтобы создавать Город по образу и подобию своему.

«Поселиться слободно»

В основе твоего исторического бытия заложено понятие — Свобода, давшее название целому краю. Свобода передвижения. Свобода выбора. Свобода выживания и борьбы. Свобода быть и оставаться собой.

На малороссийском наречии первых переселенцев это слово звучало как «Слобода». «Поселиться слободно» — означало свободное, нестесненное, привольное поселение на границе.

...Когда-то эта земля принадлежала великому княжеству Киевскому и служила древними границами южной России. Несомненно, она была заселена еще до рождения Христова, доказательством чему были старинные безымянные городища, валы, поросшие огромнейшими дубами, найденные в земле монеты с изображением кесарей первых веков нашей эры.

Опустошенная полчищами татар под предводительством сына Чингисхана и его внука Батыея — земля стала безлюдной и дикой, но оттого не менее прекрасной.

В сознании далеких потомков тех, кто когда-то жил здесь, она оставалась образом утраченного рая.

Наступил час, когда гнет чужого владычества и угроза утраты собственной веры заставил народ двинуться в полуденные земли государства Российского, где госпожа Неизвестность распахивала перед ними загадочные просторы своей великой Тайны.

Земля открывалась взору во всей первозданности и чистоте своих лесов, полей и лугов, диких чащоб и прохлады вод. То был Эдем. Но в отличие от небесного, этот земной рай следовало обустроить и защищать от внешних врагов.

В благодатном крае от вершины Сулы и далее по рекам Вира, Ворскла, Мерла, Уды, Лопань, Харьков, Мжа, Каломак, Донец, Оскол, другим рекам и урочищам селились ушедшие от несвободы люди, чтобы создать здесь свой особый мир.

Так рождались первые слободские полки — Харьковский, Сумской, Изюмский, Ахтырский — небольшие крепости и редуты из толстого частокола.

Историческая справка:

«Поселяне сих полков — из украинцев, настоящих поляков и даже чужеземных народов — приняли название казаков, а как первые из них были выходцы из повета Черкасского, то все жители сих слободских полков начали именоваться, для отличия от малороссиян, «черкасами», составляя как бы особый народ».

Вот так и рождалась особая «харьковская национальность», особый человеческий тип — мужественный охранитель границ своей новообретенной родины. Смелый, честный, прямой человек без хитрости и утайки.

Сохранить присягу во всей чистоте

Обретенную свободу необходимо было защищать. Отправляясь в неизвестность, первые переселенцы везли не только артиллерию и оружие. Они забирали с собою и свои церкви — со всей ее святой утварью и даже колоколами. Полковые хорунжие хранили в походе полковые знамена, где были изображены лики Спаса, Божьей матери и святых угодников.

Приступая к построению полкового города Харькова, а в нем храма, святые отцы испросили благословения от Черниговского владыки, и тот прислал чудотворную икону Божьей матери Елецкой. Из-за близости татар было решено временно оставить икону в Успенском соборе. По преданиям, она защищает наш город и поныне.

Когда слободские полки присягнули на верность русскому царю, в их жизнь вошло еще одно сакральное начало — сохранность присяги во всей ее чистоте. Изменив российскому престолу, гетман Иван Брюховецкий, подобно коварному змию, подговаривал на измену слободские полки. Но ничего, кроме презрения и негодования, это не вызвало.

Гетман не простил этого слобожанам, обрушив на их крепости не только всю мощь своих войск, но и жестокую беспощадность крымских и нагайских татар. То было кровавое испытание не на жизнь, а на смерть. Но слободские полки его с честью выдержали, тем самым заслужив искреннее восхищение со стороны русского царя.

Свободные слобожане предпочитали смерть предательству данной ими присяги. Сохранить ее в чистоте было для них так же важно, как и защищать свою исконную веру в Христа. От тех времен не единожды неслась на Слобожанщину курьерская почта: «От великого государя, царя и великого князя, всея Великия и Малыя, и Белья России самодержца...». По случаю великих государственных радостей и побед России «над врагом и супостатом» в Харькове звонили многочисленные церковные колокола, а в ночное небо взмывали праздничные огни.

Пушка и церковный колокол — вот истинные символы, которые незримо запечатлены на историческом гербе Харькова.

Сакральное сердце города — тот самый, окруженный защитными рвами, ошетилившийся от неприятеля пушками земляной вал, на вершине которого сияет изящный и праздничный Успенский собор.

Особенный характер народа

...Ты родился, вырос и занял свое особое место в мироздании. Ближе к центру, но как-то особняком. Продуваемый всеми ветрами транспортный коридор между западом и юго-востоком, севером и югом огромной империи, ты всегда хранил в себе этот дух движения, противный застою и мертвечине.

Истинный патриот своего города, Григорий Квитка когда-то писал о Харькове: «Смешав все поселившиеся здесь различные нации, он произвел один особенный характер народа. Слобожанин опрятен, гостеприимен, чистосердечно вежлив. Обмануть в чем-то почитает за грех. Честен в выполнении обещаний; по чистосердечию своему судит и других, и потому скорее будет обманут, чем придумает обмануть».

А еще он говорил о том, что истинный «харьковец» стремится к знаниям, любит музыку и, даже будучи художественным самоучкой, пишет иконы, строит колонны, капители, так что даже знатоки удивляются его вкусу и отделке.

И одеваются «харьковцы» по моде и со вкусом. Даже женщины простого сословия наряжаются как чиновницы, только материал попроще. «В редком доме у поселянина не бывает в употреблении чай, а кто чуть подостаточнее — непременно заботится о том, чтобы иметь все принадлежности к кофе, и учится его готовить».

Так, есть или нет такая особенная национальность — харьковская? Да, этот человеческий тип не спутаешь ни с каким иным. Столичные манеры, но без московской спеси. Сдержанность и чувство собственного достоинства — скорее на ленинградский манер. Тяготение к классическим нормам языка. Ощущение своей индивидуальности, но без высокомерия, напротив — душевная открытость и благожелательность.

Тебя недаром издавна окрестили городом-космополитом. Таким ты был и при советской власти, таким остаешься сейчас.

Близость с Россией не сделала тебя русским городом. Но и украинским тебя назвать трудно. Ты — сам по себе. Ты — иной, непохожий ни на кого Гражданин Вселенной.



*“Журналисты - как ангелы.
Среди них нет деления
на мужчин и женщин.”
Женевьева Табуи*



**В броне нравственного
ИМПЕРАТИВА**

Время — назад!

Я не люблю себя. Мне не за что себя любить. Эти жаркие, несущиеся отовсюду призывы: «полюбите себе — и мир полюбит вас» кажутся мне сомнительными. Однажды я попробовала любить себя, но у меня ничего не вышло. Это было так же странно и немного смешно, как почтительно целовать собственную руку или ежедневно писать себе самой любовные письма.

Эгоцентрики любят себя до дрожи, до полного изнеможения. Они постоянно прислушиваются к своему организму, ревниво изучают тоны сердца, поведение печени, состояние кровяных телец, чтобы с удручающей точностью отразить все это в историях своих реальных или мнимых болезней. Они мечтают жить вечно.

Современным молодым эгоцентрикам очень нравится взрывать. Они оставляют взрывпакеты на остановках общественного транспорта, в метро, других людных местах, чтобы жертв было как можно больше. Так они реализуют свое эго. Они, наверное, непрочь даже взорвать весь мир. Но с одним непременным условием: при этом спастись самим.

Когда господа эгоцентрики становятся литераторами, они без перерыва на обед и сон вслушиваются и всматриваются в себя, стараются выудить из глубин сознания любое, пусть даже незначительное шевеление, чтобы тут же занести его на скрижали вечности. Они настолько погружены в себя, что попытки привлечь их внимание или воззвать к их милосердию воспринимают как посягательство на личную свободу и независимость.

Эти люди не вызывают во мне доверия. Они слишком любят себя и потому, в некотором смысле, достойны жалости. Ведь сострадание, что ни говори, это — сила, поддерживающая Жизнь и даже поглощающая Страх. Сострадание — это своего рода Счастье. Пусть временное, но освобождение из темницы маленького убогого «я», дающее душе воздух, свет и свободное движение. Ведь — что такое на самом деле наш ближний и что мы знаем о нем? Ничего, кроме тех перемен, которые он производит в нас.

Мне действительно не за что себя любить. Я всегда преступно мало заботилась о себе и своем организме. Я никогда не умела и не любила плести паучьи сети сюжетов и сюжетцев и потому не стала литератором. Мой взор слишком редко был обращен вовнутрь, гораздо чаще — вовне. Я разменяла свою жизнь по мелочам, доверяясь настроениям минуты или дня. Я выбрала профессию бабочки-однодневки и потому единственным доказательством моего пребывания на Земле будет мертвый шелест газетных листов, поблекших и невесомых, как законсервированные под стеклами гербариев крылья бабочек.

Когда-то каждое из этих давно умерших типографских творений было символом свободы, самоутверждения и самой жизни. Теперь все это — лишь издевательское напоминание о том, во что перетекло отпущенное Богом и Судьбой время. Как вода сквозь песок, оно просочилось и застыло в этих словах и буквах. Да здравствуют слова и буквы! Они возвращают нас к Первоисточнику.

Наступает время, когда остается только Игра. Игра со словами, с жизнью, игра со временем. Со временем — особенно. Можно сделать вид, будто его не существует. Оно и не существует. Время — категория внутренняя. Оно плещется в нас подобно мистической влаге в сосуде. Поначалу его так много, что влага переливается через край. Потом сосуд иссякает и влаги остается чуть-чуть на самом дне. Мы сами заводим стрелки своих часов на даты своего бессилия и ухода. Мы — господа своего внутреннего времени. Неразумные и преступные господа. Время, назад!

Вернуться в прошлое — значит оставить след голой ступни на мокром песке. Волна прибоя наверняка смоем эти следы, да и нас заодно.

Здравствуй, дружище! Мы снова встретились с тобой — теперь уже на узкой кромке берегового пространства, отведенного нам до наступления очередного прибоя. Время сжалось до размера пляшущей фантомной точки на горизонте.

Ну и Бог с ней, этой пляшущей точкой! Пусть растет, превращаясь в подобие старой шхуны или нарядного парусника, даже в образ могучего, вынырнувшего из глубин могучего корабля. Места зафрахтованы. Хотя точное время прибытия пока не известно.

Мы все отчасти спириты, когда пытаемся вступить в контакт с прошлым. Ау, дух прошлого, явись! Одари нас хотя бы на миг своей царской милостью. Дай ощутить твой вкус, аромат, твоё биенье сердца. Но прошлое не общается с нами посредством сознания. Оно переместилось в иную, недоступную для нас реальность и теперь высится

за нашей спиной — подобно призрачному айсбергу. О нем невозможно судить с позиции сегодняшнего дня. Тогда мы были другими.

Прошлое может говорить с нами разве что языком инстинктов.

Пробуждение или погружение?

Рано или поздно, но это происходит. Момент, который вы запомните отчетливо и навсегда. Вас до сих пор не было. И вдруг — вы есть. Вы как бы вынырнули из неведомых темных глубин и впервые ощутили границы своего «я». До сих пор границ не было. Потом щелкнул выключатель и вспыхнул яркий свет. Вы будто бы материализовались из ничего и теперь сидите на корточках в желтом платье, а над вами на дорожке сада нависает чья-то взрослая тень. Вам пять лет. Лев Толстой говорил, что от нуля до пяти мы проживаем целую жизнь, о которой потом не помним почти ничего. Зигмунд Фрейд называл это «покрывающими воспоминаниями».

Я совсем не помнила прошлого. Меня будто и вовсе не было. Но я была. В той, уже прожитой мною до — детской жизни присутствовало нечто огромное, всевластное, пугающе-влекущее, лишенное всяких запретов и ограничений. В той жизни я была всем. Теперь же была только я, сидящая на корточках в желтом платье.

Повзрослев, я так и не сумела понять: что же это было? Пробуждение? Или погружение в летаргический сон жизни, который длится, начиная от пяти лет и по сегодняшний день.

Оставаясь в самых сокровенных глубинах моего существа за тонкой колышущейся занавеской, эта ускользающая Тайна не переставала будоражить своей неразрешимостью. Казалось, если проникнуть в Тайну, откроется многое. И прежде всего — Путь к потрясающей абсолютной Свободе, когда я была ВСЕМ и когда меня еще не выделили из этого мира, оставив наедине с собой.

Весь остаток жизни я буду тосковать по той первоначальной, а потом навсегда отнятой у меня Свободе. Я назову это Озарением. Оно будет иногда одаривать меня в снах пугающим наслаждением полетов, лишенных оков плоти.

Я буду стеречь его наяву, как хищник добычу, выпрашивать у жизни как нищий — милостыню, напряженно ждать — как зверь, попавший в капкан, своего освобождения. Но Озарение не будет спешить мне на помощь. Ведь озарение — как пропасть. Либо вы срываетесь в нее, либо — нет.

Все мы — пленники измененного состояния. Пытаемся достичь его любым доступным для нас способом — молитвой или погружением в экстрим, любовью или созерцанием чужой гибели, продолжительным постом или безудержным пьянством.

Измененное состояние — вот наша цель, объяснение и смысл. Самый сильный из всех существующих наркотиков. Его называют Просветлением, Наслаждением, Воплощением, Перевоплощением. Но это всего лишь попытка хотя бы на миг прервать летаргический сон жизни и вернуться к той первоначальной и навсегда утраченной свободе, КОГДА МЫ БЫЛИ ВСЕМ.

Ева в саду

Я не могу понять, зачем было это изгнание Евы из райского сада с предварительной провокативной дегустацией запретных плодов. Тут явно постарались церковники, удумав превратить Еву в прародительницу Зла, а заодно и всего рода людского, сброшенного в ад основного инстинкта.

Веками чаруя своей поэтической тайной, история грехопадения Евы однако содержит интригу, оставляющую пространство для вопросов. Один из них занимает меня особенно. В каком образе Змий искушал Еву? Неужели — того самого голубя, который предупредил деву Марию о предстоящей беременности и рождении Бога-Сына? Вряд ли Змий обольщал Еву, извиваясь в траве своим змеиным телом, блестя бесовскими угольками глаз и раздувая свой капюшон. Бедняжка наверняка бы не на шутку испугалась этого чудища, и санкционированный свыше план по воцарению Основного Инстинкта потерпел бы крах.

Нет, Змий взирал на Еву с высоты яблоневой кроны в образе Ангела, точнее — падшего Ангела, каким, очевидно, и был на самом деле. Его взор был полон нежности и тоски, но в глубине таился мощный Призыв, какой бывает только у Ангелов, когда они становятся падшими.

И Ева откликнулась на этот призыв с преступной легкостью, заодно втянув во всю эту историю несчастного невинного Адама.

...Ох уж эти коварные святоши, всюдусущие схимники и фарисеи, прячущие под тяжелыми складками черных ряс свою нечистую похоть, смешанную с Ужасом перед Женщиной, отвращением к себе и всему миру. До дрожи ненавидя самое естество жизни, они всегда

выдавали желаемое за действительное. Это они придумали непорочное зачатие девы Марии, дабы не оскорблять сына Божьего зачатием естественным, а значит — порочным. Удивительно, как они не изобрели любой иной способ появления Иисуса на свет, кроме естественного — родовыми путями. Это они, считавшие Женщину исчадием ада, отправляли на костры инквизиции самых красивых, самых талантливых и уникальных, внося непоправимый изъян в генофонд целых наций. Это один из них, осатаневших святош, топтал своими ботинками щенков у рожавшей суки в романе Мопассана «Жизнь».

Вы, присвоившие себе право посредничать между Богом и людьми, и есть воплощение самой Смерти.

Женоненавистники — вообще опасные существа. Они порядком отравляют нашу жизнь и по сей день. У них давние и серьезные проблемы с базовым инстинктом, и это становится большой вавкой в их головах. Порой они даже становятся жестокими маньяками и стерегут свои жертвы в дальних уголках парков или привокзальных зарослях.

Как Женщина, я готова защищать Еву даже на Страшном Суде. Бедняжка стала жертвой провокации. Она была счастлива в своем саду. Верните ей утраченный рай...

*

В детстве у меня тоже был сад. Благословен сад, совпавший с нашим детством! Он одарит своей тайной милостью, которая потом защитит вас даже на краю бездны. Благословенны восковые лилии, пахнущие смирной и ладаном. И царственное великолепие георгин. И красавица-груша, истекающая соком своих янтарных плодов. Падая на крышу дома, они стучали по ночам настойчиво и тревожно. Там и яблони тоже росли — только зимних сортов. Они пахли снегом и свежестью.

В саду всегда много тайных уголков, где можно спрятаться и жить своей жизнью. Часами наблюдать, как под легким прикосновением пальцев распаивается и захлопывается нежная цветочная пасть львиного зева. О, эти милые пасти, зовущие погрузиться в свои глубины! Если долго всматриваться, на самом доннышке каждой из них — желтая тоска и безмолвие.

— О чем ты думаешь? — спрашивала за обедом мама, увидев мое застывшее лицо.

— Ни о чем, — отвечала я.

И это была правда. Там, откуда я возвращалась, не было ничего, кроме абсолютной, всепоглощающей пустоты.

А еще сад был полон невидимых глазу сущностей. Они росли в траве и, казалось, напоминали приземистых гномов, только без рук и ног, но с большой головой и щелью вместо рта. С моим приближением щель распахивалась, и я проваливалась в очередную пасть — удовольствия, отвращения или страха. Отвращение и страх отвращали, и я стремилась поскорее вызволиться из этой пасти

Другое дело — удовольствие. Попадая в пасть наслаждений, я долго не хотела из нее выбираться. Это могло быть наслаждение вкусом или запахом, цветом или светом, летним дождем, блестящим снегом, хрустом сухариков посреди осеннего хвороста.

И все эти пасти существовали параллельно, совсем рядом одна с другой. Из одного состояния я попадала в другое, потом — в третье, четвертое. Как и Ева, я не чувствовала себя одинокой в своем саду.

Покой, ясность и свет

Детство еще продолжалось, застыв в предчувствии отрочества, когда в мою жизнь, а значит и жизнь сада, ворвался сонм новых друзей. Скрывавшиеся доселе за стеклами домашней библиотеки, теперь они окружали меня тесным кружком. Я видела их лица, вслушивалась в их голоса, впитывала исходивший от них дух свободы, любви, негодования или восторга.

Каждый из них предлагал мне всего себя без остатка, бросая к моим ногам бесценные дары своего душевного опыта и жизненных наблюдений. Приглашающим рыцарским жестом они распахивали двери в тот мир, где мне предстояло научиться всему — правильно говорить, правильно думать и правильно чувствовать.

Еще не знавшей Любви, мне говорили о том, как можно любить. Еще не познавшую большого горя, учили переживать чужое. Позднее эта способность со-чувствовать и со-переживать станет частью характера, а значит — судьбы.

Мои друзья учили меня плакать. Они учили страдать. Но страдать по особому — светло. Не погружаться в страдание без остатка, не терять себя в нем.

Помню жгучие слезы, пролитые над «Спартакoм», а позднее — над «Oводoм». O, этот славный французский мотылек — как последнее «прости» приговоренного к смерти Артура — Oвода. И серд-

це вдруг сжималось на этой странице, горячей волной подступая к горлу. А день за окном, распахнутым в сад, был таким же прозрачно-весенним, как много лет назад, когда пальцы бедной Джеммы гладили прощальную записку любимого друга. И легкий, пронизанный солнцем слепой дождь был таким же стремительным и внезапным, как и мои слезы. И все это отныне соединится в душе навсегда — любовь, прощание, боль, слепой весенний дождь.

Теперь я знала, что такое счастье. Это когда — покой, ясность и свет, с которыми не страшно даже на краю бездны.

Конечно, у Евы не было книг в ее саду. Да они ей и не были нужны. Развоплощенные духовные сущности витали над ней, дружно порхали, приглашая в свой хоровод, нежно касались локонов на ее затылке, с любопытством наблюдали за ней с высокой кроны деревьев, дарили ей ароматы роз, лилий и ничем не замутненного счастья. Одна из сущностей оказалась дьявольской. Но разве ее распознать? Мне жаль бедную Еву. Ей уже никогда не вернуться в свой сад.

Мне — тоже. Скользкие дьявольские пальцы выкрали у меня мой сад. Со всем моим детским прошлым. И сад съежился, пожух и зачах, лишенный моей любви. Мы уже никогда не встретимся.

Только очень редко, в предутренних снах, мой сад одаривает меня свежей пронзительной радостью утраченного и вновь обретенного Рая.

Крылья обязывают

Вы можете представить себя в роли Ангела? Хотя бы на время. Но — с крыльями, пусть даже и приставными, какие сегодня можно приобрести в магазине и надеть. А теперь всмотритесь в свое лицо — в то время, когда у вас крылья за спиной. Чувствуете, как где-то внутри ширится пространство для любви и жалости, а в душе растет теплая и светлая волна? Это все — крылья. Вы надели их — и уже стали другими. Крылья вообще ко многому обязывают.

— А крылышки придется отрезать! — заметила редактриса партийной газеты, неодобрительно посмотрев на фасон моих рукавов. Кажется, любопытства ради, эта дама удумала-таки перетащить меня в свой заповедник в качестве экзотического экземпляра. Она всегда относилась ко мне настороженно, но с любопытством.

Когда мне было двадцать, ее возмущали мои шляпки и короткие летящие пальто. Однажды она сказала моему бывшему шефу:

— Посоветуйте Логачевой, чтобы она одевалась по-другому.

— А вы посоветуйте ей сами, как женщина постарше, — в простоте душевной откликнулся мой бывший шеф, даже не подозревая о той буре внутреннего раздражения, которую вызвали эти слова.

Теперь она советовала мне избавиться от крылышек в случае, если я стану работать под ее началом. Мне было уже за тридцать, и пребывание в молодежной газете становилось двусмысленным. К тому же один из бывших выкормышей этой дамы, возглавивший в тот период мою газету, вел себя откровенно по-хамски, с иезуитским наслаждением тыча мне в лицо моим возрастом и держа в состоянии постоянной тихой истерики.

Учитывая все эти обстоятельства, начальствующая дама вела себя ласково и вкрадчиво, как кошка с мышкой, попавшей в мягкие когтистые лапки. Она даже по-дамски доверительно делилась подробностями своей личной судьбы после вступления во второй брак.

Я чувствовала себя в западне. Иезуит был уже известным Злом. Теперь мне предлагалось Зло неизвестное, но я кожей чувствовала его мертвящий холод, всякий раз оказываясь в этих коридорах. Другие лица, другое выражение глаз.

Близкие верноподданные руководящей дама называли ее с подобострастным придыханием — «мамой». Как властная и строгая мать, она одаривала самых преданных и послушных всяческими благами и похвалами, остальных часто безжалостно и при всех отчитывала, что было частью воспитательной программы по обрезанию слишком отросших крыльев. Пребывание среди эрзац-объектов этого нереализованного инстинкта материнства грозило невосполнимой утратой. Я знала этих «обрезанных», я сживала с ними за одним столом в кафе, я слышала их разговоры.

Всем, попадавшим в этот заповедник, следовало оставить надежду при входе — как собственное «я» вместе со шляпой в прихожей на вешалке.

— Я подумаю над вашим предложением, — вежливо произнесла я, прощаясь с начальствующей дамой.

Но себе сказала: «Черта с два! Уж лучше — на тротуарные решетки...».

...В тот вечер над городом висел какой-то особый храмовый свет — знак прощающей благосклонности к этой земле. Отчего, откуда оно — ощущение счастья, когда, казалось бы, ничего не осталось и ничего не ждет. Но — счастье! И такое полное в своей тишине и незыблемости. Счастье без желаний, без прошлого и бу-

душего, где нет ни лихорадочной торопливости, ни беспощадного страха утраты. Одно большое безоговорочное счастье. Где-то там высятся призраки предстоящих страданий, утрат, страшной усталости и пустоты. Но это не нарушает счастья. Так конь пугливо прядает ушами, но продолжает свой путь. Счастливый и зыбкий путь тишины.

Я уверена, это мой Ангел-хранитель успокаивал меня, касаясь своей прохладной дланью в храмовом свете уходящего дня. Он был рядом всегда — еще до моего рождения, когда были предприняты все меры по недопущению моего появления на свет. Этих мер, условий и обстоятельств хватило бы, по крайней мере, для сотни выкидышей. Но в самый страшный момент, когда решался исход этого противостояния, Он встал, скрестив руки на пороге какого-то иноматериального пространства, и преградил путь беснующейся смертной силе, готовой изгнать меня из материального лона.

Позднее Он стоял над моей колыбелью, защищая от духов мрака и детских болезней. Он незримо вел меня по моему Пути, держа за руку даже на краю бездны. Он сочувствовал мне в безысходности отчаяния и плакал вместе со мной. Когда я упорствовала во зле саморазрушения, стгущая до черноты окружающее пространство, он оставлял меня на время, но потом снова возвращался, чтобы любить и прощать.

Он часто говорил мне, что могущество мое безмерно — стоит только захотеть или посметь. Ни людей, ни автомобилей, ни хищных зверей. Можно все это вычеркнуть, растоптать, забыть, как дьявольское наваждение.

— Душа всегда сумеет спастись, — убеждал он, — она в последний миг выпорхнет из-под автомобильных колес, как испуганный птенец. Душа неуязвима.

— А вдруг не успеет? — сомневалась я. — Вдруг душа так же уязвима, как и тело? Что если она и есть тело?

Я часто огорчала своего Хранителя леностью, гордыней и равнодушием. Я даже заражала его страхом — тем материалом, из которого я состою. Все мы состоим из Страха. Но некоторые, немногие, умеют над ним подняться. Наверное, мой Ангел надеется, что когда-нибудь мне удастся побороть свой страх. Наверное, он слишком снисходителен, учитывая ограниченный ресурс времени. Я знаю, что не оправдала его ожиданий. Как знать, может быть, и это мне тоже простится.

В роли ангела

Когда Женевьева Табуи сравнивала журналистов с ангелами, среди которых нет деления на мужчин и женщин, она, очевидно, имела в виду, что не существует мужской и женской журналистики, а главное — профессиональные качества самого журналиста.

Но меня восхитило другое — само сравнение с ангелами, которое теперь я могла принимать и на свой счет. Мне было двадцать лет, я была начинающей журналисткой, и роль ангела мне нравилась. Она вполне отвечала моему представлению об этой профессии — быть рядом, приходить на помощь, чувствовать себя необходимой, говорить правду.

Позднее так и вышло. Сырые, страдающие, обиженные и несчастные всегда находили меня в надежде на понимание, поддержку и помощь.

Героиней моего первого очерка была 36-летняя женщина, оказавшаяся в доме для престарелых. Когда-то она была цирковой артисткой и прелестной женщиной, счастливой матерью и любимой женой. И вдруг ничего этого не стало. Женщина тяжело заболела и превратилась в инвалида.

Муж и двое сыновей не выдержали этого испытания, и отправили ее сюда — медленно умирать. Они решили забыть, вычеркнуть ее из своей жизни. И это им почти удалось.

Помню поросший травой холм. И дом на холме — на месте Вознесенского девичьего монастыря. Лес, подернутый фиолетовым маревом поздней осени, последний трепещущий на ветру лист березы. И глаза — огромные, влажные, блестящие, и тонкая прозрачная рука, бессильно поднятая в благодарном жесте.

Привезенные мною гостинцы лежали на тумбочке в палате для тяжелобольных.

Чувство щемящей боли и огромной непоправимой беды разрывало сердце. Хотелось схватить на руки это хрупкое беспомощное тело, вырвать его отсюда и унести. Но — куда? Я разыскала мужа и детей этой женщины. Они жили в Харькове и мое появление встретили с глухой враждебностью. Но я все-таки уговорила старшего сына поехать вместе со мной к его матери. Ему предстояло идти в армию, и эта встреча казалась мне необходимой.

Мы молча поднимались на Монастырский холм. Мать смотрела на своего дорогого мальчика пристально и жадно, с огромной любовью и жалостью. Но сын отводил взгляд, отгораживаясь от матери

незримой стеной. Он считал, что не имеет права жалеть. Жалость была слишком затратной роскошью. А он хотел просто жить, и никакая сила не в состоянии была разрушить эту стену.

Чувство огромной непоправимой вины перед этой женщиной будет мучить меня еще долгие годы.

Да, мир был жесток и несправедлив. Но в нем должны были присутствовать спасительные лагуны, своего рода оплоты надежды. Таким оплотом в советские времена, как ни странно на первый взгляд, для многих служила газета. Набив шишки в сражениях с чиновничьими стенами, человек искал в газете своего рода истину в последней инстанции.

Мои бедные, сирые, страждущие соотечественники — они спешили под редакционные своды со своими исповедями, мольбами и проклятиями. И, что важнее всего — их здесь слышали. Их здесь слушали, понимали и принимали. Сколько таких исповедей пришлось мне выслушивать на своем веку — разве сочтешь. Человек приходил, неся в сжатых ладонях свою боль. Он говорил и говорил, глядя в окно невидящим взглядом. Ладонь разжималась — и птица выпархивала, большие темные крылья бились в стекло. И я вздрагивала, зараженная ее тоской, бессилием и страхом.

Некоторым из нас доводилось пребывать сразу в нескольких ипостасях: судьи, духовника, психоаналитика, а еще — «третьей силы», выполнявшей посредническую роль между простым человеком и властью. Если везло — удавалось сделать хотя бы частичный пролом в этой стене. В советское время чиновники относились к Печатному Слову как к силе, с которой необходимо считаться. Не любить — но считаться.

Однажды мне даже удалось выбить двухкомнатную квартиру для молодой женщины с ребенком. Оказавшись без мужа, в чужой и враждебной среде, она вынуждена была пойти в дворники, чтобы иметь крышу над головой. У нее было слабое здоровье, а свое законное жилье она могла получить, в лучшем случае, когда бы сын стал взрослым. Жизнь не щадила эту женщину, все складывалось против нее, и она была на грани нервного срыва.

Я посоветовала ей немедленно лечь в больницу. Сама же, как молодая пантера, вцепилась в начальствующие загривки, взывая к их социалистической морали и заодно грозя скандальной газетной публикацией. Загривки пробовали раздраженно вырываться, но не тут-то было! На моей стороне была здоровая злость и неколебимая уверенность в своей правоте.

Через полтора месяца эту женщина появилась на пороге моего кабинета. Она была счастлива и спасена. С глухим и недовольным ворчанием чиновники-таки выделили ей в срочном порядке квартиру из своего бездонного тогда резервного фонда.

Спустя много лет она разыщет моей телефон и позвонит, чтобы рассказать о себе. Теперь она была уже бабушкой, сын с женой жили отдельно, но внуков она забирала к себе — в ту самую квартиру, что досталась ей в результате моего хищного поединка с начальствующими загравками.

— Вы тогда спасли меня, — вспоминала она. — Если бы газета не вмешалась, меня, наверное, давно бы уже не было.

Нет, не только холодным стальным морем партийных лозунгов, лживых призывов и мертвых правительственных постановлений была пресса советских времен. Там, в глубине, струились свои гольфстримы, и одним из них была тесная связь читателя со своей родной газетой. Для многих газета была советчиком и другом, только читать ее нужно было не с начала, а с конца, где печатались очерки о человеческих судьбах, о спасительной Доброте, о том вечном, что помогает жить, надеяться и верить. В газету писали как к сильному и доброму другу, который все поймет и развеет руками любую беду. И это ко многому обязывало. Позднее пресса отстранится от читателя жестким, оградительным щитом: «Переписку не ведем, рукописи не возвращаем и не рецензируем».

Времена изменились. Но привычка писать в газету и ждать ответа до сих пор жива. Эти письма и сегодня попадают ко мне в руки. Участники той самой страшной войны, их дети войны, дети Победы со святой детской доверчивостью раскрывают свою душу листкам бумаги. И видно, как она трепещет от воспоминаний, боли и вселенской неприкаянности.

Я вижу эти склоненные, укрытые трагической сетью морщин лица, неловкие от ревматизма или пережитого инсульта пальцы, выводящие свои письма. Кто-то вкладывает конверт с обратным адресом, иной — даже деньги на конверт, чтобы не утруждать своего адресата. Им непременно нужен ответ, они будут ждать его долго и терпеливо.

Бедные мои, родные! Как бы мне хотелось оказаться за спиной каждого из вас в образе Ангела с безразмерным мешком чудесных подарков и огромными букетами роз, тюльпанов, лилий, гладиолусов и хризантем. С огромной нежностью коснувшись ваших волос, я бы шепнула вам свое утешение. Нет, не напрасной была ваша жизнь

и все пережитые в ней потрясения и муки. Всё сохранит Небо. Ничто не пропадет, не затеряется в его бездонных глубинах.

Вы, стоящие на пороге Вечности с протянутой рукой, знайте: все сохранится в первоначальном величии, мощи, свежести и чистоте. Даже тот майский вечер и фары «эмки» на влажной от дождя мостовой. И девушка с замысловатой прической в крепдешиновом платье с высокими плечиками будет ждать своего героя у театрального подъезда. «В шесть часов вечера после войны»... Встреча обязательно случится, если не в шесть, то в семь или даже в полночь. Все когда-то назначенные встречи состоятся. И небо вновь станет голубым, а трава — зеленой. Так и будет!

Вы — лучшая часть своего народа, и вместе с ним пройдете свой Крестный Путь до конца. Нет, недаром были ваши страдания, кровь и боль, ваши молодые жизни, отданные на алтарь Победы, на алтарь нашей странной и страшной эпохи. Все зачтется, не затеряется посреди бескрайнего космоса, будет светить светом бесконечной высоты человеческого духа, ваших молодых и бесконечно прекрасных глаз.

Смертельно опасная профессия

Говорить о журналистике как о «второй древнейшей» — все равно, что путать проституцию с любовью. Самоуважение — главное и, по сути, единственное душевное топливо журналиста. Убери его — куда подеваются ум, талант, вдохновение и та особая страсть, которая отличает оригинал от грубой и некачественной подделки.

Останется трактирный половой с полотенцем через плечо: «Чего изволите?» Такому действительно можно небрежно бросать чаевые, цедить сквозь зубы «Пшол вон!» и даже открыто плевать в морду.

Но это не журналист. Это — половой с полотенцем через плечо. И таких предостаточно плодит наше продажное время.

Советская система использовала журналистику в качестве «приводного ремня», сделав ее лошадкой, уныло везущей приснопамятный воз, доверху набитый мертвым идеологическим хворостом. Функция «приводного ремня» предполагала наказание за слушание — не только ремнем, но и кнутом, часто оставлявшим на боках у бедняги заметный кровавый след.

Но лошадка была живая, она иногда брыкалась и грызла удила, тайне мечтая о доле свободного, как ветер, мустанга. По мере ослабления идеологических ремней она все чаще прорывалась из

мертвой зоны официальной идеологии и политики — в иные житейские пампасы, где было больше воздуха и пространства. Она даже изобрела систему особых опознавательных кодов, свой Эзопов язык, который читатель чувствовал, понимал и принимал.

Позднее — освобожденная от всяких шор и удил, лошадка на короткое время даже почувствовала себя Пегасом. Но жизнь жестоко обошлась с этими ее мифическими приставными крыльями. Голодную, неприкаянную и бесхозную — ее поспешили загнать в узкое стойло отдельных социальных кланов, в душные конюшни новых хозяев и хозяйчиков жизни.

И все-таки она существует даже в этих нечеловеческих условиях — не вследствие, но вопреки. Вы не задумывались над тем, почему за последнее двадцатилетие отечественная журналистика превратилась в смертельно опасную профессию? Почему журналистов отстреливают как дичь в сезон охоты?

Их убивают выстрелами в затылок. В них стреляют также в упор. Их убивают в подъездах домов, взрывают в собственных офисах, для них готовят показательные автомобильные аварии. Увозят в безлюдные места и там обезглавливают, чтобы потом устраивать многолетние судебные фарсы. Им угрожают немедленной физической расправой или заключением за решетку, их редакции опечатаывают, а черные маски роятся в их рабочих столах в поисках компромата. Власть постоянно держит их «на мушке». И уже это — главное и неоспоримое доказательство существования журналистики в условиях нашей украинской реальности.

Ведь холуев и обслугу, как правило, не трогают. Убирают тех, кто неугоден системе и ее отдельным представителям.

«Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ РАБОМ И НЕ ХОЧУ БЫТЬ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕМ», — заявлял Авраам Линкольн.

«ТОТ, КТО РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ГОТОВ ПОЖЕРТВОВАТЬ СВОБОДОЙ, НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ НИ СВОБОДЫ, НИ БЕЗОПАСНОСТИ», — вторил ему Бенджамин Франклин.

Эти нравственные постулаты «отцов нации» легли в основу американской демократии.

У нас все по-другому. Наши «отцы», претендующие на роль национальных «авторитетов», сами всегда были рабами и втайне мечтают стать рабовладельцами. Ради своей безопасности они готовы пожертвовать не только свободой, но и собственным народом.

Бедные наши отечественные журналисты! Некоторые из вас продолжают нести в себе постулаты Франклина, как естественное

стремление нормального человеческого существа к свободе и самоуважению. Власть силой выбивает из вас эту блажь.

Дяди в конституционных мантиях угрожают журналистам тюрьмой при попытке заглянуть за стену царственной роскоши, которой окружили себя власть предержажшие. Мантии называют это вторжением в частную жизнь. То, что в любой демократической стране норма, здесь — преступление.

— Я вам не завидую! — так реагирует первое лицо государства на вопрос журналиста касательно его воистину королевских апартаментов.

У первого лица — большие проблемы с ответами на вопросы, которые требуют живой и немедленной реакции. Спичрайтеры в такие минуты не в силах ему помочь, и первое лицо, согласно давним наблюдениям папаша Фрейда, не говорит, но проговаривается. Согласно же моим тоже давним наблюдениям, когда этот человек перестает читать по бумажке заученные тексты, он на глазах становится Великим Немым. В такие минуты мне искренне хочется придти к нему на помощь и вместо него подобрать необходимые слова.

Признаюсь, у меня с ним был роман. Только односторонний и с политическим подтекстом. Этот человек, правда, не догадывался о моих чувствах, но это и не важно. Главное, я была не одинока в этой внезапно свалившейся всем нам на голову электоральной любви.

Недуг любви электоральной

Когда-то он был бедным заброшенным ребенком и жил в забытом Богом шахтерском поселке, где вечно покрытые угольной пылью мужики нещадно пили горькую, а молодежь от безысходности срывала шапки у прохожих, если, конечно, шапки представляли хоть какую-нибудь ценность.

Мальчик рано потерял мать и однажды чуть не утонул, плавая в речке. Он уже задыхался, чувствуя, что сейчас пойдет ко дну, но в этот момент какая-то высшая сила сжалилась над сиротой и протянула ему прибрежную ветку, которая помогла ему не только выжить, но со временем даже пробиться в люди.

Недаром говорят, что женская любовь часто держится на мощном фундаменте жалости. Я тоже попала на крючок той спасительной для бедного малыша ветки. Спичрайтеры недаром ели свой хлеб, особо подчеркнув рвущую сердце биографическую подробность из

жизни того, кто восемь лет назад впервые вознамерился стать главой украинского государства. С тех пор я стала мысленно называть его не иначе, как «донецкий сирота» и «бедный малыш», несмотря на его рост вес и возраст.

Я неожиданно для себя искренне полюбила бело-голубой цвет в то время, как оранжевый стал вызывать во мне резкое неприятие. Я не спала ночи напролет, когда шел бесконечный подсчет избирательных голосов во втором и третьем турах голосования за президента. Приходя на площадь Свободы, я спешила под бело-голубые флаги, а когда «бедный малыш» выступал перед многотысячной харьковской толпой, то, рискуя быть раздавленной, стояла в первых рядах, мысленно благословляя его на будущую победу.

То была глубокая, искренняя и беспощадная любовь, и я была одной из ее многочисленных жертв. Вся страна разделилась на два непримиримых лагеря и два цвета — оранжевый и бело-голубой. Брат шел на брата, отец — на сына, а сын — на отца. Доходило даже до бракоразводных процессов, когда непримиримые супруги до конца отстаивали свой любимый политический окрас. Как в военное время, тревожно выли заводские сирены, формировались народные ополчения, а немощные старики, добравшись до избирательных участков, тут же падали замертво, сраженные сердечным приступом и чрезмерным волнением.

...Какое-то массовое добровольное безумие, позднее одарившее нас жесточайшим и таким же массовым похмельным синдромом. В тоске и унынии мы были вынуждены признать: нас снова надули, и мы этого заслужили. Мы выбирали своих лидеров и вождей — как наивные юные девы — воображаемых женихов. Мы видели в них не то, что есть, а то, что мы мечтали видеть. Мы выбирали свою мечту. Но что на самом деле мы знали о них? Что нам было известно? Разве что цвет галстука или выражение лица, когда рука поднята в приветственном жесте. Но мы вслушивались в звучание их голосов, и оно почему-то нас успокаивало. Мы ничего о них не знали, да и не хотели по-настоящему знать. В общем, мы вели себя как последние идиоты.

Немного слишком

Спустя несколько лет, когда оранжевый цвет окончательно угас, но и бело-голубой уже не вызывал былого восторга, моя любовь потускнела и зачахла, превратившись в обычное прохладное любо-

пытство. Когда-то я прощала своему избраннику все, включая криминальные грешки юности, косноязычные и даже два «ф» «профессора». То были издержки трудного детства, и они лишь дополняли образ «бедного малыша» и «донецкого сироты», делая его ближе к народу, а значит, и ко мне лично.

Теперь, взамен жаркой любви, приходило холодное прозрение. Вторично претендуя на пост главы государства, этот человек открыто демонстрировал свое полное незнание языка и литературы в объеме школьной программы. Он упорно называл Антона Павловича Чехова поэтом, а поэта Анну Ахматову — однофамилицей своего земляка-олигарха Рината Ахметова. Для будущего первого лица государства это было уже немного слишком. И, главное, ни один из холуёв-спичрайтеров даже не осмелился шепнуть ему на ушко об этой его невинной маленькой непристойности. Нет, трусливо предпочли оставить гулять по предвыборному подиуму в столь неприглядном виде.

Но, самое интересное, электорат даже не обратил внимания на столь красноречивую деталь. А и то: не знатока литературы выбираем, а смекалистого мужика с лицом «своего парня», который обещает всех осчастливить «прямо сейчас». Это бодрило электорат, было по духу «социально ближе», чем бесконечная смена эксклюзивных нарядов, которые демонстрировала его соперница.

Но — поспешил электорат с выводами! Увы — не всегда бывшие бедные сироты остаются близки к народу. Порой они демонстрируют такую жаркую страсть к роскоши, а заодно и такие отъявленные образчики народофобии, что впору отшатнуться и даже защититься в ужасе руками.

Теперь первое лицо государства «не завидовало» этому парню с восточным лицом, этой мелкой сошке — журналисту, имевшему наглость интересоваться его личным благосостоянием, а заодно и его семьи.

В возникшей на мгновение неловкой и тягостной паузе первое лицо дало понять, что и ему лично тоже не стоило бы завидовать. Потому что лично у него в жизни слишком мало наслаждений.

Он именно так им сказал — «наслаждений». А что, действительно мало. Конечно, если не принимать в расчет королевские угоды, дворцы, личные самолеты и неограниченную власть. Хотя — какое же это наслаждение? Так, привычные будни. А вот настоящее наслаждение — прямо тут же дать в челюсть нахальному интересанту. А потом, дабы подчеркнуть его ничтожество, отдать в руки своих

холуев-приспешников. Ну, а там уж — как придется, там — как кри-
вая вывезет.

Да, трудно быть свободным человеком в стране рабов и рабовла-
дельцев. Не просто трудно — смертельно опасно.

Но вернемся к ангелам

В бытность свою, преподавая журналистику в Харьковском го-
сударственном университете имени Каразина, я оставила запись
в своем рабочем блокноте. Она состояла из трех строк:

1. Чернорабочие спутники времени
2. Поставщики информации в космические хранилища
3. Посредники между людьми и мирозрением

Всего три строчки. Но они выражали концептуальную сущность
профессии журналиста, ее квинтэссенцию, обоснование, цель, на-
чало и конец, ее нравственное ядро.

Да, чернорабочие спутники своего времени, разгребающие уны-
лую грязь наших социальных конюшен. Да, все начерно, все — на
скорую руку. Вся жизнь журналиста — как один большой черновик,
который он надеется когда-нибудь переписать набело, но, как пра-
вило, так и не успевает этого сделать.

Но все равно, эти духовные эманации, отраженные в текстах,
пусть даже и черновых, сохранит космический банк данных. И чем
больше усилий вкладываем мы в утверждение Света здесь, на земле,
тем выше и оправданнее становится смысл нашей жизни и нашей
профессии.

Наверное, как и от ангелов, от нас ждут слишком многого. Но мы,
как и они — всего лишь связные, посредники. Всего лишь вестники —
уходящего тепла, обманчивой надежды или близящегося несчастья.
Порой в руке в нас тоже карающий меч, а в глазах — смертельный
приговор. Мы всегда рядом, даже когда нас нет.

Начерно, торопливыми мазками журналист создает портрет
своего времени. Там нет его самого, там есть другие и другое. Но
иногда, как на таинственном дагерротипе, странным и непостижи-
мым образом здесь проступают очертания и тени того Образа, ко-
торый до сих пор оставался невидимым. И вдруг — проявился.



*Вы одиноки в глубинах
своего существования.
Там нет пространства.
Даже любовь не может
проникнуть туда.*



**Записки на
ПОЛЯХ**

Словоблудие: первый опыт

Среди всех прочих пастей, окружавших меня в детстве, каким-то особняком пребывала одна — с жарким язычком внутри и злым, острым клювом.

Этот огромный петух, едва завидев меня в конце аллеи с тяжеленным портфелем первоклассницы, тотчас пускался за мной в погоню с налитым кровью гребешком.

Спасением от преследователя служил высокий круглый стол на веранде. Взобравшись на стол, я чувствовала себя в безопасности и с высоты своего положения старалась образумить агрессора словами. Во мне неожиданно просыпался настоящий ораторский дар. Я произносила какие-то прочувствованные монологи, гневно зывала к петушиной доброте и порядочности, даже пыталась пристыдить своего недруга напоминанием о неизбежной расплате. Некоторые домашние, становясь случайными свидетелями подобных сценок, говорили: «Звучало складно, но не понятно, о чем».

Однако тот, на кого были направлены мои ораторские потуги, не желал слушать всего этого словоблудия и продолжал яростно подпрыгивать, норовя достать меня своим острым клювом. Я даже заметила, что мое словоблудие его ожесточало еще больше. И потому изобрела иной способ защиты от агрессора: холодное, немое презрение. Неприятель был озадачен, и жаркая пасть с пылающим язычком отступила.

Сон в руку

Он преследовал меня, пылая нечеловеческой ненавистью. Спасенья не было. Я пыталась бежать, скрыться, но он настигал повсюду.

Какие-то сводчатые потолки, тяжелые каменные ступени, ведущие в лабиринт незнакомых пространств и переходов. Стрелой мчусь по черной ночной аллее, чтобы укрыться в стенах старого дома. Все напрасно. Стены шатались и рушились, и в проеме возникала голова убийцы, слышался его сатанинский смех.

Окна сами распахивались в темный сад, полный опасностей и угроз. Я знала одно: нужно бежать, не останавливаясь, нужно затаиться, вжавшись в стену, чтобы черный вихрь пронесся мимо.

Это пугающее существо и раньше преследовало меня. Но теперь эта погоня была особенно яростной и беспощадной. Он хотел одного — моей гибели и на меньшее не был согласен.

Даже очнувшись, я долго не могла выбраться из этого водоворота страха и ненависти. Наяву мы редко испытываем ужас или боль утраты во всей их беспощадной полноте. Пробужденное сознание набрасывает на них свое защитное покрывало. Спящее срывает его.

— Кто же он, это беспощадный убийца? — спрашивала я у себя. — Реальное существо или мой собственный страх, который я ношу в себе, как тайную разрушительную болезнь?

Ломает через колено

...Социум признает только слабых. Остальных он боится или ненавидит. Социум не может принять свободу самовыражения отдельного существа. В его понимании это и есть наибольший грех.

Не слабые тоже попадают в капкан социума. Они уходят в поведенческие сценарии борьбы всех против всех. И в этой борьбе теряют себя. Социум всегда побеждает...

*

Помню свое первое школьное сочинение — «Слово о полку Игореве». Мне хотелось написать его по-своему, и я очень волновалась. Нужно было передать запах

холодной степи, где происходило сражение, этот звон тяжелых мечей и пугающее воронье карканье.

Учительница русского языка и литературы — женщина с полусонным лицом и зябкими плечами, вечно укутанными в какие-то шали, решила, по-видимому, раз и навсегда отучить меня от подобных «умничаний». Раздав всем тетради, она, под конец, с какой-то брезгливой враждебностью коснувшись моей, громко и отчетливо произнесла:

— Забери и больше никому не показывай эту чушь! Интересно, что ты вообще себе позволяешь?

Это был удар наотмашь. С тех пор я готовила только «правильные» сочинения и получала за них «пятерки», которые в моих глазах гроша ломаного не стоили.

Много лет позднее, преподавая журналистику в университете имени В.Н. Каразина, я столкнулась с этим «ломанием через колено». Дама средних лет, в жизни не написавшая ни строчки, учила студентов, как нужно готовить «правильные» тексты, чтобы преуспеть в этой «зависимой» профессии. В результате одна из ее студенток срочно перешла на другое отделение, а вторая вместо «неправильных» текстов, стала писать только «правильные» — убогие информации на экономическую тему. Дама говорила об этом на заседании кафедры с нескрываемой гордостью. И это меня взорвало:

— Неужели вы не понимаете, что вы этих девочек «поломали через колено»? — спросила я у нее. — Они уже никогда не напишут ничего стоящего!

Дама обиженно поджала губы, но после заседания кафедры неожиданно подошла ко мне и, смущенно улыбаясь, сказала, что осознала свою вину и постарается больше не «ломать через колено» своих студентов.

Я ей не поверила.

*

В седьмом классе меня решили не принимать в комсомол. Классная руководительница, маленькая и кругленькая, по прозвищу «Колобок», с побелевшими от злости глазами, пыталась вывернуть меня наизнанку.

— Ты не живешь жизнью класса! Ты высокомерна и презрительно относишься к окружающим!

Это была неправда. Я спустилась по лестнице и сорвала пальто с вешалки. Больше к этой теме я не возвращалась. В десятом классе меня приняли в комсомол — тихо, в общей массе, без всяких условий и оговорок. Что-то не сходилось в их показателях отчетности.

*

Да, не сильна, и тебя сломят. Если уже не сломали. Альпинист орудует своим ледорубом. Вырубил очередную ступеньку — и застыл, ждет. Соизмеряет свои силы и крутизну подъема. Мысленно чувствует и слепящий холод падения, и усталое торжество победителя, чтобы минутой позже оказаться на дне ледяного колодца с разможженным хребтом.

Обладание разрушает

Я рано почувствовала хрупкость любви, ее ужас, предательство и безнадежность. Мне было шестнадцать, когда на семейном совете решили, что я стану врачом. А для начала меня устроили работать нянечкой в роддом для приобретения необходимого в те времена «трудового стажа».

К своему ужасу я попала в абортальное отделение и выдержала там ровно три дня. К концу третьего дня, вернувшись домой, я заявила бабушке:

— Это так гадко и страшно! Я этого не хочу! Я никогда не допущу для себя этого ужаса!

На этом моя медицинская практика закончилась. Но всей моей будущей судьбе был нанесен непоправимый удар. Еще не зная, что такое любовь, я увидела ее страшную изнанку — разъятую женскую плоть, крики, стоны, и кровь, кровь, окровавленные бинты, куски окровавленной плоти.

То была изнанка физической близости с мужчиной. Теперь я знала, какой бывает расплата за любовь. Она приковывает женщину к позорному столбу унижений и мук.

Это открытие останется во мне навсегда. И — никаких сеансов психоанализа! Каждая женщина — отличный психоаналитик для себя самой. Заглянув в прошлое, легко понять, почему так сложилось твое будущее.

Я действительно не допустила в свою жизнь «всего этого ужаса». С тех давних пор у дверей моего сознания навсегда поселился сторожевой пес Страха. Он просыпался и поднимал голову даже в самые яркие и праздничные минуты жизни. Своим рычанием он напоминал о неизбежности Расплаты.

С тех пор я инстинктом чувствовала, насколько разрушительно любое обладание — будь то мужчина, мечта или вещь.

*

Разлука сродни смерти. Их общие неизбежные предвестники: пустота, холод и равнодушие. Уже не нужно спешить, вспыхивать от досады или радости, плести хитроумные сети. Уже ничего не нужно.

Вначале — толчок, падение в бездну, чей-то хохочущий оскал. А потом — усталость, тишина плывущих по небу облаков и зияющая рана в сердце.

*

Нет, не всех хранит Бог. Иных он просто консервирует, оставляя фасад, — относительно благопристойный, хотя и со следами разрушения.

*

Победителем всегда оказывается тот, кто первым сумеет вычеркнуть вас из своей жизни, списать со счетов, пропеть анафему и водрузить символический крест над холмиком.

*

В юности мы ждем Чуда и почти уверены, что уже вечером оно наступит. И когда это не происходит, то начинаем создавать Чудо из себя самих.

Но приходит день, когда наступает иная реальность. Реальность освобождения — от себя и других. Реальность созерцания. То новое, что входит в жизнь, полностью меняет картину мира и наши с ним отношения.

Ты слишком долго ждала от мира Чуда понимания и любви. А потом вдруг перестаешь ждать. Исчезает Желание — и повязка падает с глаз. Какой-то разлом между тобой и остальным человечеством

Отныне ты владеешь своей тайной. Что же освобождается раньше — плоть или дух? Наверное, дух, но полное освобождение — это равнодушие плоти. Возврат к первоначальной детской чистоте, пусть и лишенной светлого незнания, хотя и замутненной легкой брезгливостью воспоминаний.

У духа — своя биология, свои законы. Когда исчезает Желание, открывается возможность нового обладания — истинного, без эгоистических страхов, порывов жестокости и сентиментальной тоски. Вместе с освобождением наступает конец всему, что составляет общепринятый смысл, объяснение и цель человеческой жизни.

О свободе воли

Нет, не нужна мне свобода воли. Я предпочла бы мудрое водительство, прохладную длань на своем челе, снимающую напряжение, обиду и глубинное внутреннее одиночество.

Не может быть свободы воли у существа, посаженного под тюремный замок. Количество шагов строго ограничено пространством камеры, а взгляд упирается в зарешеченное окно.

Существует, правда, еще прогулочный дворик, но это четко регламентированное коллективное хождение по кругу утомляет особенно.

Хотите быть хозяйкой своей судьбы?

Над этим всегда готовы посмеяться ваш личный режиссер вместе со своим помощником. Оба держат

вас в плену заранее заготовленного сценария и менять его не намерены. Личный режиссер поджидает в конце каждого жизненного перехода, как старый ненавистный приятель — руки в брюках и кривая улыбочка. Взглядом косит вглубь того пространства, где нет ничего и куда даже любовь проникнуть не в состоянии.

Зато помощник режиссера всегда держит тебя в узком и душном кольце посторонних тел, унижительных условий и запретов, чужой глупости, зависти, настойчивых вожделений, скрытой или открытой ненависти. У него много имен и лиц.

С обоими режиссерами у меня всегда были напряженные отношения. Главный, по сути, никогда не оставлял свободы выбора, кнутом загоняя в отведенное для меня пространство. Помощник, хохоча и улюлюкая, мчался следом, погромыхая своим корытом.

Оставаясь наедине со своим разбитым корытом, я для начала устраивалась в нем поудобнее, со всем допустимым комфортом, наливала в бокал прозрачное вино и произносила в пространство фразу, предназначенную для своих мучителей:

— Ну и черт с вами! Банкуйте!

*

Когда ты молода и не знаешь, как поступить, руководствуйся инстинктом. Он безошибочно подскажет, как сохранить себя и свое пространство внутренней свободы.

*

Страх получить отказ, страх поражения подтачивает любое общение. Нет свободы. Просить страшно. Самое неприятное — просить что-нибудь лично для себя, а вот просить и даже требовать для другого не страшно. Страх исчезает.

*

Вспомнила — и серебристая змейка жалости подняла голову со дня чаши. А раньше чаша была полна до

краев, и содержимое бурно плескалось о бронзовые берега. Вместе с жалостью пришла боль. Ведь это означало конец. Конец его власти, а значит, и конец их связи.

Неравенство

Он посмотрел на нее — и вдруг ощутил, какая пропасть разделяет их. Отныне они уже никогда не будут равны.

Материнство вознесло ее на пьедестал, у подножия которого ему вечно оставаться. А ведь еще недавно все было по-другому. Их нес водоворот чувственности, и она была еще более жадным искателем наслаждения, чем он. Она мчалась за ним, а достигнув, почувствовала себя немой и поверженной.

Но сейчас — в ореоле золотистых волос, в образе Мадонны с младенцем на руках, эта женщина была незнакомой, чужой, предавшей их общую страсть ради нерасторжимой связи с ребенком. Мужчина был предан, оставлен, забыт, не нужен. Она могла отстраниться от него навсегда, в любую минуту, продолжать жить и оставаться счастливой.

Он признавал естественным такое положение вещей, но простить ей этого неравенства не мог.

*

Будто на секунду отворилась дверца в сознании, и я вспомнила. Ах, да, вот отчего все началось! Накануне был весенний автобус, где на задней площадке ехала молодая женщина, рядом в коляске спал ее ребенок. Женщина разговаривала с мужем. На фоне весеннего неба какого-то грозового оттенка шевелились ее губы и светились глаза. Она ехала, не подозревая о своем счастье — на фоне праздничного, грозового оттенка своей судьбы.

А до этого был старый покосившийся забор, деревья в талом снегу. И вся эта весенняя разворошенность вдруг воскресила детство, а вместе с ним — и желание, возможность Ухода. Таков путь возвращения к истокам — туда, где не было ничего, не было нас.

Деревья вздрогнут от счастья...

Как могло случиться, что эти совершенные сущности так трагично беспомощны перед лицом того, что зовется человеком. Ведь им не убежать, не защититься от тупой и неутолимой агрессии белковых монстров, когда острое топора вонзается в их тела, а чьи-то грубые клешни обламывают их руки-ветви. Их удел — стоять неподвижно и ждать, уповая лишь на милость Провидения.

Откуда эта молчаливая покорность прекрасных и древнейших существ? Деревья так недосыгаемо совершенны по сравнению с нами. Их жизнь от зачатия и до глубокой старости — это музыка и свет, игра теней и благоухания. Даже смерть их и тление исполнены поэзии и красоты. На них не лежит печать человеческого проклятия: вечного поиска пищи и гармонии, лихорадки обладания, зуда движения в никуда, взрывов сожаления о безвозвратном, уходящем, мщениия миру за собственную малость и неспособность.

Деревья мудры и неподвижны для нашего взора. Их движение — вглубь и ввысь. Тайна, в которую проникают могучие корни, рождает слепящий взрыв радости ветвей и кроны. Они одаривают нас этим безоглядным подарком по-царски, ничего не ожидая и не требуя взамен. Это — аристократы духа в истинном и недоступном для нас понимании.

Они — наши старшие братья, однажды одаривающие нас тревожно-сумрачной и теплой догадкой о нашем будущем слиянии с ними. Нам стоило бы учиться у них многому, различать посылаемые нам знаки понимания, снисхождения и даже любви.

Однажды, глухой зимней полночью, ты проснешься и вспомнишь. Бедные, бесприютные деревья в темном холодном парке. Наступит утро — и ты поспешишь в парк. И деревья вздрогнут от счастья под твоим взглядом.



*“Счастье - не удел прагматиков и утилитаристов.
Это странствие в неизвестное.
Счастье - апофеоз внезапности.
Оно всегда с вами.”*

Раджниш Ошо



Девушка, мечтающая о принце

«В парке Чаир распускаются розы...»

Наши молоденькие мамы жили в одной коммунальной квартире на Холодной горе. По утрам они готовили нехитрые завтраки для своих мужей на общей кухне, а по вечерам пили чай за уютным столиком, где стояла жестяная коробка с монпасье. Было это еще до войны — в той жизни, где нас еще не было.

— Инна Ланкис? — переспросила мама, когда я заговорила с ней о своей однокурснице. — А папа у нее — Лазарь, такой рослый и стройный, а мама — Симочка? Симочка была небольшой, едва доставала до плеча своему мужу.

И мама, блестя глазами, стала рассказывать о том особом, довоенном времени, когда не было тяжести земного притяжения, а только — радость, только — полет и чувство огромного беспричинного счастья.

— У меня было черное крепдешиновое платье, выходное. А всем казалось, что их у меня несколько. Что-нибудь изменишь, украшение или белый воротничок пришьешь — и уже новое. Однажды полностью перекроила платье и пришла на праздничный вечер — все ахнули. Опять ты в новом? С обувью, правда, было сложнее. Но ничего страшного! Все лето — белые спортивные тапочки. Если чистить мелом — просто блестяли. И к белому воротничку подходили. А осенью брала чернила и перекрашивала. Получался фиолетовый цвет — очень практично.

Когда мама рассказывала о своей молодости, ее зрачки расширялись, становясь золотисто-радужными, а в глазах появлялся особый кошачий блеск. Ее воспоминания о том времени были всегда легкими, нематериальными, будто не было в нем ни горя, ни болезней, ни голода, ни холода. А ведь все это было. Но только не для нее. Милый «фабзайчик» со светлым каштаном пушистых волос и румянцем на всю щеку. «Ворошиловский стрелок» в белом полотняном одеянии для первомайского парада по дамски картинно смотрит в дуло длинного смешного ружья. Молоденькая ткачиха, а затем и мастер цеха из кинофильма «Светлый путь». «Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы...».

Что они ели? Ну, какие уж там деликатесы или шоколад!

«Картошечки отварим, постного маслица. В обеденный перерыв — винегрет с кусочком хлеба. Но мне все на пользу шло. Была я — кровь с молоком. А сколько энергии, сколько сил!».

Зато в день полочки — большой пакет зефира из рук любимого. И обязательное катание на лодке. Одним словом — «в парке Чаир распускаются розы, в парке Чаир голубеет миндаль».

Автобусы на Баварию еще не ходили, и с Холодной горы на Канатный завод приходилось идти пешком вдоль леса.

«Однажды я проспала, и первый гудок застал меня возле леса. Боже мой, как я бежала! Опаздывать было нельзя, за это могли и посадить. Я была вся мокрая и красная... На проходной сказала, что я из душа после третьей смены. Меня пропустили: душевые были за проходной. Это было счастье. Больше я никогда не опаздывала».

Так Инна, вернее упоминание фамилии Ланкис, вызвало у мамы блеск в глазах и целую бурю молодых воспоминаний. У нас с Инной были удивительные мамы, созданные из особого сверхпрочного материала. В них была огромная победительная жизнестойкость. Они умели радоваться каждому дню и в каждом находить особый смысл и уладу. Они никогда не сдавались. Они оставались победительницами до конца.

Тихое «навсегда»

Однажды, сидя на скучной лекции в Университете, мы с Инной обменивались записками. «Пожалуйста, пойдем вместе, — писала Инна. — Сегодня заседание школы молодого журналиста. Не хочется идти одной».

Послеполуденное солнце рвалось в открытые окна аудитории со стороны Госпрома, лекция подходила к концу, а у меня действительно не было особенных планов на вечер.

Наш путь лежал от начала аллеи, где тогда высился Каразин — прямоком на Сумскую, где в небольшом сером особнячке под номером 54 нас, возможно, ждали. Старинная массивная дверь с испуганными львиными мордочками отворилась и впустила нас внутрь — туда, где в углу полутемного коридора поблескивал каминный мрамор, а неслышный голос откуда-то сверху произнес сакраментальное: «навсегда».

Старинный особнячок оказался не только сюжетообразующим, но и судьбоносным для нас обеих. Отныне журналистика на долгие

годы станет нашей общей профессией, а значит и судьбой. Можно сказать, Инночка за руку подвела меня к этой двери со львами. И дверь поглотила нас. Увы — навсегда. Хотя почему — увы? Мы искренне, всей душой полюбили эту профессию, и нам казалось, что наше чувство не было безответным. Профессия предлагала, нет — требовала делать высокие ставки. Что ж, мы готовы были платить по счетам. Сидя за этим игорным столом, мы не передергивали, не ловчили, стремясь вести честную игру с собой, с ней, с жизнью.

Но жизнь — особа непредсказуемая. Как в банальном анекдоте: когда, казалось, ты уже выигрываешь эту шахматную партию, она предлагает сыграть с ней в шашки.

Бастион демократии

Все самое важное должно начинаться с праздника — детство, профессия, жизнь.

Праздник — это олицетворенная радость, концентрированное счастье, которое нужно пить по глоточкам, растягивая наслаждение во времени — иначе радость превратится в боль, которая разорвет тебя на части.

Я не знаю более праздничной профессии, чем журналист. Не знаю более обманчивого ремесла, чем журналистика. Это как ощущение солнца в фиолетовых разрывах грозových туч. Кажется, вот оно уже позолотило мрачные края облаков. Но нет — радость оказалась преждевременной, и мимолетную улыбку Бога заволокло грозovým туманом.

Но всё начиналось с праздника. И олицетворением его служил особняк старой харьковской постройки по улице Сумская, 54. Когда-то, еще до войны, здесь располагалось немецкое консульство. Над входной дверью со львиными мордами висел иностранный флаг, а там, внутри, звучала четкая дробь шагов, распоряжений, шифрованных сводок и вообще — текла своя, особая, невидимая постороннему взгляду жизнь, окутанная атмосферой чьей-то власти, силы, многозначительных веских недомолвок и большой политики. Теперь все левое крыло первого этажа и пристройку для консульской obsługi, которую называли «голубятней», занимала Харьковская молодежная газета «Ленінська зміна».

В те годы газета действительно напоминала веселую и шумную голубятню, где было много шутиливой возни, писка, хлопанья крыльев,

наспех вымытых кофейных чашек и сигаретного дыма. Эдакий бастион демократии и относительного свободомыслия, куда слетались самые неожиданные человеческие экземпляры — за сочувствием, пониманием, поддержкой и помощью. Поэты, актеры, социальные реформаторы, художники, архитекторы, физики-атомщики, юные экзальтированные девы.

Чтобы попасть в редакцию «молодежки», нужно было подняться по лестнице и пройти мимо бабульки, по-домашнему вяжущей носок. Не поднимая глаз, вахтерша спрашивала: «Куда вам?» и всегда пропускала.

Постоянный круговорот посетителей газеты создавал ощущение непрерывного жизненного потока, сменяющих одна другую мизансцен — трогательных, смешных, порой нелепых.

Периодически в коридорах редакции возникала полусумасшедшая Рита Альтшулер в старых засаленных одеждах. Ей постоянно нужны были благодарные слушатели и консультанты, она всегда нуждалась в поддержке и потому, приотворив очередную дверь, спрашивала: «Скажите — это образ или не образ?». И доставала из пещеристой пасти своего ридикюля испещренные ломаным почерком измятые бумажки. Стихи были ужасно беспомощные, но иногда и у нее случались удачи, когда измученный Ритиной поэзией сотрудник газеты признавал, что вот это — да, это — образ. И тогда окрыленная Рита удалялась с запечатленной удачей в сердце. Она писала стихи по любым поводам, к любой из революционных или прочих дат.

Однажды пятидесятилетнюю Риту напечатали в «Пионерской правде» — маленький стишок к юбилею пионерской организации. В редакции искренне полагали, что им пишет школьница младших классов. Рита долго носилась с этой газетой и даже замыслила отправить в «Пионерскую правду» цикл детских стихов.

Вообще же, несмотря ни на что, Рита сохраняла трезвую жизненную цепкость. Бог знает, на какие средства она жила в своей комнатухе под лестницей старого дома. Потому, наверное, был иной, более прагматический смысл ее появлений. Своим слушателям, особенно женщинам, она частенько предлагала погадать на картах, а когда те ссылались на занятость, просила дать взаймы мелочь. В этом ей никто не отказывал.

Королева поэзия

Порой дверь иного редакционного кабинета распахивалась, и в пространство комнаты решительно вдвигалась щуплая фигурка поэта Алика Брагинского — глубокий мягкий взгляд больших и печальных глаз и неожиданный в этом хрупком теле низкий рокочущий голос. Алик никогда не приходил — он вторгся в оцепенение обыденности, а после его ухода увязшая в сознании чеканная фраза вспыхивала в разговоре бенгальским огоньком буффонады.

«Я говорю
От имени
Особого отдела»...

Алик ушел гораздо раньше многих своих ровесников-поэтов. Только позднее стало известно, как давно и тяжело он болел, и чего стоило каждое из его праздничных появлений в коридорах редакции. Он никогда не касался трагических частных своей судьбы. Однажды он просто не пришел в газету, и запоздалая весть о его кончине мелькнула мрачной тенью в случайном кофейном разговоре.

В те годы почти все писали стихи. Не писать стихи было почти что неприлично.

— Настоящее «стихийное» бедствие! — иронизировал пожилой, но все еще вальяжный харьковский критик Гельфанбейн перед началом очередного заседания по пятницам в старинном особняке Союза писателей по улице Чернышевского — центре притяжения харьковской литературной вселенной, с зеленым сукном бильярда и узким длинным зеркалом над давно угасшим камином. Какие страсти кипели тут! Тщеславия, гордыни, жаркие надежды на покорение Мира посредством его величества Слова, тайные и явные влюбленности. С каким робким, дикарским любопытством взирали новички на «живых классиков» — Ивана Выргана, Игоря Муратова, Ивана Багмута с бильiardными киями в руках. А надо всем витала официально признанная Временем Королева — Поэзия. Одни были её покорными вассалами, другие — высокомерными фаворитами, третьи — отвергнутыми любовниками, четвертые — молчаливыми страстными завистниками. Равнодушных же не было вовсе.

В те годы Поэзия была особой дозволенной формой свободы. После тотальной зимы всеобщего обезличивания и духовного оскотления чьей-то разрешающей рукой были открыты шлюзы — и поток хлынул. Он был стремителен, хотя и неглубок, успевая только

ненароком возмущать глубинные наслоения ила и приоткрывать мрачные провалы правды. Нам разрешили глоток свободы, и это пьянило, казалось по-царски щедрым подарком. Поэзия позволяла, хотя бы отчасти, быть собой, верить в существование Добра и Справедливости. Казалось, отныне так будет всегда.

«Потому что я — человечище»

...То были как взаимососообщающиеся сосуды — писательский особнячок на Чернышевского и редакционный особнячок на Сумской. Постоянные обитатели одного плавно перетекали в другой, чтобы позднее прошествовать вниз по Сумской, где за ритуальной чашкой кофе и рюмкой коньяка обсуждалось множество проблем века, включая общепланетарные.

Вот молодой Анатолий Ревуцкий — еще сам весь ожидание, и стихи его тоже называются «Ожидание», а в них — «деревья расчехлены», и он — «русый как древний русич». Как осквернится лет через десять то робкое, трогательное, незащищенное, что сквозило когда-то в облике молодого поэта!

...Вот поэт Стас Шумицкий в длинном сером пальто со свертками из гастронома, сопровождаемый умеренной толпой почитателей, вечерней тенью мелькнул и заперся в своей угловой литредакторской комнатке — писать в номер о каком-нибудь Герое Социалистического труда. Тогда в моде были такого рода газетные поэмы. Они, как правило, занимали всю полосу, были торжественны, велеречивы и служили достойной праздничной заменой любого производственного очерка.

Шумицкого всегда окружала толпа — какой-то смутный водоворот лиц, тостов, восхищения, злобы, любви и сплетен. Казалось странным, что он вообще успевает что-то писать. Почти все, и даже его враги, были единодушны в признании его талантливости. Он и был талантлив. В облике Стаса всегда оставалось что-то юношеское, несмотря на муки, грязь, испытания жизни. Какое-то особое выражение лица, глаз, будто готовое к удивлению и настороженной лукавой насмешке. Даже светлые, зачесанные назад волосы, казалось, готовы были удивляться, когда начинала топорщиться одна из ровных ржаных прядей.

Сколько их — ярких, живых, страдающих существ, потом резко уйдут, превратятся в бесплотных теней. И клубящийся туман навсегда поглотит их.

...Помню одну из последних встреч со Стасом Шумицким. Он пригласил друзей-журналистов отобедать с ним по поводу какого-то юбилея. Мы сидели в круглом стеклянном ресторане, окруженном парковой зеленью, и Стас возвышался над белыми салфетками — торжественный, чуть грустный.

Потом он упросил нас поехать с ним к его бабушке в Люботин, и мы ехали тряской, темной дорогой. Было поздно, бабушка уже спала, и полночи, до наступления утренних сумерек, мы провели на крыльце маленького дома. Потом отправились на одно из люботинских озер. Стас шутил, брызгался водой, утро было легким, прекрасным. Известие о нелепой страшной кончине Стаса — было как дурной сон.

...В те, еще хорошие, иллюзорные годы поэт Аркадий Филатов писал:

«Потому что я — Человек,
Потому что я — человек,
Потому что я — Человечище».

Стать Человечищем — удавалось немногим. Человек под влиянием медленной, но непрерывной душевной коррозии бледнел, мельчал, распадался, дробился на осколки.

Оставался человек...

«Над черной мартовской рекой»

В молодежной газете в те годы сотрудники делились на «чистых газетчиков» и поэтов, зарабатывающих на хлеб профессиональной журналистикой.

Поэты-журналисты, очевидно, ощущали свою «верховность» по отношению к «чистым газетчикам». Но и те, в свою очередь, испытывали к поэтам особое снисходительно-покровительственное чувство — ласковое и чуть презрительное, какое взрослые питают к детям.

Поэты мечтали стать классиками, «чистые газетчики» тяготели к «большой журналистике», носились с идеями частичного, но решительного переустройства мира, кардинальной переделки газетного лица, а главное — «в Москву, в Москву!» Только в Москве, считали они, настоящая жизнь и борьба. Те удила и вожжи, которые они постоянно чувствовали на себе здесь, в провинции, изрядно натирали им кожу.

В своем кругу газетчики делились на «просто писателей», «больших писателей» и «очень больших писателей». «Просто писатели» были рядовые газетные писаки, тихие карьеристы и серые мыши, не способные подняться выше уровня унылой ординарности. Такие чувствовали себя неуютно в честолюбивой и подчеркнута ироничной среде «больших писателей» — и потому при первой же удобной возможности покидали молодежный корабль и перемещались на второй этаж, где располагалась партийная газета.

Что же касается «больших писателей», то они, как правило, не успевали стать «очень большими» — по причине своего нетерпения поскорее оказаться в столицах, где их ждали новые трамплины для будущих блестящих прыжков и завоеваний. Их нынешняя реальность была всего лишь трамплином под № 1.

Сегодня, рассматривая в увеличительный бинокль события давнего прошлого, с грустью замечу: далеко не всегда судьба молодых редакционных честолюбцев складывалась согласно намеченному сценарию. Иных действительно ждали короткие и стремительные столичные взлеты, но и столь же стремительные падения, растворение в пустоте и неизвестности. Другие возвращались домой с опаленными крыльями, а то и вовсе без крыльев, чтобы тихо умереть в больнице с распавшейся от пьянства поджелудочной железой. Самым решительным и отчаянным приходилось искать и находить себя уже в эмиграции.

Но тогда все только начиналось, и обитатели большого, как танцзал, кабинета промышленного отдела газеты хорошо смотрелись в нем — молодые, насмешливые, честолюбивые, талантливые — каждый на свой лад.

*

Поблескивал затемненными стеклами роговых очков «большой писатель» Виктор Чалый. Он чем-то напоминал молодого дипломата — сдержанная подчеркнутость манер в соединении с мягкой иронией, местами переходящей в легкий сарказм. И ни малейшего намека на провинциальную замшелость того городка, откуда он был родом. В газету он пришел тотчас же после строительного института, что уже само по себе предполагало знание не столь гуманитарных, сколь практических сторон жизни. Очевидно, по этой причине он возглавил промышленный отдел, сплошь состоявший из гуманитариев, часто абсолютно девственных в технико-экономических вопросах бытия.

Все в его жизни и карьере складывалось легко и непринужденно. Он легко и непринужденно писал, легко и непринужденно шутил, легко и непринужденно жил. Над его ироническими экспромтами для редакционных капустников искренне хохотали. Кто-то из его подчиненных, в свою очередь, сочинил экспромт:

«Женился, и теперь вот одичалый
Не подстригаюсь, не танцую твист.
А по ночам мерещится мне Чалый
Великий журналист. Прожекторист».

Просторный кабинет промышленного отдела был буквально пропитан флюидами чувственности и молодого насмешливого задора. Поигрывая своим недавно надетым обручальным кольцом, Виктор Чалый произносил свою коронную фразу, предназначенную для очередной посетительницы:

— У меня есть жена и ребенок. Но, надеюсь, это не мешает нам любить друг друга?

Ему нравилось таким образом эпатировать хорошеньких дам и начинающих журналисток.

Особа, которой адресовалось столь рискованное предложение, в ответ смущалась и краснела, застигнутая врасплох этой веселой наглостью. В таких случаях щекотливую ситуацию нередко разрушивал «надежда русской поэзии» Александр Черевченко, работавший под началом у Виктора. Он был светел лицом, обаятелен и умел нравиться дамам. Дамам нравились его стихи:

«С кем идешь ты сейчас
В малахитовом платье нарядном?
Кто целует тебя
В полутемном прохладном парадном?».

Но особой популярностью пользовалось стихотворение Саши «Над черной мартовской рекой»:

«Над черной мартовской рекой
Я целовал ее. Я плакал.
Она светила мне как факел
Над черной мартовской рекой».

Девушки и молодые дамы переписывали друг у друга эти стихи, и каждой хотелось думать, что они посвящены именно ей. Но в узких, более осведомленных кругах шептались, что на самом деле стих

предназначался даме 36 лет, которая была замужем, сидела в редакционном кабинете в самом конце коридора и казалась недосягаемой, как вечерняя звезда.

Проклятые, но не забытые

Он смотрел на меня тяжелым взыскующим взором. Я помнила это лицо, когда оно было значительно мягче и моложе. Лицо схимника и белого офицера, бегущего от советов через Константинополь. С тех пор прошла целая жизнь. И не одна — много жизней. Рушились режимы, которые казались вечными, как египетские пирамиды. Одна эпоха сменяла другую, вплотную приблизив зарево грядущего Апокалипсиса.

В свое время схимнику и белому офицеру удалось-таки сесть на пароход и навсегда покинуть родные берега. Теперь он эмигрант со стажем. Он похоронил прошлое и водрузил крест на холмиком. Он отрекся от прошлого, нацепив на него клоунский колпак беспробудного пьянства и демонстративного ёрничанья.

Но прошлое не отпустило его. Проклятое, но не забытое, оно воскресло в памяти вплоть до последней черточки и последнего прощального глотка. То было наше с ним общее прошлое. Странное, призрачное, ускользающее время. Время утраченных надежд и вдребезги разбитых иллюзий. Время предательств и внутреннего одиночества.

Время, когда мы были молодыми

...Над темно-синей бездной роятся образы полулюдей, получудовищ. Бог мой, да это же графика молодого Кринского! Нашего Тофика, редакционного художника с лицом молодого инок. Небольшая комнатка на втором этаже, увешанная ликами святых с глазами, похожими на Тофикины. Тофик в позе йога отдыхает от трудов праведных, Тофик дурачится с Олегом Шабельским, который еще полчаса назад сидел у себя — таинственный и непроницаемый, в броне серого свитера грубой вязки, пытаюсь раскурить свою большую темную трубку.

Отправляясь в прошлое на своей выдавшей виды шхуне, Николай Шатилов прихватил за компанию чудовищ молодого Кринского. Большими черными буквами он вывел на борту своего книжного плавсредства: «Кляті сімдесяті».

Ох, уж эти проклятые семидесятые, когда мир менял свои очертания, становясь жестче, циничнее и парадно-лживее. А счастье было — как апофеоз внезапности.

С нежностью к Пулемету

Все дороги вели к нему и все пути лежали через него. «Пора роковых ожиданий и встреч безысходных пор». Он годился для любой поры года и для любого состояния души. Наш странный, похожий на длинный коридор объект властного притяжения городской богемии и харьковской духовной элиты. Входишь с одной стороны Сумской, а выходишь на перекресток Сумской и Совнаркомовской — напрямик к Стеклоанной струе — на пяточок пронизанного праздничным ветром пространства.

Проходка по длинному коридору, уставленному высокими мраморными столиками и зеркалами в пол — не простое передвижение, а Вызов, Демонстрация, Подиум, к которому прикованы взгляды публики, оценивающей степень твоей самобытности. Ты делаешь вид, будто не замечаешь оценок. Но ты все замечаешь — взгляды, выражение лиц, каждую мизансцену в уголках и нишах этого стремительно и празднично вытянутого вперед пространства. Чьи-то глаза распахнуты навстречу в улыбке дружеского узнавания: «Неужели? Ну, конечно, где бы еще мы могли встретиться!». Двухминутный обмен приветствиями и новостями.

Один начинающий прозаик в недолго выходявшем у нас эссеистическом журнале «В кругу времен» сравнил Харьков с большим, продуваемым всеми ветрами коридором. Мы встретились, обменялись короткими рукопожатиями, и нас понесло дальше, подхваченных ветром сиюминутности. Наверное, отчасти таким коридором был кафе-автомат на Сумской, нежно именуемый «пулеметом». Представить Харьков тех времен без «пулемета» почти невозможно. Он не умещался в банальные определения «харчевня» или «кофейня», тем более — точку общепита. Он был чем-то иным, большим, выходящим за пределы желудочных и вкусовых ощущений.

...Вспомнился один из многочисленных и веселых розыгрышей с участием наших молодых редакционных оболдуев. Как-то они заключили пари: один подойдет к столику в кафе-автомате и обратится к посетителю с коронной фразой: «Позвольте я докушаю».

Вся соль пари заключалась в том, чтобы не просто сказать, но и «докушать»

Дело было зимой, и ребята, явочным порядком изъязв с вешалки мою рыжую лисью шубу и обрядив в нее самого длинного из них, отправились вниз по Сумской, вызывая локальный ажиотаж среди прохожих.

Войдя в кафе, главный участник задуманного эксперимента рысью ринулся к первому попавшему на глаза посетителю, мирно жующему бифштекс, со своим предложением «докушать». Но озадаченный посетитель в ответ на столь экстравагантную просьбу отреагировал не по сценарию. Он полез за бумажником, озабоченно бормоча:

— У вас нет денег? Не волнуйтесь, я вам дам. Скажите — сколько...

Компания наблюдателей держалась за животы — пари с треском провалилось. Наш верзила, чертыхаясь, спешил к выходу — ему еще предстояло возвращаться в редакцию в пушистой и коротенькой дамской шубке.

...В девяностые годы, теперь уже прошлого века, после долгого перерыва была попытка возродить харьковский «пулемет» на его прежнем месте. Тогда его так и называли — «Кулемет» и даже соорудили где-то в центре бутафорскую тачанку времен Гражданской войны со всей подобающей атрибутикой. Но это был уже не тот «пулемет», и атрибутика времен Гражданской войны была здесь совсем ни к чему.

Да и публика была уже другой. Другим было время. «Кулемет» конца девяностых был всего лишь жалкой пародией на «пулемет» семидесятых. Тот, бывший, уже невозможно было воссоздать или воскресить. Как невозможно воскресить навсегда ушедшее время.

С любовью к «Кровавой Мэри»

На выходе из «пулемета» наши пути с ребятами, как правило, расходились. Дальше начинались их мужские забавы и мрачный мужской питейный разврат. Коля Шатилов живописует весь этот невинный винный разгул с большим увлечением и множеством подробностей. Его можно понять. «Желудочный» способ воскрешения прошлого — один из самых безошибочных. Достаточно вспомнить этот давний, забытый вкус... С особой любовью он вспоминает доступную по цене «Кровавую Мэри». Прозрачная живительная влага, куда по широкому лезвию ножа истекает томатный сок, покорно ложась на дно. Выпил — и никакой закуски не требуется.

Конечно, были коктейли и позабористее, хотя и подороже. К примеру, «Огненный шар» — бьющая наповал смесь водки, коньяка, ликера, шампанского и портвейна. Но «Кровавая Мэри» навсегда сохранит свое особое памятное местечко, как безотказная подружка и верная одалиска ежевечерних мужских забав.

— Неужели так-таки ежевечерних? — уточняю я.

— Вот именно, — дерзко настаивает бывший «полковник», получивший столь высокое звание за несгибаемую питейную удалость в узких литературно-журналистских кругах.

— И не только ежевечерних, — с гордостью добавляет он, — но и многолетних.

— Ну-ну-ну, — упрямо пытаюсь вернуть своего коллегу в жесткие тенета реальности. — Знаю я вас, господ полковников, поручиков и даже питейных обер-шейков. Конечно, вы были лихие ребята. Но не настолько же, чтобы дело дошло до развода с вашей основной избранницей. Журналистика, как, впрочем, и литература — особа тираническая, и любовь к ней не терпит отвлечения и пустот. Так что «Кровавая Мэри» в роли любовницы — еще куда ни шло. Но в роли законной жены — это уже авторский перебор, господин Шатилов.

Такси!

В мужских играх с «Кровавой Мэри» я не участвовала. У меня был свой мир и свои дамские игры.

Лично я предпочитала в иные вечера коктейль «Нежность» в недавно открытом кафе «Юность». Удивительно нежная смесь. Самая малость ликера, несколько капель водки, сухое вино и минералка. Все вместе имело божественный вкус. Но — не больше двух коктейлей. А потом:

— Была рада встрече.

— Мы еще увидимся?

— Все может быть. Но сейчас я тороплюсь. Мне еще ехать через весь город. Можете проводить меня до Университетской лестницы. Там я спущусь и возьму такси.

Такси «через весь город» стоило один рубль. Удивительно, правда? Мой девиз тех лет: «Поделись с ближним. Но не последним рублем. Он — для такси».

Однажды я таким образом проехала зимние сапоги, которые входили в моду и были в большом дефиците. Никак не успевала

после работы добраться до сапожной лавки, где армянин делал дамские сапоги на заказ.

Зато — как удобно! Спускаешься вниз по лестнице, останавливаешь такси — и ты уже дома. О сапогах, конечно, пришлось забыть. Да и сколько там этой противной зимы!

Грешное с праведным

Но возвратимся к празднику. Школа юнкоров, куда привела меня Инночка, задумывалась как «домашняя кузница» будущих газетных кадров. Первые занятия были шумными и многолюдными. Но к концу учебного года остались единицы — те, кто по-настоящему «заболел» газетой.

Школу нашу вел Дмитрий Никитич Чумаченко, уже немолодой добродушный, улыбчивый человек. Бывший фронтовик. Его молодые коллеги относились к нему с оттенком снисходительности — как к «уходящей натуре». Но нам милы и дороги были его мягкая «домашность» и та основательность, с которой он внушал нам газетные истины: как вести записи в рабочих блокнотах, как проверять факты и чем отличается информация от корреспонденции.

Порой на эти наши занятия «запархивали» молодые газетчики, чтобы небрежно поучить нас чему-нибудь мимоходом. Мы жадно всматривались в их лица, вслушивались в их голоса и вообще — впитывали исходивший от них дух внутренней раскованности и свободы. И все же «отцом родным» поначалу оставался для нас Дмитрий Никитич — трогательный и чуть смешной в своей старомодной броне незыблемых, как смерть, газетных правил.

Серьезность, с которой он относился к газетному делу, передавалась и нам. Мы старательно рассылали на предприятия и в организации так называемые пресс-контроли с категоричными требованиями ответов на критические выступления газеты. Вооружившись купленными в киосках блокнотами, рыскали по городу в поисках интересной газетной «пищи», а найдя, тащили все это в свой «муравейник», нередко изнемогая от обилия слишком разнообразных и противоречивых фактов.

Очень скоро редакция стала чем-то главным в нашей жизни. Казалось: именно там, за дверью со львами — особый мир, где ежеминутно происходит что-то важное, радостное и необычное. И оставляя всякий раз этот мир, мы стремились поскорее вернуться туда, где кружилась блестящая и праздничная газетная фарандола.

*

Как-то вечером, когда я только начинала приобщаться к великому газетному таинству и сидела в угловой комнатке на «голубятне», отправляя свои пресс-контроли, за спиной у меня неожиданно вырос один из молодых редакционных честолюбцев, намеренных изменить мир посредством газетного слова. На сей раз его желания носили более точный характер — он собирался прямо тут, не отходя от письменного стола, покорить сердце юной неофитки, всерьез погруженной в бумажную возню прилежной ученицы школы юнкоров.

Эти бесцеремонные приставания честолюбивого ободуя показались мне оскорбительными. Он явно путал грешное с праведным. Праведным была газета, а его намерения — грешны, подчеркнуто физиологичны, а значит лишены правоты и тайны. Грешное вступало с праведным в глубокое внутреннее противоречие.

К тому времени нравственный императив касательно ангельской миссии журналиста уже перерос в своего рода охранительную броню. Ну, а внутри профессиональной корпорации, спрашивала я себя, какими могут и должны быть отношения между ангелами? Конечно, искренними и благосклонными, конечно, исполненными интереса и внутренней благожелательности и, конечно же, — лишенными унижающей плотской зависимости. А все вместе — разве не отличный фундамент для построения прочного здания отношений? Ничего постороннего и случайного! Только свет Истины и чистота Идеи.

Замечу, сравнение с ангелами явно не пришлось по вкусу бесцеремонному приставале. Больше того, оно даже оскорбило его. Отныне он старался демонстративно не замечать меня. Это развязывало руки. Отныне я могла безопасно проводить время на «голубятне», отправляя свои пресс-контроли и тщательно следя за ответами на газетную критику со стороны начальствующих особ.

И, что самое интересное, мой двадцатилетний инстинкт безошибочно подсказал мне нужную линию поведения в будущем. Никаких романов на работе! Незачем путать грешное с праведным.

Первый опыт поражения

...Я чувствовала себя загнанной в угол волчицей. Ощетинилась, готовая к прыжку. Я ненавидела эту кругленькую равнодушную даму, бессовестно чёркавшую мой с такими муками написанный текст.

Я ненавидела стол, за которым она сидела, эти маленькие пухлые пальчики, которые жирным фломастером перечеркивали результат моих усилий.

Я не ручалась за себя и, боясь какой-нибудь нелепой выходки со своей стороны, убежала в парк и бросилась на скамейку, готовая взвыть от злости.

Только наедине с собой я постепенно успокаивалась. Через полчаса злость сменилась тоской и сожалением. Теперь я могла видеть себя со стороны — растерянную, беспомощную, трепещущую от негодования. Когда я готовила этот текст, мне хотелось быть естественной, полнее передать ощущения от встречи, сохранить настроение, детали. Все было безжалостно вычеркнуто маленькой пухленькой ручкой. Это было несправедливо. Но теперь я знала: писать нужно так, чтобы нельзя было вычеркнуть ничего. Или почти ничего.

Слова не помогают, а только предают

Стремглав проскочив «азы» газетной журналистики, я прямиком устремила к тому, что мне казалось по-настоящему интересным. Я еще не знала, как определить этот жанр, но здесь должна была присутствовать некая психологическая основа: смена настроений, внутренний конфликт, в крайнем случае — особый нерв, ради чего и стоило затевать всю эту писанину.

Мучительнее всего было начало, первые фразы текста. Фраза была не той, не о том, и я снова и снова начинала с чистого листа. Постепенно таких листов набиралось с десяток, а то и больше, и это вызывало внутреннюю панику: «Нет, ничего не получится!». Начинаешь кружить по комнате, хватаешься за лежавшие на столе яблоко или грушу, стоишь, вперившись невидящим взором в пространство за окном. Потом, вздохнув, возвращаешься к «орудию пыток» — к письменному столу.

Никогда не могла понять: как можно писать текст, за который тебе потом не будет стыдно, под стрекот машинок и телефонный перезвон, среди шума и гама посторонних разговоров, в одном общем открытом пространстве.

Журналистика вообще развращает тем, что позволяет чаще всего довольствоваться первым попавшимся под руку словом. Но создание хотя бы внешне пристойного текста требует от журналиста особого усилия. Для этого, как минимум, нужны уединение и тишина.

Пусть на короткое время остаться один на один с собой и текстом. Только наедине с собой и текстом все становится на места и появляется спасительный, избавляющий свет впереди.

И вот уже летишь во весь опор к последней странице, чтобы во-друзить в самом ее конце этот символ победы — собственную подпись. Но где же радость победы? Где ты, победительное торжество? Тебя-то как раз и нет! Только внутренняя опустошенность и легкий стыд. Может быть, и вправду есть что-то неестественное, нездоровое в том, чтобы упрямо пытаться передать на бумаге ощущение или мысль в их многоликой, ускользающей полноте. Уже сама эта попытка как бы дробит настоящую боль, возмущение или радость, а часто и выхолащивает их суть.

Консервируя мысль или чувство на бумаге, разве мы тем самым не мумифицируем живую плоть, точнее — саму жизнь? Нет, слова не помогали, а только лишь предавали, не приближали к цели, но удаляли от нее. Сколько раз потом мне приходилось испытывать эту муку немоты, когда спасительным казалось только молчание. В такие минуты я говорила себе: «Не пиши, не касайся пером чистого листа. Ты молода и всесильна, пока не начнешь плести вязкую паутину случайных слов».

Начало романа

Почему из всех предлагаемых жизнью вариантов мы выбираем именно этот? Мы выбираем то, что нам близко. Это — как твой аромат духов, любимая мелодия, божественный вкус напитка. Мы выбираем обещание Счастья. Наслаждение — наш обманчивый Бог. Мы гонимся за ним, но, достигнув, обнаруживаем, что держим в ладонях предательскую пустоту.

Наверное, любой роман, даже роман с профессией, если он становится пожизненным, превращается в испытание. Человеческая жизнь слишком длинна для одного романа. Бывали периоды, когда я мечтала избавиться от ярма своей профессии. Хотя бы один год просто жить. Быть, к примеру, хозяйкой какого-нибудь модного салона, придумывать замысловатые шляпки и подолгу стоять перед зеркалом, всматриваясь в свое лицо. Или просто мчаться в машине без всякой цели — в неизвестность и прохладу ночи. Нигде подолгу не задерживаться, появляться и исчезать загадочной тенью, никого не пуская к себе ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Но эта

проклятая жизнь не оставляла выбора. Нужно было изо дня в день, из года в год тащить свое ярмо.

И все-таки журналистика — удивительная профессия. Казалось бы, зависишь от множества вещей — как внешнего, так и внутреннего свойства. Но уже завтра твой текст, как одномоментный результат твоих усилий, увидит свет и станет жить своей отдельной жизнью. Он попадет в неизвестные тебе руки. Чьи-то глаза будут всматриваться в него, принимая или отвергая, чьи-то сердца будут биться с ним в унисон или напротив — останутся холодными и равнодушными.

Помню свою первую, опубликованную на целую полосу статью. Старик стоит у газетной витрины, вчитываясь и шевеля губами. Я подхожу ближе: мне интересно наблюдать, как он читает мою статью. Старик сердито оборачивается и смотрит на меня с заметным раздражением. Я мешаю ему читать мою статью.

— Вы знаете, а мама плакала, — делится своими впечатлениями случайно встретившаяся знакомая. — Очень трогательная, очень грустная история. Интересно, чем же все это окончится?

Текст — своеобразный рентгеновский снимок пишущего. Он выдает человека с головой — его склад ума, нравственную сущность, степень его открытости, меру искренности с собой и читателями. Конечно, эта мера диктуется характером статьи, ее темой, задачей и даже, в некоторой мере, сверхзадачей. Открытости от журналиста требуется ровно столько, сколько необходимо, остальное — излишество, выходящее за рамки здравого смысла.

По утрам я чувствовала себя самолетом

— Вначале ты будешь работать на репутацию, а потом уже репутация будет работать на тебя, — всякий раз настаивали начальствующие доброты, «искренне желавшие мне добра».

Я слушала эти советы с каменным лицом. У нас были разные представления о репутации. В их понимании это было нечто безликое, зашнурованное, покорно-послушное, готовое унижаться или унижать. Притворяться, лгать, строить умные рожицы, улыбаться, когда совсем не смешно и даже противно. Писать и говорить то, что положено. Не писать того, что не положено. Одним словом, не выпадать из намеченного кем-то образа.

Все эти дружелюбные пожелания с подтекстом силы и непрямой угрозы были оскорбительным посягательством на мою внутреннюю

сущность. Этого нельзя было допускать ни в коем случае. Мое сопротивление было скорее инстинктивным, чем осознанным. Я кожей чувствовала опасность, исходившую от этой внешней оскопляющей силы. Так человек, идущий в темноте по безлюдной дороге, слышит чьи-то шаги за спиной, зная, что это могут быть шаги насильника или убийцы. Инстинкт подсказывает ему бежать или любым способом обхитрить врага. И он это делает — любым способом.

— Почему я могу приходиться на работу вóвремя, а ты — нет? — бывало, стучал кулаком по столу очередной начальник, сверля меня взглядом и еще не осознавая всей безнадежности затеянного им предприятия.

Появление по утрам было моим слабым местом. По утрам я чувствовала себя самолетом, который необходимо собирать по частям. Для разгона и взлета необходимо было особое пространство, лишённое спешки и раздражающей суеты. Без этого самолет не взлетал и весь день уходил насмарку. Меня жутко раздражала бесцельная утренняя сижка в конторе. Это было лучшее творческое время, когда все складывалось и находились единственно нужные слова для будущей статьи.

Борьба с внешней организованной силой часто принимала нешуточный характер. Но, в конце концов, ей приходилось отступать. В газету я чаще всего приносила уже готовые тексты, но точно в срок. Тут уж срабатывал механизм моих внутренних часов. К тому же это был вопрос чести и хорошего тона.

Борьба за личное пространство всегда проходила с переменным успехом, а победа оказывалась иллюзорной. За все приходилось платить — нервами, карьерой, ощущением пустоты и бесцельности жизни... Пепел на кончике сигареты вдруг приобретал занятную, но зловещую форму — два серых дьявольских рожка над огнедышащей лавой.

Однако бывали счастливые дни, когда можно идти в этот железно-лязгающий, окутанный окисью метана мир и побеждать. Преодолевать расстояния, попадать в капканы общения и благополучно из них выбираться, сохраняя золотисто-розовый свет внутри.

Паутинка памяти

Мы дышали одним воздухом, смеялись над одними и теми же анекдотами, пили кофе в одном кафе и шли вниз по Сумской — навстречу куполам Успенского Собора.

Мы делали одну газету, оставляя на ее страницах свое незримое присутствие, ритм своего дыхания, частицу своего воображения. И пусть эти следы давно смыло прибоем, а слова превратились в прах. Осталось главное — связующая нить памяти. Осенней паутинкой она блестит на солнце, трепещет под порывами ветра.

Когда спустя годы ко мне в руки попала книга Олега Шабельского «Все впечатленья бытия» с его молодой фотографией на обложке, паутинка затрепетала. Как хорошо, сказала я себе, что он поместил именно это фото — таким я запомнила его на «голубятне»: экономная лепка молодого лица и темная трубка, зажатая в зубах. Дамам-посетительницам он казался загадочным и погруженным в себя. Теперь я понимала: то была загадочность внутренней незащищенности. В своей книге Олег мало писал о нашей общей газете, о журналистике вообще.

Он передавал свои ощущения минуты, дня, времени года, и это было прекрасно, по-настоящему хорошо и талантливо. Я долго не могла расстаться с этой книгой. Казалось, я держу руку друга, и мне не хотелось ее отпускать. Нет, говорила я себе, мы не меняемся с годами. Устаем, замыкаемся в себе. Но мы не меняемся.

Прспект Бабенко, бывшая Сумская

«Прспект Бабенко, бывшая Сумская.
Рассвет знобит, как виноградный спирт,
...Мой город спит
Да постовой на ветер зубы скалит...».

Авторство шутивного экспромта сохранят анналы истории.

Ванечка Бабенко был в ту пору одним из старейших сотрудников газеты. Подумать только, ему было уже за тридцать! По нашим тогдашним меркам — почтенный возраст. Помню, как Иван Сергеевич предлагал мне, начинающей, написать о первокласснике, вперые идущем в школу. Я и написала, изобразив вместо мальчишки огромный школьный портфель, который тяжело волочился следом за бедолагой.

Ваня Бабенко был человеком без возраста. И через десять, пятнадцать лет он оставался прежним, почти не меняясь внешне. Он был немного похож на актера Вицина и смеялся он как-то по-особому — открывал рот, но хохотал беззвучно. Ему нравились мои

завтраки, которые я иногда приносила с собой из дома. Открывая дверь или проходя мимо моего стола, он спрашивал как бы мимоходом: «А есть ли у нас сегодня что-нибудь ветчинно-рубленое?».

Он в душе оставался шалунишкой и проказником. Мог подойти к моему столу, где я оставила неоконченный текст и дописать целую фразу. Получалось смешно и даже в тон.

Когда я жаловалась ему на начальство, он улыбался и отмахивался:

— Ах, бросьте! С вас как с гуся вода.

Позже Ванечка сидел в кабинете, где был газетный музей, который он же и создал. Он сам был живым музеем и знал массу занятных историй из прошлых жизней газеты. Иван Сергеевич — как Фирс из «Вишневого сада», оставался бесценным раритетом в уже заколоченном доме, когда, изменив свое название и прежний статус, газета вместе со своей многолетней историей потерпела последний и окончательный финансовый крах. Прежние хозяева газеты, понятное дело, забыли о нем, но он еще продолжал некоторое время сидеть в своем музее на опустевшем и безлюдном этаже.

Я помню вас, дорогой, и нежно люблю.

Светлана Светлая

Я никогда до и никогда после не встречала такую воплощенную Женственность. Не красавица, но бесконечно мила, индивидуальна и обходительна. К ней хотелось броситься под крыло. Она была заместителем редактора газеты и воплощала идеальный тип руководительницы, распоряжаясь миром мужских честолюбий с заметной долей легкой иронии и мягкой настойчивостью.

Светлана Петровна Довгалева была удивительной. Женщины подражали ее манере говорить, мужчины втайне восхищались ею. Им всегда хотелось ее защитить. В ней не было ни грана той стервозности, которая присуща многим руководящим дамам. В ней всегда была некая отстраненность, внутренний аристократизм, позволявший сохранять лицо при любых обстоятельствах

Она произносила чуть небрежно, предлагая взять одно из первых моих интервью:

— Нужно пойти к этому типу и задать ему несколько вопросов.

Я пошла к «этому типу», и у меня все получилось. Не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы не встреча с этой Женщиной.

Много лет спустя я видела ее в лесу. Она стояла на поляне в окружении светящихся сосен. Где-то рядом носилась ее маленькая непослушная внучка, а яркая бабочка порхала и порхала над знакомым мягким профилем. Где вы сейчас, Светлана Светлая? В какой из небесных сфер, в какой ипостаси?

...Образы прошлого — как облака на небе. Как прихотливы и странно причудливы эти сценки и образы, живущие одно мгновение, чтобы тут же раствориться и перевоплотиться в новое, а потом снова раствориться и восстать во всем своем блеске и победоносном могуществе.

Добрый, смеющийся взгляд

...Как схожи наши пути и судьбы! Нашим общим Началом был Харьковский государственный университет. Позднее мы встретились в стенах старинного здания на Сумской. Я хорошо запомнила, каким был Валерий Пузиков тогда: умное энергичное молодое лицо, ежик густых каштановых волос и добрый, смеющийся взгляд.

Этот человек прекрасно умел слушать — драгоценное качество для журналиста. Я никогда не замечала на его лице раздражения или нетерпеливой скуки. Он не умел отказывать никому, кто обращался к нему за советом или помощью. Окружающие чувствовали это и, конечно, этим злоупотребляли. Бывает в человеке то, что заставляет к нему тянуться. Почва, на которую можно опереться.

Помню, как однажды мы с Валерием открывали вступительное занятие школы молодого журналиста в своей газете. Он, как всегда, был элегантен, в строгом голубовато-сером костюме. Этот цвет очень ему шел.

Он говорил собравшимся о профессии журналиста, о ее трудностях, радостях, о ее драматизме. А на него внимательно взирали десятки юных блестящих глаз. Позднее один из тех наших бывших учеников скажет мне:

— Я смотрел на этого человека и понимал, каким должен быть настоящий журналист. Умным, сдержанным, подчеркнуто-элегантным.

Наступило время в нашей общей судьбе, когда Валерий Пузиков был отличным «главным»: по-умному требовательным, без малейшего оттенка начальственного деспотизма и чиновничьей спеси. Органически не выносил склок, интриг и недомолвок.

Но главное — он умел видеть в журналисте его личностное, творческое начало и ценить его. Он, как всегда, оставался той почвой, на которую можно опереться.

...В тот день все казалось нереальным: зал заседаний со старым угасшим камином в Союзе писателей и много-много зимних цветов в ногах у того, чей молодой портрет смотрел на меня с каминной полки.

Этот добрый, смеющийся взгляд... Таким я запомню его навсегда.

Господи, ну почему такая Беда? Ему бы побережься после гриппа, полежать пару дней... Но музыка — тихая, прекрасная и трагическая, февральский свет, лившийся в окна, безжалостно подтверждали: да, ушел... Ушел, чтобы вернуться — светозарной болью.

А рядом стояла его жена, Раечка Бышкова, враз изменившаяся, страшно потерянная, у ног которой разверзлась бездна новой реальности. Жизни, но уже без Валерия.

Прав Поэт: время — лишь облачение Вечности. Ее защитные одежды, чтобы охранить нас от себя самих и того мрака, что стережет с уходом самого дорогого существа.

Время кружит нас в своем нескончаемом хороводе, чтобы под конец обнажиться в образе Вечности.

— Как перейти жизнь? — задавались вопросом древние мудрецы. И сами же находили ответ:

— Как стреле — бездну. Красиво, бережно и стремительно.

Наша Сибириада

— А помнишь, как мы целый месяц осваивали Сибирь и даже прихватили с собой косичку лука и чеснок на случай цинги? — улыбается Инна.

— Про лук и чеснок не помню, но точно помню, что было невыносимо жарко. И вообще эта затея Коли Смолякова прихватить с собою в Сибирь «цвет харьковской журналистики» для создания газеты студенческих строительных отрядов — знаешь, что мне напоминала?

— И что же?

— Это было примерно, как трубить в пионерский горн во взрослых вечерних костюмах. К тому времени «цвет харьковской журналистики» давно вырос из коротких штанишек.

И все-таки была Сибирь... Хотя совсем не такой, какой я ее себе представляла. Тюменская гостиница «Заря», где остановилась на

длительный постой наша «группа захвата», была старой и неухоженной, а публика, заселявшая ее — безликой и разношерстной. В номерах с продавленной мебелью и следами от сигаретных ожогов на журнальных столиках, конечно, и намек не было на присутствие кондиционеров.

Наши страдающие от жары «большие писатели» Олег Шабельский и Толик Макагонов уходили в свои номера и там вели неведомую нам светскую жизнь. В состоянии утренней абстиненции Анатолий частенько намекал иногороднему Петру на целесообразность приобретения пива. И если тот ссылаясь на временный дефолт, писатель приходил в неудовольствие и посылал Петра к черту.

Зато фотокор Юрочка Пивень был, как всегда, бодр, жизнерадостен и деятелен.

Единственным спасением от унылой сибирской жары служил самолетик, на котором мы отправлялись в свои краткосрочные командировки — в Тобольск, Нижневартовск, Нефтеюганск.

...Самолетик нещадно качало и бросало в стороны. И когда он стремительно опускался вниз, взору открывалась пугающе-прекрасная первозданность сибирской тайги — изумрудная зелень и блестящая водная гладь.

Помню Нефтеюганск — весь в факелах горящего газа. На мне — толстый свитер, но дыхание Заполярья заставляет поеживаться. Огромные добродушные северные псы сопровождают меня в небольшое кафе, где я попадаю под настойчивый прицел взглядов одного из местных старателей. Он большой и решительный — как сибирский медведь, и я вынуждена ретироваться из кафе через черный ход.

Вернувшись в Тюмень, я задумала сочинить некую шутивную пьеску о нашем журналистском житье-бытье. Себя я, в память о настойчивом ухажере, почему-то решила окрестить нефтеюганским Воротилой. Примкнувшей к нашей компании начинающей Любочке Чекаловой придумала псевдоним «Бензопила «Дружба». Ну а Инночке дала кодовое сценическое имя — «Девушка, мечтающая о Принце». В пьесе было немало уморительных коллизий. Мои героини и слушатели покатывались со смеху, когда я читала им тексты, многозначительно произнося: «Конец первого акта, конец второго акта».

— Ты всё это должна записать! — настаивали они.

Но я гордо возражала, что все и так запомню, вплоть до последнего слова и акта.

Я потом все забыла. В памяти сохранилась разве что пара смешных прозвищ. Инна потом напомнила:

— Там была такая фраза: «Когда ложишься спать с курами, то встаешь с петухами». Намек на «петухов» касался нашего фотокора Юрочки Пивня.

С «Девушкой, мечтающей о Принце», мы жили в одном номере. Как-то мы оказались вдвоем в общей душевой, и я, еще не знавшая Булгакова, восторженно ахнула, глядя на нее:

— Атласная! И вся светишься!

Мое восхищение, неосторожно просочившись за пределы душевой, вызвало смутное брожение в наших мужских кругах. Отныне обитатели гостиницы «Заря» втайне мечтали увидеть «атласную Инночку» где-нибудь на пляже и всячески провоцировали ее на эту затею. Позднее один из моих коллег, очень похожий на молодого бульдога, даже забраковал статью автора, заподозренного в ухаживаниях за Инночкой, которую в узких кругах ласково называли Кисой, обыгрывая фамилию Ланкис — кис-кис.

Наша сумбурная и знойная Сибириада подходила к концу. Путь домой лежал через Москву. Инне хотелось подольше задержаться в столице — походить по театрам, подышать атмосферой «большой журналистики». Но я рвалась в Харьков, где оставила на произвол судьбы своего дорогого мотылька, своего мальчика-мужа, который слал в Сибирь отчаянные письма.

Не читайте русскую классику!

Французскую, английскую тоже, по возможности, избегайте. Но русскую — не читайте в особенности. Потому что это — генно-модифицированный продукт, выражаясь современным «штилем». Сызмальства вскормленная молоком русской классики, говорю со знанием предмета. Станным, нужно признать, оказалось это молоко для многих и многих поколений. Каким-то непостижимым образом вторгаясь в состав наших клеток, оно трансформировало наш духовно-душевный геном.

Русская классика никогда не учила жить в этом мире. Зато она учила достойно умирать. Она не учила любить и жалеть себя. Только — других, часто незримых и совсем дальних. Она никогда не учила искусству быть счастливым, зато прекрасно владела другим, которое с успехом передавала нам — искусству страдать, и в этом находить особую усладу и утешение. Культивируя страдание и душевный излом, литература возводила несчастную лю-

бовь на недосыгаемый пьедестал, низводя счастливую до уровня банальности.

Невозможно строить личное счастье, будучи воспитанной на русской классике. Впрочем, не только русской.

Создавая свою «Джен Эйр», эту неизменную библию для молодых девушек, Шарлотта Бронте посвятила тяжелому детству героини и ее отношениям с мистером Рочестером целый роман. Зато ее счастливой семейной жизни, по существу, — одну только фразу: «Мы живем друг другом».

Семейная жизнь в представлении подавляющего большинства создателей большой литературы — это своего рода тупик. Конец истории. А дальше — дилижанс повествования не движется, телега не тащится, поезд не идет. Русская классика пошла еще дальше. Героини романов непременно выходят замуж за нелюбимых, чтобы позднее заявлять любимым, что уже «другому отданы». Если же они все-таки решаются, вопреки всему, принадлежать любимому, то это делает их еще более несчастными. И потому остается единственный выход — покончить с собой.

Русские героини становятся женами каторжников и революционеров, преступников и юродивых, картежников и нравственных уродов, предпочтя голод и лишения спокойному семейному благополучию. Они падают с высоких обрывов, умирают от чахотки, бегут из-под венца с богатым женихом, бросаются под поезд — лишь бы не быть счастливыми. Потому что счастье — это скучно. Счастье — это тупик.

Те страницы «Войны и мира», где располневшая, утратившая все свое былое очарование Наташа Ростова показывает мужу пятна на детских пеленках — одни из самых натужных и малоинтересных во всем романе. Такое чувство, будто автор писал их, принуждая себя к этому.

Литература программирует нас на все будущие испытания нашей личной судьбы. Не только русская, но и вся мировая, европейская.

В двадцать лет я зачитывалась «Очарованной душой» Ромена Роллана. Меня потрясла Аннет Ривьер с ее гордой, сильной и страстной натурой. Судьба долго испытывала ее на прочность.

— Ты хотела всего? — обращалась она к Аннет. — Так не получай же ты ничего!

Гордые женщины в нашем мире, как правило, действительно не получают ничего. Остаются ни с чем. Не считая, конечно, себя самих.

Программирование сбывается. Сильные женщины всю жизнь несут свой Крест. Крест мужского несовершенства и собственной

гордыни. Что ж, они готовы платить по счетам своей судьбы. Только вот примут ли к оплате их векселя?

С «Девушкой, мечтающей о Принце», мы вернулись домой. И жизнь потекла своим чередом, унося главные надежды и главные возможности. С годами она все больше напоминала классную даму, наметившую своей Указкой весь наш будущий Путь. То был длинный, узкий коридор, не оставлявший пространства для маневра. Особенно, если вы были воспитаны на классической литературе или в детстве мечтали о Принце.

Сказочный счастливый сюжет никак не вписывался в предложенную нам реальность. Реальность была слишком будничной и удручающе одномерной. А мужчины напоминали бабочек-однодневок с опаленными крыльями. Им нечем было поделиться, кроме своей душевной немощи, скрытой или откровенной истеричности и унылых претензий на собственную уникальную непогрешимость. Они совсем не годились для роли Принцов. Тем более — для роли отцов.

Уехать, чтобы вернуться

Нет, жизнь не текла, — она спрессовывалась в какие-то массивные гранитные блоки. Семидесятые. Восьмидесятые. Девяностые.

В самом начале нового тысячелетия мы с Инной шли вниз по Сумской. Она была в чем-то светлом и кружевном. Начало июня совпало с новоиспеченным украинским Днем журналиста. Неожиданно Инна заговорила об отъезде.

— У меня есть возможность уехать в Германию. Ты же знаешь, меня здесь уже ничего не держит.

Да, здесь ее уже ничего не держало. Кроме всей прошлой жизни и еще — дорогих могил. «Что было Родиной вчера, того сегодня нет». А для того, что оставалось, мы были уходящей натурой, отработанным материалом.

Она напряженно молчала. Я — тоже, охваченная холодом предстоящей разлуки. Ей не хотелось уезжать. Но что, кроме нашего убогого существования, могло ждать ее здесь? Достаточно и того, что здесь остаюсь я. Нацепив улыбчивую маску всеядной философичности и циничного здравого смысла, я заговорила о том, что если жизнь — это действительно большое приключение, то наш долг — воспользоваться им сполна.

— Если ты уедешь, приключение продолжится, — сказала я. — Если нет — уже ничего не будет. Страшно, но это так. И ты сама знаешь об этом.

Она уехала и теперь живет в чистеньком и уютном Ганновере, где уже в феврале — весь город в желтом цвету и есть все необходимое для жизни и самоуважения. Разве что нет самого Харькова. Но это — как сказать. Украинская диаспора создала здесь свой особый отдельный мирок. Не только родные вывески на фасадах магазинов и книжных лавок, но и родные, до боли, харьковские лица, знакомые еще по старой, доброй «Ленінській зміні».

— Иногда бывает такое чувство, — однажды пошутила Инна, — что идешь по Сумской, или что наша Сумская переселилась туда.

*

...Они уехали, чтобы вернуться. В стихах, воспоминаниях, снах. Прошлое изменить невозможно. Оно остается с нами и в нас — навсегда.

Однажды Инна привезла из Ганновера литературный альманах «Палитра», который издается там, в Германии, нашей отечественной диаспорой. Впервые просматривая его, я поразились обилию знакомых лиц и имен.

«Мир расколот. Навеки сломан,
Не собрать осколки теперь.
Я из прошлого, как из дома,
Прочь ушла. И закрыла дверь...».

Но дверь не запечатана наглухо. Приходит час — и налетевший ветер срывает двери с петель. И тогда в оранжево-красных сполохах возникает Город — во всей неповторимости его звуков, движений и запахов. Восставший из пепла Город послевоенных барачников и еврейских подвалов. Серо-стальной, парадный. Усталый, раздраженный, пыльный. Новогодний, пахнущий апельсинами и хвоей. Первомайский — в огниве флагов, с нарядной толпой у подножия серо-стального Тараса, с публикой, спешащей в исторический пулемет, где чисто, тепло. Город, но уже без Чичибабина. «Нет папы, нет Чичибабина, а без этого и город — не город».

*

В первые годы эмиграции Инне не давала покоя мысль. Как же случилось, что родной стране, которой было отдано все, она оказалась ненужной? А вот страна, которой она не успела дать ничего, обошлась с ней совсем по-другому — внимательно, заботливо, со всеми подобающим пиететом.

Насчет того, что «не успела дать ничего», у меня было серьезное возражение. Эта страна в период своего губительного затмения забрала у нее то, что важнее всего остального. Она отняла у нее отца. И весь ее нынешний пиетет — всего лишь почтительный и виноватый жест за причиненное невосполнимое зло.

— Напиши о детстве, напиши об отце, — попросила я Инну.

И она это сделала. Вскоре вечерняя почта принесла послание:

Инна Ланкис, Ганновер, май 2012 года:

«А ПРОШЛОЕ КАЖЕТСЯ СНОМ...

Прошлое смотрит на меня со старых фотографий, напоминает нечаянно найденным письмом. Оно иногда кажется каким-то странным, удивительным сном».

В самом центре вселенной

...Узенький мостик раскачивался все сильнее и сильнее. Ну, не «кладки» (так почему-то местные называли это деревянное чудо), а настоящие качели. Эдакие «крылатые качели над тихой речушкой». Речушка имела довольно странное название — Лопань. Вообще-то в сухопутном Харькове их всего четыре — Харьков, Хоть, Лопань, Нетечь. «Харьков, хоть лопни — не течет» — совершенно справедливо подмечали острословы.

Наконец, «качели» «выбросили» нас на родной берег, который тоже называется смешно и на первый взгляд странно — Москалевка.

— Здесь когда-то были казармы русских солдат — москалів, — объясняет мне мой старший брат Юра.

Я это уже слышала. Но мне куда ближе другая версия — о двух сорванцах Моське и Левке, которые хулиганили здесь много лет назад. А теперь тут живем мы — отчаянный голубятник дядя Жора с озорными глазами и доброй мальчишеской улыбкой, интеллигентный приветливый мальчик Вадик Левин, заметки которого уже пе-

чатаяются в молодежной газете «Ленінська зміна», и я, еще только мечтающая о журналистике. Мы с моей подругой — красавицей и отличницей Нелли Нахимовой, стараемся запомнить стихи Вадика. Братья Ландманы, соседи Нелли, живут на Сиротинской улице. С их сестричкой Олей я еще не знакома. Наша встреча случится много позже — на другой улице, в другом городе, в другой стране.

Мы идем по центральной улице Москалевки — имени Октябрьской революции, мимо библиотеки имени Некрасова к «центру вселенной» — кинотеатру «Жовтень». Здесь любят прогуливаться мои одноклассники, ученицы 63-й средней школы: острая на язычок неугомонная Галка Троянова, смуглянка Света Сологуб, тоненькая, как пруттик, Люда Наумова... Мы все такие разные и такие похожие.

Возле углового здания Юрка останавливается:

— А здесь ты родилась. Я помню, как мама тебя принесла домой. Я ей тогда сказал, что она, наверное, первая в очереди за детьми стояла и самую красивую девочку выбрала. У тебя глазищи было — во! А рот — крошечный. Когда ты орала, я закрывал его копеечной монетой.

Он с сожалением смотрит на меня сегодняшнюю — худую, голенастую, нескладную и качает головой:

— Что же это время делает с человеком.

Снежное имя

Мама пришла сюда серым дождливым ноябрьским утром, а ушла через неделю ясным морозным днем, бережно прижимая к себе теплый комочек, завернутый в одеяло цвета свежесвыпавшего снега.

Ну, наконец-то, осень уступила место зиме. Правда, несколько раньше, чем следует по календарю. И деревья, до срока надевшие белые свадебные наряды, стали по-своему красивы. Они сверкали, они искрились, радуясь новой жизни. Думаю, имя мне было выбрано именно в такой морозный день. И сказочно-красивый иней сыграл здесь не последнюю роль.

О, если бы я знала об этом раньше — в тот год, когда мы вернулись в Харьков из эвакуации Разве я посмела бы отказаться от такого «снежного» имени?!

Меня зовут Нана

Огромный двор жил своей будничной жизнью. Женщины варили в медных тазах варенье, развешивали на веревках выстиранное белье; из окна в дальнем углу двора доносились звуки фортепиано. Когда мы с мамой вышли во двор, ко мне ту же подскочила огромная рыжая собака, обнюхала и лизнула руку. Я в ужасе спряталась за мамину спину.

— Сайга, фу! — крикнула белобрысая курносая девчонка. — Не бойся, она не кусается.

— Как тебя зовут? — не унималась девчонка. — Меня — Инна.

— Ой, как хорошо, — улыбнулась мама, — ее тоже зовут Инна.

Я обиженно посмотрела на маму. Чему она радуется? И почему я — «тоже» Инна? К ее изумлению я сказала: «Меня зовут Нана»...

(С тех пор и до своего последнего часа мама называла меня Наной).

— На-на, — протянула моя новая знакомая, — ты что, грузинка?

— Ха-ха, — ухмыльнулся рыжий мальчишка, — ты что, не видишь, да они же эвреи.

Инка чуть отпрянула, но лишь на мгновенье, а потом сказала:

— Но она же не виновата, что родилась эврейкой.

В первый же день новой харьковской жизни маме пришлось долго мне объяснять, почему грузинкой быть лучше, чем еврейкой.

Инна защищала меня от нападок Рыжего и однажды предложила:

— Я тебя отведу в одно интересное место, только никому не говори.

И, пристально оглядев меня, спросила:

— У тебя есть другое платье? Что-нибудь получше этого?

Навстречу Чуду

У меня было всего два платья, совершенно одинаковых ситцевых платьев, — сереньких, в темный цветочек.

— Одно будет выходным, другое — на каждый день, — заявила я.

— Как ты будешь их различать? — спросила мама.

И я тут же на «повседневном» платье поставила жирную чернильную точку.

— Так это же до первой стирки! — заметила мама. Но она ошиблась. Буквально на следующий день я упала... А когда поднялась, на

платье было жалко смотреть. Я так горько плакала, что мама моей подружки целый день восстанавливала его по кусочкам.

На следующий день мы пошли в магазин, где висело платье моей мечты — красненькое, в белый горошек. Но вышли оттуда ни с чем — видимо, оно было не по нашим деньгам. И, обычно скупая на ласку, мама нежно погладила меня по голове. Через несколько дней она протянула мне сверток: «Держи подарок». Это было платье — не такое, как на витрине, но все равно прекрасное. Ткань показалась мне знакомой — где-то я ее видела.

— Это что, из твоего выходного наряда? — с ужасом спросила маму моя любимая тетя Маня.

— А зачем мне этот костюмчик, куда я хожу?

Маме было всего тридцать пять лет.

В то утро я надела свое новое платье, и мы с Инкой пошли на встречу Чуду.

— Тебе понравится, там так красиво поют, — говорила она мне по дороге.

У цели нашего похода она долго разговаривала с какой-то женщиной, а, вернувшись, сказала огорченно:

— Сегодня мы зайдем, но больше тебе сюда ходить не стоит, потому что у эвреев есть своя церковь. Ты не огорчайся.

Да я и не переживала. Действительно, в церкви красиво пели, но никакого Чуда я не увидела. И все-таки в моем детстве Оно было. И связано это Чудо — с православной церковью, куда мне не следовало приходить.

Как-то жарким безоблачным днем мы собрались идти на речку.

— Какая речка, сейчас церковь взрывать будут! — крикнул кто-то из ребят. И мы побежали туда проходными дворами. Успели вовремя. Взрыв раздался неожиданно. В считанные мгновения церкви уже не было — только груды развалин. А безоблачное голубое небо вдруг скрыла огромная черная туча. Сверкнула молния, загредел гром, и дождь хлынул, как из ведра. Так возмущаться и плакать мог только Он.

Больше чудес в моей жизни не происходило. А так хотелось! Но я их всегда ждала. И даже знала, где это Чудо может случиться.

А вдруг — это папа?

Это было очень смешно — базар назывался «рыбным», а рыбы там никогда не было. Но я ходила туда совсем с другой целью. Там собирались бывшие фронтовики. Проходя мимо, я всматривалась в их лица, и сердце буквально подскакивало к горлу: а вдруг этот безногий человек и есть мой папа, но он боится прийти к нам, думает, что мы его не примем.

— Дочка, ты кого-то ищешь? — спросил меня черноволосый инвалид без обеих рук...

И я заплакала. А вдруг этот человек — мой папа? Но я так и не решилась спросить у него об этом. Узнав о моих походах на Рыбный базар, мама не на шутку встревожилась и показала мне «похоронку». Четкие безжалостные слова: «Ваш муж гвардии сержант Ланкис Лазарь Борисович погиб смертью храбрых. Похоронен в селе Разумное Белгородской области».

Вскоре мы с мамой поехали в Разумное, пришли к братской могиле. Но на памятнике фамилии отца не было. И я продолжала верить, что папа жив и что он прячется от нас, стесняясь своего увечья. Но я его все равно найду. На Рыбном базаре.

Прошли годы, исполнилась моя давнишняя мечта: я стала журналистом и работала в дорожной газете «Южная магистраль». На редакционной летучке редактор сообщил, что в селе Разумное состоялось перезахоронение праха воинов, погибших в битве на Курской дуге. Там будет открыт новый памятник.

— Нужен репортаж, кто хочет поехать? — поинтересовался он.

Я буквально выкрикнула:

— Я хочу! Я поеду.

...День выдался снежный, я сметаю варежкой снег, читаю: Лабунский, Лагунов, Ларионов, Лисицкий... Стоп! А где же наша фамилия? Может, не все перечислены по алфавиту? Перечитываю еще раз. Слезы застилают глаза.

— Не плачь, дочка, — пожилой военный смотрит на меня, — это Курская дуга. Тут полегли сотни тысяч, а на доске поместилась лишь сотня фамилий.

Я силюсь это понять, но все равно плачу — нет фамилии моего отца. Здесь полегли сотни тысяч солдат, которые так и остались безымянными — для их имен не хватило места. Холодно и метет снег, и я не разыскала отца...

В тот зимний вечер я долго не могла заснуть и забылась только под утро. В этом коротком забытии я снова шла на Рыбный базар. А со мною — Инка Бакланова, ее братья Шурик и Жорик, Витька, Толик. Мы идем по базару, вглядываемся в лица инвалидов. У меня замирает сердце от ужаса, любви и боли: а вдруг здесь мой папа?

Почему?

Где вы теперь, друзья моего детства? Судьба разбросала нас, когда не стало нашего двора. Новый трамвайный маршрут разделил двор на «правых» и «левых». «Левые» остались — Витька Рыжий, собака Сайга со своим хозяином — старым ловеласом Шуриком, мой одноклассник Юра Ткаченко и его мама — актриса Тамара Силакова, безуспешно пытавшаяся научить меня играть на пианино.

Нас же, «правосторонних», расселили в разные концы города, и кто-то пошутил: «Внутренняя эмиграция». Перед расставанием мы клялись в вечной дружбе, но с каждым годом виделись все реже.

Но в этот раз собрались все. Повод был — я уезжала. Навсегда. И это уже была настоящая эмиграция.

— Я бы тоже хотела уехать, — лукаво сказала Инка, — но я же не виновата, что не родилась еврейкой.

Мы рассмеялись, вспомнив нашу первую встречу.

За долгие годы своей журналистской жизни я привыкла ездить в поездах. Но в Германию меня увозил автобус.

Почему автобус?

Почему в Германию?

Почему — меня?

Кто ответит мне на этот вопрос? Я до сих пор не знаю ответа. Так сложилось, так вышло. Сегодня я всматриваюсь в свое прошлое, и оно кажется сном — странным, запутанным, ярким. Но это была моя жизнь. Единственное, до боли неповторимое, ни на что не похожее приключение.

Приключение продолжается

Приключение под названием Жизнь, действительно продолжилось. Инна иногда высылает фотографии. Ницца вся в экзотических цветах и кокетливых дамских зонтиках. Париж в прозрачной

дымке. Лондон в тумане. Инна на фоне величественных статуй. «Здесь можно жить и не бояться умереть».

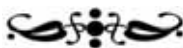
В день своего рождения я, проснувшись, не тороплюсь вставать и надолго отхожу от телефона. Я знаю, что первой будет звонить она. Она и звонит первой. Мы с ней обе — «скорпионы», и потому наши дни рождения полны сожалений и дурных предчувствий. Самый конец октября — уже глубокая осень. Пора увядания и умирания. Инна продвинулась в своем рождении еще дальше — в самую глубь ноября. Но она против того, чтобы звонила я.

— Это очень дорого. К тому же я собираюсь на свой день рождения съездить на Канары или Мальту. Могу себе позволить такой подарок?

— Ты когда приедешь? — уныло интересуюсь я. — У нас тут такая мутота и безнадега.

— Я приеду, — бодро обещает она. — Только не в жару. В прошлый раз я задыхалась в Харькове от жары.

Я кладу трубку и смотрю невидящим взором в окно на уходящую осеннюю натуру. Инна Ланкис. Такая потерянная и печальная в канун своего отъезда. Черноволосая стремительная девочка из моего прошлого. Атласная, светящаяся изнутри Инночка Кис-Кис. Девушка, мечтающая о Принце.



*Ум – это летаргия,
беспробудный сон.
Иногда мы спим
с открытыми глазами.*



**Записки на
ПОЛЯХ**

Через тысячи нас разделяющих миль (Из письма к Альфреду Тульчинскому)

«...Мы с вами представляли один узкий и тонкий круг, точнее слой молодой харьковской журналистики, вызванной к жизни обманчивым ветром перемен. В этом кругу многие из нас свято верили в то, что «все к лучшему в этом лучшем из миров». Нужны только наши личные усилия, наше мужество и честность по отношению к себе и другим. Все остальное приложится. Все остальное случится, непременно случится.

Прошли годы, смешались эпохи и времена. Мировые катаклизмы шли об руку с душевными катарсисами. Вместе с утраченными иллюзиями на изношенных словесных пуантах уходила молодость, уступая место тоске, опустошенности, желанию сгинуть, исчезнуть, бежать куда глаза глядят. Приходила ранняя зрелость об руку со слишком поздними прозрениями.

Способен ли разделить людей океан? Да, но только физически. Сквозь толстый слой напластований времени проступает знакомый Лик. Характерный поворот головы, взгляд в полоборота. Статья о Покровском соборе в харьковской молодежной газете со звучной подписью А. Тульчинский.

Нет, ничего не в состоянии изменить океан и аллеи 47 стран мира, которые Вам удалось исходить. Мы остались прежними: я — Вы, один из немногих в Америке свободных русских публицистов. Личность сохранила главное: способность перешагнуть через понимание всеислия Зла и стремление вступать с ним в поединок. Вот почему — через сотни и сотни «нас разделяющих» миль океана нам есть что сказать друг другу».

*

В отличие от собрата-литератора журналист — рабочий конь, постоянно чувствующий на себе жесткие постромки факта. Факт — его пища, крест и темница. И одновременно — его религия и совесть. Без факта нет журналистики.

Но факты сами по себе — еще хаос, глина. Необходим единственный ход, способный придать всему гармонию и порядок. Нужен сосуд, нужна амфора. Совершенная форма — Бог и сверхзадача, а также объяснение, оправдание и смысл. Бывало, перебираешь в руках эти собранные камушки фактов. Ну, не лезут они в эту форму, нарушают гармонию. А выбросить жаль.

*

Посвященный взгляд без труда способен судить, жива или мертва душа автора газетной статьи. Как ни стремись, ты не властен скрыть свою душу за дымной завесой слов. Она непременно проглянет — косым лучом сострадания и боли. Или мертвящим холодом равнодушия.

Внутренний цензор

Мысль не успела созреть, слово — сорваться, а он уже энергично сучит лапками и возмущенно трясет кулачком: «Ни в коем случае! Крамола!».

Но попробуй послать этого жестокого уродца к чертовой матери — и окажется, что законы, по которым он заставляет тебя жить — единственная форма существования, спасительный озонный слой.

Актриса

— Нет, я ни за что не скажу названия этого института. Вы просто ушам своим не поверите. Вы будете смеяться. Вы посмотрите на меня и будете смеяться.

Ее круглое, простодушное личико в обрамлении жиденьких белесых волос выглядит смущенным и вопрошающим: «Догадалась ли я?». Я начинаю догадываться. Я вспомнила наш утренний разговор у дверей кабинета зубного врача. Она очень волновалась, потому что боялась боли.

— Но я решила, что непременно вылечу эти два зуба. Вылечу два зуба и прокаю уши. Это мучительно больно, но я это сделаю. У мамы есть розовые серьги, но они ей не идут. Она шатенка. Будет невыносимо передергивать ниточку. Знаете, такую шелковую ниточку, чтобы ухо не заросло. Но я подумала, что ничего страшного. Вот и Мордюкова носит серьги, и Быстрицкая носит.

— Ты хочешь поступать в институт кинематографии?

Она засмущалась еще больше.

— Вы сейчас не смотрите на меня, — торопливо заговорила она. — Я сейчас просто страшилище. Мне нужно привести себя в порядок. Мне нужно подрасти и похудеть. Я уже записалась на прием к эндокринологу, он поможет. И потом мне нужно привести в порядок кожу. Как вы думаете, мне идет этот цвет волос?

Она с жадным интересом ждет моего ответа.

— И еще я займусь спортом. Мне на работе совсем некогда заниматься собой (она работает в редакции машинисткой). Утром просыпаюсь с опухшим лицом, а глаза — как щелочки. И руками я не занимаюсь — раньше я их отбеливала.

И она показывает свои толстые, неизящные пальчики с коротко остриженными ногтями.

Потом старательно, записывает адрес косметолога, затем так же старательно большими, детскими буквами выводит заявление об уходе. (Ответственный секретарь только что накричал на нее).

Через полчаса я зашла в машбюро. Она выглядела очень грустной и когда я спросила, что так, лицо у нее задрожало от приближающихся слез, и нос покраснел.

— Мне не это обидно, — говорила она всхлипывая, — что работа и все такое. Обидно, как он себя ведет, как будто он один человек, а другие — ничтожества. У нас в доме живет профессор. Это такой человек, что просто не замечаешь, когда с ним разговариваешь, такой простой и хороший. А этот — просто ничтожество.

Мы успокаиваем ее и говорим, что все это только начало, и что жизнь — ужасная штука. И так вдруг может ударить по голове...

Она молчит, думает о чем-то своем. Потом спрашивает:

— Какой сегодня день?

Узнав, что сегодня четверг, говорит бодро и почти успокоенно:

— Значит сегодня занятия в драмкружке. Обязательно пойду.

Нервный карьерист

Утром, на редакционной летучке, он был весь переполнен ревностной и непримиримой должностной злости. Глядя на его тонкое, нервное лицо, тонкий нос и чуть обиженные губы, вспомнила, каким он впервые пришел в редакцию — длинный, неуверенный, тербя какие-то бумажки на пороге кабинета. Помню его смущенную и чуть растерянную улыбку, когда он уже начал работать в газете, а к нему заглядывал его бывший однокурсник, поэт-декадент, отказавшийся от систематической работы в конторе и потому обречший себя на полуголодное существование. Мы называли его Констом. Он был спортивного телосложения и старался прийти в редакцию ближе к обеденному перерыву. Увидев лучезарную голодную улыбку на этом энергичном лице, я по традиции предлагала Консту сопровождать меня в кафе-автомат, где заказывала ему нечто среднее между завтраком и обедом,

и это нечто он поглощал с присущим ему здоровым нерассуждающим аппетитом.

Глядя на тонкое нервное лицо, сумевшее в предельно короткий срок перевоплотиться в непримиримо-начальственное, я почему-то представила то выражение, которое установится на нем, когда на пороге его нынешнего вишнево-коричневого редакторского кабинета появится фигура Конста с голодной лучезарной улыбкой.

Превращение

Вневременной габардиновый плащ мышиноного цвета, свободно висящий на сухощавой фигуре, широкополая черная шляпа. Настороженный цепкий взгляд и властный разрез рта. Он всегда чем-то напоминал мне чикагского гангстера двадцатых годов из старых американских фильмов.

Казалось, его нынешняя должность редактора одной из харьковских газет — всего лишь прикрытие, внешний антураж, за которым просвечивает его истинная сущность.

Казалось, наступит момент — и все встанет на свои места. Этот человек неторопливо вынет из внутреннего кармана габардинового плаща большой и неуклюжий черный кольт. Потом так же неторопливо сядет в такой же черный, невесть откуда взявшийся кадиллак, и тот умчит его навсегда прочь от Дома печати. А все будут стоять в остолбенении, с разинутыми от неожиданности ртами.

Противно и скучно

Он читал доклад, а в это время Тереза вместе со своим отвратительным, толстым мужем преодолевала десятую милю пути между соснами. Докладчик не мешал, но его голос вплетался в длинную, тягучую паутину повествования о несчастной женщине и, казалось, этому

не будет конца. Потом на трибуне появились выступающие. Они говорили резким, обиженным и монотонным голосом. Но среди хаоса цифр и слов почему-то запоминалось одно и то же: «В том числе и я, и мой заместитель не допустили нужной принципиальности».

Лица присутствующих были пустыми, ничего не выражающими лицами. И тоже, как бы влетаясь в паутину повествования, вызывали чувство тоски и безысходности.

...Неожиданно грянул барабан, и появились дети в белых шортиках и юбочках. Мускулы на их маленьких ногах подрагивали от возбуждения, когда они оглушительно кричали четверостишия. От барабанной дробы почему-то замирало сердце.

Потом дети исчезли. И в наступившей тишине вновь раздался голос человека на трибуне. Он говорил быстро, проглатывая слова.

Неожиданное ощущение просвета. Что-то мягкое стукнуло в сердце. Перерыв. В фойе сонные лица официанток оживились, и оркестр грянул песню о коварных девчонках, которых нужно носить на руках. Люди облепили столики посреди зала и стали сосредоточенно жевать сосиски, печенье, холодец и прочую снедь. А над всем этим мощно гремел оркестр.

Жалкая грешница и Он

И тогда эта жалкая грешница 37 лет сказала мужу, упрямо пытавшемуся вернуть ее в лоно семьи после пятнадцати лет брака, — устало, но твердо сказала, что нет, возврата к прошлому не существует. Есть только один путь — вперед и только вперед. Раздраженный муж начал зло выпытывать у нее, куда это — вперед, как это — вперед. Для него только одно было очевидным — собственное поражение. Он одно это видел и не хотел понимать душу той, что много лет прожила с ним и родила от него теперь уже подростковую дочь. Он не понимал, что для нее возврат к прошлому — это смерть и даже хуже смерти. Она была готова ко все-

му — старению, одиночеству, своему полному поражению на будущих любовных фронтах — только не возвращаться. Даже дочь, похожая на отца, как две капли воды, не могла заставить ее изменить свое решение.

Он что-то упрямо продолжал доказывать ей, сидящей напротив в кафе за утлым столиком. И вдруг, глядя на нее, внутренне отшатнулся: «Зачем я так держусь за это, зачем добиваюсь ее возврата? Ведь я знаю ее всю, какая она есть. Сейчас она в пальто, но мне легко представить ее без всего. Она не стала лучше, и все будет только хуже, тело обвиснет и потеряет форму. Какие у нее заметные морщины у глаз, как быстро она стареет».

Но это внезапно нахлынувшее ощущение не мешало ему продолжать раздраженно доказывать ей ее неправоту, неблагодарность, свое благородство и ее роковую ошибку.

Может быть, соглашаясь на эту встречу, женщина надеялась, что перед лицом их окончательного разрыва он станет другим. Поймет ее душу и предложит все начать с чистого листа. Но он оставался прежним — он хотел все оставить как было.

— Есть только один путь, — сказала я как можно мягче и убедительнее, — если ты хочешь вернуть ее, ты должен пожертвовать всем — своим эгоизмом, тщеславием, самолюбием, гордыней. Тебя не должно быть. Должна быть только она.

— Ну, я понял, — не понял он. — Я должен оставить ее в покое.

— Да нет же, нет, наоборот! — энергично запротестовала я. — Не нужно оставлять. Дай ей то, чего она ждет. Она устала, понимаешь, устала от вашего мужского эгоизма, стремления властвовать и к тому же выяснять отношения. Она устала от всего. Не трогай ее. Люби, но не досаждай своей любовью. Люби ее ради нее самой. Она поймет и оценит.

Он озадаченно молчал. Он ничего не понял.

Роскошь и нищета общения

Большинство из тех, кого я знаю, не только лишены дара общения, но даже не подозревают о том, что же это на самом деле. За приглашением к разговору — почти всегда откровенное или скрытое желание грубо использовать собеседника, превратить его в резервуар для сброса своих душевных отправлений и нечистот, стремление навязать собственное бредовое мнение или переложить на чужие плечи свои житейские или финансовые проблемы.

За ритуальным «позвольте с вами пообщаться» чаще всего стоит грубое — «позвольте вас поиметь». Вот почему общение чаще всего превращается в западню, капкан, из которого нужно вырываться силой.

Уже после тридцати я почувствовала первые грозные признаки идиосинкразии на людей. Был даже период, когда, возвращаясь домой, я боялась включать свет, зная, что все эти мотыльки, порхавшие где-то поблизости, сразу же полетят на свет, на глазах превращаясь в летучих мышей, способных намертво вцепиться в волосы. Душевный лимит на общение был исчерпан. Родник иссяк.

*

Появление посторонних существ разрушает твое согласие с миром и собой. В первые минуты встречи как бы зависаешь в пустоте, все тускнеет и утрачивает краски. И в тебе тоже все меняется — голос, движения, даже строй мыслей.

Только попрощавшись, начинаешь возвращаться к себе. С собой у тебя давно заключен союз, основанный на взаимной снисходительности. Себе многое прощаешь, потому что ты и существо внутри тебя, вы — одни против всех. Но существует в этой броне щель, сквозь которую может проникнуть враг. И это — жалость.

Признаки идиосинкразии

Глядя на ее некрасивое, даже уродливое, распухшее от слез лицо, я испытывала раздражение. Посетительница отвлекала меня от того, что мне хотелось и полагалось делать. А желания мои были непросты и как бы многослойны — те, что лежали на поверхности, и те, что прятались в глубине.

Именно сейчас мне так хотелось погрузиться в пустую и ленивую созерцательность и листать какой-нибудь легкий журнальчик с картинками.

Но — грозно маячила необходимость окончить статью в следующий номер. Где-то еще глубже — мысль о том, что надо бы начать обещанный, явно конъюнктурный очерк для одного журнала.

Но это были не желания, а скорее сторожевые псы, стерегущие дверь к настоящему. Вот если бы вырваться отсюда и оказаться где-нибудь на лесной поляне, укрытой от посторонних глаз. Или лучше — начать иную, настоящую жизнь. Стать спокойной, независимой, изящной. Чтобы желание писать или вообще разговаривать рождалось от полноты, а не от скудости, зависимости и страха.

Но это опухшее от слез лицо маячило перед глазами, этот просительный истеричный голос требовал немедленно ехать куда-то, входить в какую-то квартиру, где свалены вещи и отбиты ножки у диван-кроватьи, а потом — что-то кому-то доказывать, проявлять массу настойчивости.

Все это было наперед бессмысленно. И, теряя остатки терпения, я переходила на холодно-чиновничий тон, чувствуя, как боль в воспаленной десне, эту замшелую истеричность стародевичества. Наконец, я выпроводила ее, всучив официальную бумагу с неясными просьбами «содействовать, помочь». Уже стоя в лифте, она опять начала ныть, что уже никогда не будет голосовать за судей и читать газет тоже не будет. Мое раздражение росло. «Видела бы ты мое жильё», — подумала я со злостью.

Через минуту она снова вернулась и положила бумажку на стол.

— Не нужно все это, ничего не нужно, бессмысленно, — морща лицо в болезненной гримасе, сказала она и направилась к выходу. Я не задерживала ее.

Кажется, я начала всерьез уставать от людей. Это плохо.

*

Любовь — надежный способ бегства от лжи. Как и от правды тоже. Для женщины, мужчины. Для журналиста. В советское время это был, по сути, единственный заповедник, где еще можно было питаться живой кровью, пусть даже с изрядной примесью желчи. Но зато все относительно натурально — желание и отвращение, муки одиночества и настоящая потребность в нем, скандальные бракоразводные процессы с дележом машины, квартиры, ковров, ножей, вилок, наволочек, иногда — детей.

Даже в семейных преступлениях было нечто более натуральное, чем во всех этих муляжах и фантомах, которыми изобиловала жизнь.

Она защищалась как могла... **(из обвинительного заключения)**

«...Милованов работал трактористом в учхозе, пил, устраивал скандалы. Когда отец выгнал его с женой, Милованова, пытаясь сохранить семью и поверив мужу, согласилась переехать в село Карасевка Золочевского района.

Первого июля, будучи пьяным, Милованов пожелал сесть за руль «Жигулей», но жена отобрала у него ключи, и он за это ударил ее в живот. Когда Милованов хотел выехать со двора, она кирпичом разбила заднее стекло машины. Муж погнался за ней с резиновым шлангом, а затем в присутствии соседей начал избивать. Она потеряла сознание, он, облив ее водой, куда-то уехал. Вернулся около четырех часов и лег в одежде на постель.

На следующий день он проснулся, закрыл жену на замок. Затем вернулся, пошел в магазин и купил три бутылки вина. Выпил и стал ругать жену за автомобиль. Жена сказала, что сейчас пойдет в милицию. Он схватил, заломил ей руки. Она лежала на диване, он — рядом, угрожая убийством и ругаясь грязно. Затем затих, а жена попыталась уйти. Она была почти возле двери, но муж запустил в нее стулом, и она упала. Когда муж схватил другой стул, она подползла к нему, чтобы помешать ударить. Муж кричал, но запутался в одеяле. Тогда она отодвинула диван и ударила его по лицу. Затем, когда его голова оказалась на спинке дивана, марлей придавила мужа за шею — хотела, чтобы он не встал, так как муж мог убить ее за то, что она впервые оказала ему сопротивление. Жена давила недолго, он быстро затих. Она отпустила, стала делать искусственное дыхание, хотела его поднять, но вместе с ним упала на пол. Около восемнадцати часов она сообщила, что Виталий умер. Жена не хотела убивать мужа. Она защищалась как могла».

Гордые и негордые

Гордым, как правило, не достается ничего. Негордые удовлетворяют свои жизненные потребности без стеснения, жадно заявляя о своих правах. Они выхватывают у гордых из-под рук самые лучшие куски, а те лишь пожимают плечами, не позволяя себе даже оскорбиться, не говоря уже о том, чтобы драться.

Гордые следят, как негордые правят свой пир — едят, хохочут, любят, рожают детей, тонут в кухонном чаду, создают прочные житейские тылы. У гордых нет дома. Их дом — одинокая клетушка, продуваемая ветрами и обросшая паутиной; они горды и бедны. Как смешны, как нелепы они, пытаясь сохранить иллюзию внешнего благополучия и надевая зеленую измятую шляпу на длинные волосы. Как одиноки они со своими орденами, свидетельствами былых побед!

...Кто же побеждает в извечной схватке гордых и негордых? Побеждает смерть. Но, спускаясь в долину

туманов, идя навстречу своему Ничто, гордые чаще уподобляются богам. Судьба посылает им свой последний дар — бриллиантовый блеск ночных светлячков и тишину, мир с собой и в себе.

Когда-то, будучи вытесненными с пиршественного стола, где правили негордые, они страдали, считая себя обойденными — славой, признанием, почетом. А главное, считали они, их обделили любовью. Так оно и было. Теперь же, когда пала с глаз вечная повязка страстей, они почувствовали себя могучими в своем равнодушии и свободе.

С гордыми неуютно живется. Хотя часто они спазматично добры, великодушны, доверчивы и даже самоотверженны. Однако чувства эти в своей основе хрупки и обманчивы. По-настоящему они заняты только собой и готовы принести любое, даже очень сильное чувство, в угоду собственному индивидуализму. Гордые хотят не просто многого — они хотят всего. Вот почему, будучи по природе своей обреченными на вечную неудачу, они становятся разрушителями.



Рабство – состояние души



Свобода печати
Свобода печали

О Машеньке и Мишеньке

Точная дата рождения Машеньки неизвестна. Поговаривают, она — дитя из лабораторной пробирки. Зато имя одного из родителей Машеньки точно известно многим. И это имя — Мишенька.

Судя по преданиям, родился Мишенька в крестьянской семье, и была у него строгая мать, а отец-механизатор — тюфяк-тюфяком, отчего в семье женский авторитет установился. Мать и сына держала в строгости; не пожелав ему крестьянской доли, отдала в учение. Кто знает, что бы вышло из Мишеньки, если бы не жена. Он довольно рано женился, а из таких, у которых строгие матери, отличные подкаблучники получаются. Жена была умница-красавица, мечтала далеко пойти, а в муже своем простоватом увидела пропуск в будущее. К тому времени она уже начиталась умных книжек и ну — давай мужа учить, как в люди выйти.

Миша, как мог, науку жены постигал, но от всех этих умствований у него в голове иногда полная каша образовывалась.

Попав в компартийный заповедник, поднаторел в словах. Жена его ораторскому искусству пыталась обучать. Ее раздражала мужнина простоватость и южно-русский говорок, но тут уж она ничего не могла поделать.

К тому времени в ней загорелась идея — вылепить из мужа большую политическую фигуру с печатью избранности на черепе в виде большого родимого пятна, похожего на обрывок карты мира. Она уже знала, что многие великие Женщины так и поступали. Стоя за спинами своих мужей, они выступали в роли Ваятельниц, создавая их по внутреннему подобию своему.

Философический салат

Подруга Мишеньки была в душе либералкой с оттенком инакомыслия. В качестве идеологической начинки для мужа она даже изобрела особый философический салат. Внешне ингредиенты вроде бы привычные — марксистско-ленинские, но с добавлением пикантных демократических подробностей — свободы слова, личной

инициативы, частной собственности. Хотелось всему Западному миру не только фасонами шляпок или причесок понравиться, но и какой-то особой статью, оригинальным умонастроением. В этот момент она чувствовала себя настоящей и отнюдь не серой кардинальшей. А там, гляди — и время восходить на престол под руку с мужем подоспело.

Насчет точной даты рождения Машеньки существуют разные мнения. Одни напрямую связывает эту дату с апрельским пленумом ЦК КПСС 1985 года. Другие утверждают, что дитя из пробирки зачиналось двумя годами позднее, в творческой лаборатории соратников Мишеньки, к тому времени уже большого Человека.

Однако существовал у Машеньки и внутриутробный период, а в жизни младенца, говорят, он играет роль чрезвычайно важную.

Под звуки траурных маршей

Помню, в предвесеннюю пору, как-то заскочив в столовую, стояла с подносом у кассы. И в этот момент грянул траурный марш, призывавший всех граждан страны к минуте молчания. Кассирша растерянно застыла с деньгами в руке, я тоже, с пирожком и салатом. Было непонятно, как быть: прямо тут, у стойки, хранить молчание или все-таки можно присесть к столику.

— Господи, что же это — все мрут и мрут! — озабоченно прошептала кассирша и тут же, придя в себя, крикнула кому-то в недра раздаточной, — Валя, а ну-ка быстрее тащи траурный флаг, а то у нас неприятности будут!

Вождей в ту пору хоронили, почитай, каждый год. Зарождаясь в недрах похоронных процессий, в весенней слякоти ожидания чего-то нового и неизбежного, Машутка задумывалась как вызов смерти. Не потому ли само появление младенца вызывало в сердцах миллионов такую бурю надежд?

Однако у новорожденной почти сразу обнаружилась весьма опасная «детская болезнь левизны», которая началась с призывов «К топору!». По всей стране, особенно в южных ее пределах, застучали топоры. То рубили под корень виноградную лозу. Нам запретили пить. По стране прокатилась массовая волна собраний. На производствах создавались общества трезвости, члены которых тут же, не отходя от кассы, куда вносили вступительный рублевый взнос, отмечали это событие крупной попойкой за закрытой дверью.

Появилась принудительная мода на «безалкогольные свадьбы», где на столах вместо традиционного шампанского выставлялись огромные чайники и самовары с подпольным спиртным.

Хилое дитя

Девочка-перестройка зарождалась в радиоактивном мареве разрушенного Чернобыльского реактора, где гибли в великом множестве молодые ребята, разгребавшие смертельную золу на крыше реактора, бросавшие из незащищенных самолетов в этот ад мешки с песком.

Она задумывалась под стоны и крики бедняжек из Припяти, которых вынуждали делать аборт, чтобы не рожать чудовищ. Сбывалось мрачное пророчество Андрея Тарковского. Отныне зловещее и мистическое — «зона» станет навсегда трагической метой нашего бытия, породив вселенское чувство бесприютности и нескончаемого сиротства.

Вот так — в радиоактивном мареве, веселом озверении винных очередей и яростном мате стихийных противников государственной кампании по наведению всеобщей трезвости и появлялась на свет наша Машенька.

Стоит ли удивляться тому, что дитя росло хилым и рахитичным? И с глазками у нее было не все в порядке, и хромала на обе ножки. А уж какой крикуньей была! Поначалу, бывало, упадет на пол и давай сучить ножками, требуя во весь голос: «Больше демократии — больше социализма!». Очень демократию любила, вот так прямо — вынь да положь. Объялась, одним словом, демократией, до несварения желудка.

Теперь иногда думаешь: может наследственность плохая была? Нежизнеспособный ребенок. Быстро сошел на нет. Да и папаша не уследил — очень уж говорлив был. А когда говорил, только себя слушал и слышал.

Почтим же память безвременно ушедшей минутой молчания, начертаем скорбной рукой эпитафию: «Спи спокойно. Ты — дома, а мы — в гостях».

Про Машеньку, правда, сейчас мало кто добрым словом поминует. Дитя из прорубки, хоть и слабым оказалось, а сколько бед натворить успело! И карту мира перекроила, и мир однополюсным сделала, и целые поколения под откос истории пустила. Не девочка, а настоящее чудовище в короткой юбчонке.

Ну, вот вам и вывод? У нас, если дело начинается с призывов к питейному пуританству, то непременно жди беды. Пить все равно не перестали, а государству эта принудительная трезвость обошлась в 200 миллиардов (подумать только!) полноценных тогда еще советских рублей.

Банальная нелюбовь природы к пустоте тотчас же вызвала процесс ее немедленного заполнения. На место питейного блуда пришел иной, официально дозволенный блуд — словесный. А он-то оказался пострашнее любого, даже самого черного пьянства.

Вихрь. Водопад. Обвал

В семидесятые и первую половину восьмидесятых время напоминало сонную улитку. Вязко переползало десятилетие — и ничего не случилось. А потом вдруг — вихрь, водопад, обвал. Было такое чувство, будто налетевшая стихия со звоном распахнула окно, и в затхлое пространство ворвался стремительный вихрь, разметавший по комнате не только чинный порядок бумаг на рабочих столах, но залежалый и пыльный порядок умов.

Этот стремительный ветер, эта очистительная буря неслись из Москвы. И олицетворением перемен были мои столичные собраты по перу, бездарно окрещенные кем-то из верховных идеологов прорабами перестройки.

Странные то были прорабы. Они ничего не строили. Зато яростно и с наслаждением разрушали. Едва был дан разрешающий сигнал, они бросились в атаку. То была ни на день не прекращавшаяся двухлетняя война. Война без единого выстрела. Бескровный переворот в душах.

То и дело с печатных страниц столичных изданий гремели новые мины, а в воздухе оседала пыль от взорванных пирамид, которые казались вечными. Эти взрывы смещали залежи глухой породы, открывая бледный свет впереди. Свет горького презрения, издевательской догадки о чьей-то неразмышляющей руке, так чудовищно распорядившейся нашим прошлым и настоящим. Нашей волей и жизнью.

Харьковская фиеста

Не сразу, далеко не сразу дух свободы, крамольной радости «расшатывания основ» проник из Москвы в нашу харьковскую провинцию. Только весной восемьдесят девятого он все явственнее, начал сквозить в отдельных газетных публикациях местных журналистов, вызывая у авторов полуобморочное состояние преодоленного запрета. То было как пробуждения от тяжелого сна. Сколько времени потрачено зря! Как обидно, что многие, долго и тщательно подавляемые чувства давно атрофированы за ненадобностью. Их уже не воскресить в их первоначальной жаркой и острой чистоте.

Весной восемьдесят девятого Харьков напоминал растерянного ребенка, оставленного стоять в грозящем опасностями одиночестве, в ожидании Того, кто придет, спасет и утешит. Доверчивость этого хрупкого ожидания маревом висела над головами тех, кто среди многотысячных толп, затаив дыхание, слушали предвыборные речи своих новоявленных мессий — Евтушенко, Коротича и прикнувшего к ним местного прокурора Гайсинского, который теперь зычным голосом громил с импровизированных трибун «всех этих партократов». Пришло время и этому местному чиновнику временно изображать из себя революционера, чтобы стремительным ветром перемен быть вознесенным в высокие коридоры власти.

Той ранней весной город породил своих новых героев и бунтарей — ребят с мегафонами из комитета «Выборы-89». Их подвергали официальному остракизму и даже отдавали под суд как «возмутителей основ».

Помню, я готовила статью в их защиту. В тот вечер, когда «крамольная» статья уже стояла в полосе, позвонил Саша Мусиездов, которого мы в своем кругу по-свойски называли «Мусиком». На то короткое бурное время его срочно подняли командным образом на один из этажей обкома партии, чтобы наблюдать за местной прессой с позиции ее лояльности к власти. На это короткое время он перестал быть Мусиком, который увлеченно танцевал на редакционных вечеринках, накинув на плечи мою пушистую горжетку. Теперь он строго поинтересовался, что это я удумала писать в завтрашнем номере. Внутренняя разведка все-таки донесла!

С нарочитой небрежностью попробовала усыпить бдительность телефонного интересанта. Дескать, все достаточно пристойно. Но он не поверил и потребовал зачитать по телефону весь текст, размером с целую газетную полосу. Потом, помолчав, спросил:

— А можно снять эту статью из номера?

Я испуганно возразила:

— Как это снять? Тираж уже отпечатан.

Тираж еще не был отпечатан. Но я дежурила в тот вечер по газете и вынуждена была прибегнуть ко «лжи во спасение».

Наутро газета с «крамольной» статьей уже висела на площади Дзержинского — на стенде у «бунтарей-демократов». Как ни странно, официальных оргвыводов не последовало. Партийным чиновникам было уже не до нас.

Событие

Серый, оупляющий смог привычного отчуждения, нещадной борьбы за выживание давно поглотил ту далекую весну. Харьковская фиеста погасла, дождь смыл слова и призывы. Народовластие окончилось, так и не начавшись. Мечты о новой свободной жизни исчезли как предутренний сон, разрушенный бесцеремонным стуком в дверь.

Новое время, которое, казалось, ты ждала всю жизнь, приближение которого торопила, казалось, всей своей судьбой, странным образом перепрыгнуло через тебя, понеслось вперед, меняя свои цвета и очертания и оставляя тебя уже в прошлом. Свобода слова оборачивалась кружением в пустоте, гласом вопиющего в пустыне.

Но сам опыт Свободы не был напрасен, став частью судьбы. Исход перестройки совпал с приходом Сергея Гарбузова в газету, которая вскоре стала русскоязычной, изменив старое название на торжественное и чуть претенциозное — «Событие».

Да и сам Сергей был для газеты своего рода Событием. Вернувшись в Харьков из киевского ЦК комсомола, который уже доживал свои последние дни, он был готов к переменам. Был он молод, светел лицом и светловолос. К его дню рождения моя коллега, прелестная темноволосяя Марина Казбан написала шуточный экспромт:

«Не отдадим тебя жестокому ЦК.

«Событие» грядет.

Его не отменить,

Не разорвать судеб связующую нить».

Сергей действительно сыграл во многих журналистских судьбах роль «связующей нити». У него было драгоценное для главного редактора качество — он не мешал работать.

Поначалу Сергей относился ко мне с оттенком настороженности, даже некоторой враждебности — он собирался все кардинально менять в газете.

— Оставь меня в покое, — попросила его я. — Я знаю, о чем писать и как это делать.

И он оставил меня в покое, наблюдая за тем, что я пишу — вначале с настороженным любопытством, потом — с искренним интересом, а затем и с радостным одобрением.

Он давал полную свободу — о чем и как писать

То были в творческом смысле счастливые годы, оставившие свой след в виде множества газетных публикаций, каждая из которых была попыткой отразить сгусток странного, нелепого и трагического времени первой половины девяностых.

Спасибо, Сережа, за эти годы, когда газета была единым оркестром, где у каждого был свой голос и своя партитура. А все вместе — это и было Событием в судьбе.

О сне разума

«Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И слово было Бог». Так объясняет происхождение Вселенной Святое писание. Не ищите логики в этом объяснении, не пытайтесь понять его посредством разума, не спекулируйте им в своих попытках подчеркнуть ту или иную мысль. Разум всегда враждебен истинному Просветлению.

Так учат нас мудрые и просветленные. И, они, наверняка, правы.

Но мудрые хранят молчание. Они живут за пределами социума. Потому окружающий мир превращается для них в сон, в игру, где нет ничего реального, ничего прочного и надежного. Самый глубокий и сладкий сон для них — это сон разума, который создает всего лишь прекрасные сновидения, в реальность которых стоит верить.

Мудрые напоминают сказочно богатых людей, которые пиршествуют за своим роскошным столом, как бы отрицая сам факт нашего с вами существования. В этот подчеркнута стерильный и недоступный для большинства Мир не проникнуть вирусам Сочувствия и Милосердия. Но запрет на мышление — как спасительный рецепт, предложенный мудрыми нам, немудрым, заживо кипящим в адской смоле социума, почему-то, вызывает во мне внутренний протест.

...Жажда осмысления и жажда Справедливости — две равновеликие страсти, заставляющие нас приковывать взгляд к тому миру,

в котором нам повезло (или не повезло) родиться и прожить целую жизнь. Пройти свой Крестный Путь унижений, испытаний и потерь. Для нас, рожденных в СССР, пережитое тоже напоминало Сон. Сон разума, породивший чудовищ, которые разрушили наши души.

Рабам не нужна свобода?

Социальная алхимия, положенная в основу рецепта «оздоровления общества», включала в качестве основного ингредиента Свободу Слова и Свободу печати. Для организма, густо замешанного на рабстве и единовластии, вещество оказалось роковым, вызвав глубинные силы распада и смерти. Но почему? Рабам нельзя давать свободу? Рабам она не нужна? Свобода — слишком сильное лекарство, и его нужно давать крохотными порциями, чтобы не вызвать анафилактический шок?..

Не попрекните в кощунстве — это проклятый, бессильный разум кощунствует. И все-таки, если «вначале было Слово» — каким же было оно, если своими вибрациями послужило толчком для создания целой Вселенной? И какими должны быть слова, чтобы взорвать тот реальный мир, в котором мы жили, не оставив от него ничего, кроме камней, которые вкладывают в нашу протянутую руку, когда мы молим о пощаде. О, этот разрушительный бунт славянской души! Все обнажить, все выжечь дотла. Но оказалось: разрушение не принесло желанного счастья, а рабство не окончилось, как истлевшие одежды.

Есть нечто inferнальное в стремлении разверзнуть одну дверь за другой, безжалостно срывать все покровы — пока не останется одна лишь Пустота. Фрейд называл это «волей к смерти».

Свободное падение в пустоте

Мне приходилось писать о нашей свободе, как о рабской вольнице. Свобода всегда оставляет пространство для Тайны. Рабская вольница стремится растоптать Тайну, разложив ее на аналитической кушетке. Наша освобожденная журналистика слишком преуспела в ненависти. Разве не стала эта свобода — свободным падением в Пустоте, издевательским упражнением в ёрничестве, стёбе, откровенной пошлости, лакейским заискиванием перед новыми «хозяевами жизни», демонстрацией принципа «все идет на продажу».

Честь издательства — сегодня такой же анахронизм, как офицерская честь, купеческая честь, девичья честь. Господа издатели так откровенно не уважают господ читателей, что даже порой не удосуживаются причесывать стиль дворницких доносов в полицию нравов.

Как спастись от этого сладкого парада жующих челюстей, демонстрации работы слюноотделительных желез, бесперебойной телевыставки чьего-то желудочного благополучия вперемежку с перекличкой коммерческих монстров и миганием сигнальных огней той или иной громады отечественного бизнеса...

Посреди всей этой душевной определенности, ужимок и прыжков, умильного закатывания глаз от всего «вкусненького», потного клубка тел, готовых или убивать, или совокупляться, — единственное, чего стоит ждать в крошечной тьме — так это холодного и бодрящего прикосновения стального дула к виску.

За малиновыми шторами

Ту ночь, помнится, я провела за малиновыми шторами. Было крымское вино и много кофе. И всю ночь ни на минуту не смолкал телевизор. За шторами были уже предрассветные августовские сумерки, когда передавали репортаж о возвращении Горбачева из Фороса.

Он спускался по трапу самолета в каком-то домашнем пуловере, и вид у него был потерянный. А следом за ним спускалась его жена, тоже как-то потерянно, полуобняв за плечи внучку, одетую во что-то клетчатое. Эти трое чем-то напомнили мне беженцев из Закавказья, уже наводнивших Москву.

К тому времени один новосибирский ученый придумал прибор для контакта с миром духов. Вышедшие на контакт духи утверждали: в условиях близкой катастрофы человечества возмездие за каждое содеянное индивидуальное Зло будет наступать почти немедленно. Вот оно и наступило.

На политической шахматной доске судьба Короля была предрешена. Мертвый лев уже не страшен. Пинайте его, пинайте! В притворенную форточку ворвалась буря, срывая крышу и ломая несущие конструкции всего здания. Теперь этот шквальный ветер уносил и самого заказчика перемен — первого и последнего президента Советского Союза. Новому времени он был уже не нужен.

В те первые недели после августа 1991 года, когда Марк Захаров перед миллионами телезрителей картинно сжигал в пепельнице

свой партбилет, а чиновники со Старой площади ожесточенно рвали друг у друга властные портфели, всем казалось, что новая жизнь уже наступила. Народные витии рассуждали о том, как бы позабористей назвать эту портативную августовскую революцию — бархатной, шелковой, ситцевой или, может быть, даже прюнелевой?

— А давайте назовем ее просто веселой! — предложил с телеэкрана один либеральный журналист.

И все согласились: пусть будет веселой! Действительно — разве не весело: Ельцин громит путчистов на их же броневике, его растерянные враги с бледными лицами в тоске воздевают руки к небу в предчувствии своего полного краха. Толпа на улице братается с военными. И все это — под аккомпанемент чарующей музыки и воздушных пируэтов из «Лебединого озера».

Но недолго музыка играла. И года не прошло, как стало ясно: а праздновать-то нечего. Бедняжка революция тихо скончалась, сознательно погашенная ее главными героями.

Ох, уже эти портативные революции отечественного образца! Лопнувшая оболочка несостоявшегося образа. Бесконечное заборматывание Тупика. Мысль набухает, доходит до крайней точки логической самоорганизации, чтобы в самый высший момент сорваться в самоуничтожение Смысла.

Тринадцать лет спустя нечто похоже повторится — теперь уже на пространстве нашей «суверенной» Украины. Революция слов, лозунгов, восклицаний, речевок, жестов. Невсамделишная театральная революция, которая, отыграв свое, погасит огни рампы, и озадаченные зрители разойдутся по домам, гадая: что же это было?

И там, и тут либеральная идея прокладывала себе путь. Но там, в России, она имела свое кровавое продолжение. У нас же речь шла всего лишь о перестановке на политической доске старых шахматных фигур. Оранжевые либералы не собирались ничего менять. Им просто хотелось власти, а взобравшись на Олимп, они тотчас же успокоились и начали выяснять между собой отношения — с дамскими истериками и хлопаньем дверьми.

И все же внешние приметы этих двух кукольных революций были, несомненно, схожи. Неумеренные восторги, умиленные всхлипы, бросание в воздух дамских чепчиков и мужских головных уборов. И там, и тут главными действующими лицами были Слова. Их было много, но все оказались предательскими пустышками. И отсюда — особый вид усталого отвращения — до тошноты, до дрожи. «А нам бы рыдать над нашей тошнотворной глупостью и паскудством,

когда победители — точно такие же, как и побежденные, только еще тошнотворнее».

Браво, коллега! Вы попали в самую точку. Да что толку? Как показывает новейший исторический опыт, если уж у нас называют революцию как-нибудь нестрашно — с мануфактурным, цветочным или фруктовым оттенком — бархатной, розовой или, к примеру, апельсиновой, пусть даже клубнично-морковной — непременно жди очередного подвоха.

Мертвые лица

...Как-то, уже на излете перестройки, подходя к Дому печати на Московском проспекте, я машинально подняла голову и невольно вздрогнула, увидев портреты членов Политбюро, которые еще продолжали вывешивать на фасадах зданий в канун больших праздников. На меня смотрели мертвые лица с застывшими на них смертельными пороками. Не лица, а посмертные маски преступников.

Будто пелена упала — и взору открылась вся мерзость нравственного запустения, царившая на Отечественном Олимпе власти. Эпоха КПСС действительно подошла к концу.

Я хорошо помню этот античеловеческий типаж из советского номенклатурного заповедника. Надменно-брезгливое выражение усталого всезнайства на лице, тяжелая неповоротливая речь с нарочитым нежеланием ставить правильные ударения. И эта особая снисходительная «барскость» в обращении с народом, как с умственным недомерком или жалким приготовишкой. А еще — неизбывное стремление поучать, глубокомысленно «произноситься». И в довершение — полное неумение и нежелание слушать и слышать.

Самое смешное: этот типаж сохранился во всей чистоте и нетронутости и по сей день. Стоит только попасть в какие-никакие коридоры власти — и тотчас же знакомое выражение брезгливого всезнайства, которое так же легко превращается в лакейски-заискивающее.

Наши чиновные задницы, как раньше, так и теперь, мечтают о порке. Это у них генетическое: пороть или быть выпоротым.

Однако был и недолгий период иллюзий в нашем скорбном опыте. С крушением старой пирамиды власти и появлением новых политических мессий возник особый социальный феномен: братание народа с властью.

Инцест с властью

На смену вчерашним небожителям пришли «свои парни». Они были живыми людьми и говорили с нами на одном языке.

Мы выбирали во власть любимых поэтов, актеров и музыкантов, свято веря: уж они-то не подведут! Но поэты и актеры чувствовали себя неуютно во властных коридорах — то была чужая, враждебная для них среда.

Тогда мы выбирали всех недовольных и обиженных, кто попадался под руку.

Народные массы сделали Ельцина своим кумиром на том основании, что он продвигался по столице в задрипанном авто и не получил политической реабилитации у «старых партийных козлов».

Мы восторгались Собчаком, потому что он носил клетчатый пиджак, был хорош собой и мог говорить красиво. В эту блестящую компанию даже затесался косноязычный и не шибко грамотный харьковский таксист Сухов, потому что он был «свой в доску» и не церемонился в выражениях с трибуны.

Наступило короткое, но яркое время, когда политика и политики стали нам интереснее всего остального, в том числе и нас самих.

Все отошло на задний план — любимые занятия, книги, подробности личной жизни. Личной жизнью становилось все происходившее в стране и со страной.

Можно сказать, мы вступили с политикой в тесную интимную связь. Мы всматривались в эти лица, вслушивались в эти голоса, аплодировали неожиданной смелости суждений. Нас живо интересовали подробности семейной жизни политиков, а очередные «исторические» заседания съездов народных депутатов были нам интереснее любых новомодных сериалов и даже футбольных матчей.

...Помню, как один из молодых харьковских политиков, писавший в газету, просил меня стать его доверенным лицом. Он собирался выдвинуть свою кандидатуру на выборы в народные депутаты Верховной Рады образца середины девяностых.

Парень был молод, преисполнен решимости, и в глазах у него стояли искренние слезы, когда он говорил: «Если не я попробую все изменить, то кто же?».

Государство выделило ему смехотворную, даже по тем меркам, сумму на проведение предвыборной кампании. Претендент был временно безработным, питался привозной картошкой с родительского огорода и собирался даже чуть сэкономить на выделенных

средствах, прикупив новую обувь взамен окончательно развалившейся.

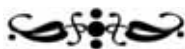
Подумать только: а ведь и такое было в истории нашего отечественного парламентаризма! И, что самое интересное: этот парень-таки попал в Верховную Раду. У него был сильный, по тем временам, козырь. Он был против срочной и насильственной украинизации Слобожанщины.

Потом, правда, он на глазах становился другим. Исчезла юношеская худощавость, уже не было прежнего блеска в глазах, стремительно подобрел и очинивнился. С ним было уже не так интересно общаться, как прежде.

Власть действительно оскопляет все живое, попавшее в ее заповедник. Помню известного харьковского журналиста, который после нескольких лет пребывания в парламентских коридорах, враг утратил индивидуальность и обаяние, превратившись в бесцветного пропагандиста речевок того партийного блока, в котором он состоял.

В конце концов, наш инцест с властью, братание с политикой имели печальный исход. Выбросив нас на холодные просторы митингующих площадей, превратив в политических и газетных наркоманов, эта связь одарила нас чудовищной ломкой издевательской внутренней пустоты.

Полу-свобода окончилась, оставив нас, преданных и забытых, наедине с собой. Вместе со словами мы выплеснули и нашего несчастного ребенка — собственную душу, которую умудрялись сохранять даже в глухие годы официальной немоты.



*Живой процесс –
зачастую вне цели.
Очевидная цель – только
у остановившегося,
застывшего, мертвого.*



**Записки на
ПОЛЯХ**

*

Мой земляк Владимир Шедянов — молодой ученый, светлая голова, определял состояние нашего общества, как ПОСТМОДЕРН. Состояние, где нет главного, нет нормы, где все может быть нормой.

Если для Запада философия постмодерна стала прихотью культуры, идеологией отношений с «не-Западом», то для нас постмодерн — это окружающая нас среда.

— Мы все просто «вывалились» в постмодерн, — не раз произносил мой собеседник, иронически улыбаясь. — Нет долговременных проектов борьбы за «послезавтра» Зато в изобилии — эклектика, разрыв с канонами, мироощущение «срывай день». Человек начинает жить как бы в разных мирах, а внешнее окружение перестает быть надежной опорой для выбора решения.

*

Слушая Владимира Шедянова, я понимала: а ведь это действительно нечто новое для всех нас с психологической точки зрения. Мы слишком долго пребывали в своем детском «лягушатнике» и привыкли не заплывать «за флажки». Теперь сама жизнь несет нас в открытые воды, где процесс изменений неизбежен.

Сосуществование, пересечение, взаиморезонирование самых различных социальных и психологических тенденций. И при этом ни одна из них не может претендовать на исключительную, ведущую роль.

Да, все размыто, разбросано, разобщено. Какое-то разнородное бурлящее варево. Что же получится в результате? Все зависит от Повара. Но где он, кто станет им? А, может, повар и вовсе ни к чему?

*

О, где ты, суровое и целомудренное единообразие прошлых лет! Бродя по твоим серым равнинам, я не теряла надежды найти единственно нужный «камешек» неповторимого оттенка. И, что самое удивительное, порой я его находила.

Сейчас впору растеряться. Вон их сколько, и все блестят нестерпимо сусальным блеском. И почти все наверняка фальшивые.

Природа не терпит однообразия. Но «свобода разнообразия» тоже угнетает. Недаром длительное пребывание в районе «красных фонарей» часто превращает нас в угрюмых аскетов.

*

В отличие от России с ее сверхидеей великой державы Украину ждет неизбежное превращение в периферию. В лучшем случае — в «мировую деревеньку», в худшем — в индустриальную «раковую опухоль», грозящую миру своим непредсказуемым Чернобыльским реактором. Периферии — не субъект истории, а лишь объект манипуляций.

*

Главная угроза жизнеспособности общества — невежество. Для нас она чрезвычайно велика. Особенно сильна угроза нарастающего невежества в сфере управленческих функций.

*

В условиях украинской реальности нет сферы для честной конкуренции элит. Человек, готовый взять на себя ответственность за страну, отождествить свой личный успех с ее развитием и успехом — непременно окажется «лишним». В условиях клановости по-иному и быть не может.

У харьковчанина Владимира Шедянова была масса интересных научных наработок, способных принести громадную пользу стране. Все было положено под сукно.

— Такое впечатление, что это никому не нужно, — с горечью говорил Владимир.

*

Да, вернуть прошлое, но как бы не все, а только лучшую его часть, с его «возвышающим нас обманом». Но так не бывает. Берега прошлого уже заволокло дымкой вечности. Невозможно жить с повернутой назад головой.

*

Свободы не может быть много или мало. Она должна просто Быть. Покинув прежние берега несвободы, остались в трюмах несвободы новой.

*

Истинно свободный человек не навязывает себя другому. Он исповедует принцип: живи, но дай жить и другому.

*

Без свободы ничто состояться не может. Но именно свобода не дается человеку. Он ищет ее извне, но не в себе.

Неуловимость свободы.

*

Сугубо наш, национальный образчик современной изворотливости и цветистого упоенного словоблудия. Умудряется не сказать ни «да», ни «нет» тому новому, что входит в жизнь. Ограничивается ложно многозначительными полунамеками и всяческими экивоками.

За всем этим — полу-хамская, полу-барская сытость, страх попасть не на тот словесный и смысловой регистр, лишиться уютной кожи солидного кресла, агрессивная ограниченность вельможного сановника от литературы, готовность с выпученными глазами сотрясать воздух, обречь на заклятие, прикрываясь выцветшими и замшелыми национал-псевдопатриотическими постулатами о святой древности вперемежку с махровым, не знающим жалости угодливым политиканством.

Счастливые рабы

Нынешняя реальность породила особый вид рабства. Синдром маленького человечка, готового или до бесконечности сносить все унижения жизнью, или в осознании своей «малости» идти по чужим головам, извиваться, подобно червю, в надежде выжить.

Один пожилой лысый дяденька небольшого росточка, который подрабатывает в праздники, гримируясь под Ленина, недавно сказал:

— Раньше мы были счастливыми рабами. Мы не знали о том, что мы рабы. Теперь мы рабы несчастные — сегодня мы точно знаем, что мы — рабы.

*

Из народного юмора времен Горбачева: «Туалета не нашел, а процесс уже пошел!».



*“И Он сказал им: идите...
И вот все стадо свиней
бросилось с крутизны в море.”*

(Евангелие от Матфея гл.8)



**Стопроцентная
Шизофрения**

Разум, омраченный безумием Надежды

С крушением всех прежних запретов, когда манифестация обнаженной плоти стала привычным атрибутом журнального глянца, мы получили доступ ко всем иным уровням свободы. За пару-тройку первых «освобожденных» перестроечных лет мы успели переболеть всеми детскими болезнями, включая ветрянку, корь и свинку. «Свинка» в этом списке заняла особое место, превратив человеческую биомассу в библейское стадо обезумевших свиней, бросавшихся в пучину вод и в ней же тонувших.

Обществом овладела безусловная Вера в Чудо. Анатолий Кашпировский решил утереть нос самому Иисусу Христу, исцеляя сирых, убогих и немощных уже не поодиночке или отдельными группами, а целыми многотысячными стадионами. Он даже проводил по телевизору дистанционное обезболивание полостной операции без наркоза, когда пациентка улыбалась под скальпелем хирурга и даже пыталась петь от счастья.

Моя пожилая родственница, видевшего в Кашпировском своего нерожденного сына, о чем она неоднократно писала ему в своих почти любовных письмах, уговорила меня сопровождать ее на массовый сеанс исцеления во Дворце спорта, когда ее кумир приехал в Харьков. И вот что из этого вышло.

Билет в рай

...Над городом пронесся невидимый глазу смерч — наподобие психической эпидемии. Особый род безумия. Безумия надежды. Позади — бессонное стояние в очереди за билетом, всеобщие возле касс под дождем. А еще приходилось отмечаться в списках, как в очередях за импортной мебелью — утром, в полдень и вечером. И все равно — дыхание счастья. Возможность выстоять и получить свою порцию надежды на исцеление уставшего в непрерывной борьбе за выживание организма. Билет в рай стоил от десяти до пятнадцати рублей.

Пятитысячный Дворец спорта для полуторамиллионного города — ничтожное игольное ушко для страждущего верблюда.

...Мы сидим на местах с обозначением: «неудобные». Сцена рядом, но мы как бы за ней. Зато хорошо виден зал и лицо инвалида, лежащего на носилках возле сцены. Рядом — на перевернутом канцелярском столе, тоже на носилках, — седая женщина, заботливо укрытая домашним пододеяльником.

Сеанс не начинается — проблема со звуком. Среди дамской части зала — тихая паника. Он уедет! Возмутится и уедет!

— Сто рублей! — обреченно шепчет моя соседка с обманчиво молодым лицом. — Только что у входа выложила сто рублей за два сеанса. Последняя надежда. Опухоль в груди. По крайней мере, смогу сказать родственникам, что сделала все от себя зависящее. Они считают меня такой непрактичной.

Пошел уже второй час ожидания. Иду к Нему. Какая-то суета, растерянные лица. В маленьком, заброшенном кабинетике Он — Целитель и Полубог — неожиданно одинокий и по-человечески раздраженный.

Смотрит на меня раздевающим взглядом, но вид вполне боксерский, готовый равно как к защите, так и к нападению. Для него я — одна из сонма «нечистых на руку журналистов», которые льют воду на мельницу его жарких завистников. Чувствую себя по-идиотски в непонятной для себя роли. Это все родственница, уговорившая меня на эту экстравагантную затею.

Когда возвращаюсь на свои «неудобные» места, дамы смотрят на меня с искренним обожанием — они прознали об интервью с их кумиром. Теперь на мне лежит как бы отблеск его Величия.

Сеанс, наконец, начинается. Сотни рук в слепом экстазе — коснуться Целителя и Мессию. Какое-то средневековье вперемежку со сценками из черно-белого кино «Праздник святого Йоргена».

— Один человек коснулся моей руки после сеанса, — провозглашает со сцены Он. — На следующий день ему удаляли семь ногтей без наркоза.

«Как коммунист, буду молить за Вас Бога!», — пишет автор одной из записок.

...В наконец, опустевшем зале я — наедине с девушкой в инвалидной коляске. Косой луч из приоткрытых дверей освещает ржаную прядь ее волос.

— Это так больно, так больно, — говорит она, — когда очень долго ждешь, а потом все оканчивается и ничего не остается. А теперь — чего ждать теперь?

Лазарь, встань!

Белый маг Юрий Лонго решил повторить евангельский опыт Христа с воскрешением Лазаря. Мир с придыханием следил за тем, как он, находясь с морге, непомерным усилием воли заставил мертвого поднять голову. Мертвец поднял голову и даже сел. Мир вскрикнул, пораженный мистическим ужасом и беспримерной, почти запредельной силой Юрия Лонго. Правда, все происходившее с покойником в дальнейшем, покрыто мраком. В отличие от Лазаря, освобожденного от погребальных пелен и уже через час веселившегося в окружении счастливых родственников как ни в чем не бывало, этому бедняге вряд ли повезло в такой степени. И все-таки он поднял голову и даже сел!

Только спустя годы мы узнали, что то была дьявольская шутка Белого Мага, уговорившего своего близкого приятеля сыграть роль Лазаря. Поговаривают, высшая сила не простила Магу этой издевательской выходки и после принятия им христианской веры поспешила его самого свести в могилу.

Дама в розовом

Курпулетная дама в розовом с блестками платье понижает голос до интимного микрофонного шепота:

— Все сбудется, если душа поднимется. Во всех параметрах и во всех измерениях. Пусть те, кто боится, перестанут бояться.

У дамы — странная, недамская фамилия — Мужайло. Для общения с аудиторией она изобрела свой язык — язык «межпланетного общения». Она уверена, что он должен быть понятен всем — независимо от возраста и национальности. Верит ли она в переселение душ? Нет, лично она — сторонница того, чтобы человек постоянно жил в собственной биомассе. Но биомасса должна быть здоровой и молодой. Лично она знает женщину, которая в пятьдесят два выглядит на двадцать пять. Впрочем, это — наука будущего.

По образованию Алла — юрист, работала юрисконсульт на производстве. Ее начальник говорил: «Для меня есть только тот закон, который меня устраивает». Возможно, поэтому она решила переквалифицироваться в ясновидящие. Однажды она спасла подругу от хулиганов, явившись перед ними в образе Немезиды. Подруга сидит рядом. Рассказывает, как спешила к сыну в пионерлагерь,

а дорога лежала через лес. Неожиданно путь ей преградил огромный рефрижератор, из которого выскочили лица кавказской национальности. И намерения у них были весьма агрессивными. И вдруг — над ними маревом нависло лицо Аллы Мужайло. Кавказцы испугались и бросились к рефрижератору, чтобы скрыться.

Шизофрения, как и было сказано

(Стенограмма целительного сеанса местного магистра био, энерго и — психонаук)

Голова — самая дурная наша часть

«...Я родился под теми же планетами, что и Иисус Христос. Все планеты мне помогают. Это знают все, кто Раки. Они все целители или ученые. Я это получил от деда и от бабы. Я взял это из прошлой жизни. У меня универсальное центральное поле, помогает всем. У Чумака, например, западное поле.

Все болезни — от биополя. Кто видел эти передачи, когда опухоли вырезают простым кухонным ножом? Причем, нож — грязный. Медики в ужасе, а он микробы уничтожает. Ужас! И он тем же грязным ножом — следующего режет. Академик, большой ученый, так ничего и не понял, как это возможно. Академик производил впечатление умственно отсталого. Это не потому, что он глупый, а от незнания. У него просто совести не было. Он в состоянии временно-условной шизофрении находился.

Животное обладает любопытством, значит — не шизофреник. Вас сюда, на сеанс, любопытство привело, значит, вы — не шизофреники. У вас совесть есть. Разум идет из космоса. У Циолковского тоже такая связь была. И вообще она бывает у всех настоящих людей.

Во всех странах люди только и делают, что распространяют божественную энергию. Мы — самая бессовестная нация. Мы — сверхподлецы! Об этом вчера еще по телевизору говорили. Ноль не может быть, это — теоретическая точка. Но я об этом более позже расскажу.

Разум — он, вы знаете, в семи-десяти сантиметрах над головой находится. Голова — самая дурная наша часть. Главное — это интуиция. У нас разум города и области только сейчас включается. А до этого был шизофренический разум. Я все время занимался изобретениями. Делал десятки изобретений без всякой логики. Мне говорили: так это же несусветная бессмыслица! А потом, оказывается, — то, что надо.

Сколько тут, в этом зале, сидит? Триста пятьдесят человек? Так вот, над Харьковом такое поле можно создать, что все будут счастливыми...».

Через психотронное поле Харькова — лавина счастья

«Одна женщина хотела два пирожка купить за сорок рублей, но потом увидела про мои сеансы и решила, что это лучше, чем два пирожка. Тем более, мука там — вредная.

После моих сеансов многие спать начинают меньше. А некоторые начинают больше спать. Это у них стресс выходит. А бывает, люди начинают стихи писать. Представляете, если во всем Харькове повисит производительность труда в два и пять десятых раза?

В «Гипрококсе» после моих сеансов после работы остаются, изобретения делают. Им хочется стихи писать. Это стратегическая задача науки: через психотронное поле Харькова — лавина счастья. Одна старуха сказала: «Я чувствую себя двадцатилетней и умирать не собираюсь».

Одна очень больная женщина пришла ко мне. Я у нее спросил: «У вас в организме есть точка, которая не болит?». Она долго думала, потом сказала: «Есть». Я спросил: «Где?». Она сказала: «Неудобно говорить». А потом она сама мне сказала, когда вылечилась: «Повторите, все горит у меня, каждая клеточка внутри».

Одна женщина долго не могла замуж выйти, всем жаловалась на свои болезни. Мужчины от нее шарахались. А потом стали табунами бегать. И начальство премии дает. Всех остальных сотрудников отдела сократило, а ее оставило.

Мне даже однажды пришлось так ударить одного человека, что он летел. Я потом спросил его: «А где же ваша болезнь?».

Дурак — это не опасно...

«...Подымите руки, у кого боли прекратились после начала сеанса. У вас еще больше болит? Так это же прекрасно! Когда процесс исцеления идет, если он не сверхподлец, радоваться должен, даже если все болит. И не пикнет — нечистая сила удалится!

В этом смысле самую главную роль играет печать. Это не потому, что они там самые благородные люди. Им тоже разум перекрыли, когда они Егора Гайдара хвалили за его реформы. Американцы на

нас вообще психотронное оружие испытывают. С одной стороны, это благородно, они боялись, что мы водородную бомбу сбросим. Но с другой — сухогруз, который в «Адмирала Нахимова» врезался, так капитану в это время был разум перекрыт.

Медицину не только не надо отвергать, наоборот — с ней дружить надо... Дурак — это не опасно. Вот тот, кто не верит, тот уничтожает человечество.

Почему мы отстали на шестьдесят лет? Поле шизофреническое висит над всей страной. У тебя мысль трезвая появилась, а на тебя вся эта глупость со всех сторон лезет. У меня десятки изобретений сделаны со помощью резонанса знаний. Мне один академик говорил: что ты все толчешь, толчешь... Я что хочу сказать... Хохол, пока не пощупает, не поверит. Все равно лезет щупать.

Подымите руки, кто верит в Бога?».

Сверхподлецы — те, что упали духом

«Сколько целителей ни выступало, у нас они не совсем порядочные. Те, что им поддались — хорошо, не поддались — ладно. Нарушают третий закон космоса — быстроты и непрерывности. Дают дорогу нечистой силе.

Пенсионер упал духом — он, значит, других умерщвляет... Он миллиарды умерщвляет... Не позаботились, чтобы вся Харьковская область не упала духом... Это же страшное дело! Мы все такие — нечистая энергия, групповое поле... А в Библии говорится: блаженство и еще раз блаженство. Сверхподлецы — те, что упали духом.

Энгельс и Ленин говорили, что Вселенная расширяется не только вглубь, но и вширь. Академики дебилные говорят: «Откуда тонкая энергия? Я ее не вижу». Не видишь? Изучай!

Вы видите у меня светящуюся точку на ладони? Это вы от меня ловите вибрации гипоталамуса. Мощь моего поля в шестьсот раз сильнее обычного.

Я — проводник божественной космической энергии. Откуда я это беру? Конечно, не из еды. Когда мы работаем, то мы не встаем... Однажды я поспорил на значок ГТО и установил рекорд.

...Купцы три месяца думали, как сделку сделать, а потом решили: а, черт с ним, как рука ляжет, так и будет. Сердце — резонатор разума. Разум попадает в сердце. Шварц как раз об этом писал.

Биополе — вообще страшная вещь. У меня лицензии международные, меня проверяла строгая комиссия из иностранных специ-

алистов. Я собрал их в больнице и за один раз выполнил задание трех месяцев. Они сказали: неудобно так сразу. Но я сказал: если я задержусь тут, то только на четыре дня. Профессор подумал, что это галлюцинация: она, парализованная, уже умирала, потом поднялась и улыбается: «Я буду жить».

Порфирия Иванова голым на мотоцикле зимой всю ночь возили. А потом диагноз установили: шизофрения на почве любви к природе. Сами шизофрениками были!

Подымите руки, у кого пониженное давление. Пониженное давление — это, с одной стороны, неплохо, а с другой — это люди бессознательные: у них воли не хватает, чтобы свое давление поднять. У нас во всех не хватает совести... А те, кто не потеет, губят не только себя, но и своих детей, внуков и правнуков, а заодно и весь земной шар.

...А вообще-то жить можно и девятьсот лет — совесть только надо включить».

...Торопясь на воздух после сеанса — с уже включенной совестью — сказала себе:

— Так нам и надо!

Страна непуганых идиотов

В те годы Бог омрачил наш разум безумием еще одной Надежды. Надежды на чудесное обогащение.

Теперь судьба искушала многие миллионы возможностью поверить в сказку со счастливым концом. Напрочь забыт недавно пережитый ужас, когда государство вытряхнуло из нас все, оставив голыми на голой земле.

Но ведь то государство, а здесь — совсем другое — неожиданное, сказочное, упрятанное в таинственную аббревиатуру из трех «М». Каждый мог расшифровать ее по-своему. К примеру: «Миг Моей Мечты». Или: «Мой милый Мавроди». Или еще лучше: «Мавроди многое может».

Он действительно многое мог тогда. В обсуждении будущего АО «МММ» принимало участие правительство России в полном составе, включая министра иностранных дел и даже министра обороны. Этот невесть отколь взявшийся парень со странной фамилией грозил властям проведением всенародного референдума и даже заменой Конституции. Он бесстрашно заявлял о неотлагательных мерах по спасению Отечества. Как большой любитель бабочек, Мавроди

был категорически «за» чистоту окружающего пространства. Он даже потребовал публикации в газетах особых экологических карт.

Этот парень был явно не промах. Его телевизионный персонаж Леня Голубков, несомненно, стал общенациональным героем. Подумать только, давно ли этот Леня огибался возле окошечка сберкассы в своей заячьей ушанке. А теперь вот — уже мечтает прикупить недвижимость в Париже. А его родной брат Иван, с которым Леня глушил на кухне «Русскую», — тот вообще обещает сделать ваучер золотым.

Скрытая страсть к художественной мелодраме, сентиментальный гений, дремавший в недрах «МММ», проснулся и решил переплюнуть по своей популярности «Дикую Розу» вместе с «Санта-Барбарой».

Решительно прорвав Лужковскую блокаду на рекламу МММ, на авансцену вырвалась «просто Мария». Великолепная Виктория Руффо танцует в объятиях брата Лени — Ивана. А сам Леня Голубков уже не собирается покупать дом в Париже. Он хочет выкупить родимый экскаватор, о чем и советуется с прелестной Викторией. Теперь она — семейный эксперт Голубковых. Жена Лени Рита советуется с просто Марией, заводить ли ей ребенка от мужа.

И каждый телезритель знал и чувствовал: вот они, герои нашего времени! Теперь все знали имя того, с кого надо делать жизнь. Ее нужно делать с Лени Голубкова. Заплеванный соцреализм обрел свое второе дыхание благодаря МММ. Воспитанный на советских реалиях, томимый тоской по нормальной жизни и высоким дивидендам, народ обрел-таки своего национального героя.

Финансовая пирамида казалась такой же вечной, как и ее египетские сестры. И вдруг — обвал, крушение в бездну.

Но время не только лечит даже самые жестокие раны. Оно заодно наносит и новые, чтобы старые не казались такими страшными. К тому же, если вы — народ сказочный и в глубине сознания продолжаете верить в чудо, то ничего не потеряно. Вас наверняка снова надуют.

...Спустя восемнадцать лет перед глазами пораженной публики снова вспыхнул знакомый силуэт бабочки, правда, уже с изрядно подпорченными крыльшками, запечатанными в знакомую аббревиатуру из трех «М». Нам снова предложат сыграть в подзабытую игру, финал которой заранее известен. И, что любопытнее всего, мы снова массово поведемся на эту забаву для легковых идиотов. Потому что мы — такие. Для нас главное — не то, что есть, а то, чего жаждет наша душа. И отсидевший свое Сергей Мавроди с лицом усталого афериста и печатью шизоидности во взгляде это отлично знает.

Second hand — наше светлое будущее

Мой коллега Гоша вступил в Гильдию журналистов и по этому поводу пришел в редакцию в смокинговом пиджаке и галстуке-бабочке. Пиджак был серого цвета и выглядел странновато, бабочка была вполне пристойной, только красно-бордовой. Коллега доверчиво сообщил, что все это великолепиие его жена приобрела в соседней лавочке, прикупив заодно и несколько вязаных кофточек для себя. В тот день шла самая дешевая распродажа, и все покупки обошлись ей в пятнадцать гривен.

В кармане у Гоши было, как всегда, пусто. Но выглядел он торжественно, и ему хотелось праздника. Протянув руку в просительном-комическом жесте, он затянул:

— Подайте на водку члену Гильдии журналистов!

Second hand — вот что подарило нам наше время. Из рук добрых западных дядюшек мы получили в подарок эти «вторые руки», что отныне оденут и даже обуют нас за вполне приемлемую цену. Конечно, если не сидеть и ждать, а настойчиво и напряженно отслеживать момент, когда цены за килограмм тряпья в том или ином магазинчике упадут до самой низкой отметки.

На рекламном щите индеец времен завоевания Америки, улыбаясь знаменитой американской улыбкой, приветливо косит взглядом в сторону полуоткрытых дверей с дешевым заморским товаром. Своей массивной курительной трубочкой он как бы указывает нам путь в светлое завтра.

Решив за нас, пожалуй, одну из самых мучительных проблем нашего бытия, коренной житель американского континента широким жестом предлагает: «Облачайтесь!». И он по-своему прав. В конце концов, никто не отменял главный философский постулат всех времен и народов: «Каждому — свое».

Из бабушкиных сундуков

Когда в девяностом над страной пронесся смерч перемен, начисто сметая с прилавков не только все съестное, но заодно — и все промышленные товары, одеться и обуться хотя бы во что-нибудь становилось для советского человека проблемой номер один. Один из народных депутатов СССР так прямо и заявил на всю страну, что он остался без последней пары носков.

Было такое ощущение, что по магазинным полкам прошелся некий Мамай, оставляя после себя лишь зеленоватые трупки конфет без обертки, консервы из морской капусты и безразмерные резиновые сапоги с валенками.

Заскочив как-то вечером в затемненный, как во время военных действий, магазин тканей на Свердлова, увидела нечто красно-оранжевого цвета, полыхавшее посреди совершенно пустых прилавков. Ткань наверняка была обивочной — жестковатой и малогнущейся, но выбора не было: завтра и этой не будет. Оставшиеся покупательницы лихорадочно рылись в кошельках, дабы прикупить хоть что-нибудь.

Немногочисленные женские журналы в ту пору пестрели советами, как перешивать старые платья, переделывать брюки и как самим мастерить сумочки. Но главное — как чудом сохранить индивидуальную неповторимость, с умом воспользовавшись пронафталиненным богатством из бабушкиных сундуков.

Спасение Элегантности, тонущей в море тотального дефицита, оставалось делом рук самой Элегантности.

Кому из советских женщин не доводилось пользоваться услугами отечественных комиссионков? Там всегда можно было прикупить что-нибудь «для души» — шитое руками неизвестной портнихи нестандартное платьице, оригинальную рубашечку для мужа или сына. Ношенной обувью мы тоже не гнушались. Тщательно протирали ее спиртом и плотно упаковывали в целлофан.

Появление заморских «вторых рук» для тотального большинства неизбалованного населения оказалось «самое то». Что ж, мы — люди негордые, можем облачиться и в чужие обноски. Тем более, говорят, их успели продезинфицировать. Но даже если и не совсем, разве может это остановить наших женщин? Ведь существует же для этого и «ОМО», и «Ариэль». Ну, а если дырочка какая попадет, ее ведь и залатать можно. Торжественно возложив на весы все эти «обновки», а точнее «старновки», наши хозяйки с чувством глубочайшего внутреннего удовлетворения покидают лавочку, заранее готовясь к будущим «сражениям за вещь».

С тех пор и на долгие годы «сэконды» стали главной и, по сути, единственной демократической приметой нашего бытия, что, конечно, отчасти, наводит на печальную мысль о нашем полу-туземном статусе. Но это все — эмоции. А вот попробуй лишить нас этой демократической «подробности» — что останется? Одна большая, ничем не прикрытая Беда.

Небольшая рефлексия:

Признаюсь, поначалу походы в сэконды действительно будили воображение. Вот, к примеру, эта явно не новая вязаная кофта с вытянутыми рукавами — какой неведомой англичанке или австриячке она принадлежала? Возможно, эта дама и надела ее всего пару раз, а потом отдала донашивать своей домработнице. А уже та позднее выбросила ее и многое другое в специально предназначенные для этой цели вещевые контейнеры.

Или вот это чуть прожженное по краям покрывало — кто, представитель какой страны возлежал на нем, вкушая радости или горести бытия? А этот пиджак со следами былой элегантности — в каком клубе его владделец чуть обтрепал обшлага, потев от внутреннего напряжения за игорным столом или за стойкой бара?

Как-то, бродя среди этих красноречивых свидетелей чужой жизни, я припомнила эпизод из любимого мною романа Хэмингуэя «Прощай, оружие!». Дезертировав из армии, герой был вынужден облачиться в один из многочисленных костюмов своего приятеля. Он чувствовал себя странно и непривычно, переодевшись в этот чужой, пропахший табаком и одеколоном наряд. Но у него просто не было другого выхода. К тому же речь шла о его близком приятеле. А впрочем — какая разница? Надо проще смотреть на вещи.

Все-таки это лучше, чем совсем ничего. И все это можно выстирать и продезинфицировать еще и еще раз. Правда, есть то, что ни стирке, ни дезинфекции не подлежит. К примеру, чувство собственного достоинства. Трудно сохранить достоинство, живя в стране, которой грозит превращение во всемирный отстойник. Легко утратить самоуважение, одеваясь в обноски.

Second hand. Вторые руки. Третий мир. Четвертое измерение.

Что там дальше по номерам?

Выйти замуж за олигарха

Еще одна характерная примета девяностых — наши милые дамы в шубах из натурального меха. С царственной гордостью вышагивают, демонстративно без головного убора, — по обледенелому Харькову, ловя недобрые взгляды усталых женщин в потертых пальто и жалобные взгляды нищих со слезящимися на ветру глазами.

Эти невесты откуда взявшиеся «меховые» создания похожи на сталкеров, что продираются сквозь серую неухоженность окружающей жизни в иной, особый мирок — изысканный и шикарный, где рекою льется шампанское, блестят массивные перстни на массивных мужских пальцах, а диковинные тогда еще сотовые телефоны прячутся среди корзин с диковинными цветами.

Наши милые сталкерши первыми бросили вызов всей остальной, еще советской женской половине человечества, заявив всем своим видом: «Мы пойдем иным путем!».

Еще одно безумие Надежды зарождалось в сознании молоденьких женщин, позднее ставшее идеей-фикс для подавляющего большинства. Старая, как мир, сказка о Золушке обрела свое реальное очертание в сверхценной идее: «Выйти замуж за олигарха». Олигарх совсем не обязательно должен быть похожим на Принца. Пусть немолодой, плешивый, с брюшком, но это — пропуск в будущее. И — какое будущее!

Мир разделился на женщин и «милых дам». Выхолненная самочка в умопомрачительных мехах, выглядывающая из «Мерседеса», — вот идеал «истинной дамы». Это они составят будущую элиту общества.

Как и положено богатым, они будут жить в шикарных особняках и виллах на морском побережье. Их будут окружать особенные и очень красивые вещи. Их дети от момента рождения почувствуют свою избранность и непохожесть на всех остальных. Наши «дамы» в первом поколении будут считать себя истинными аристократками и станут взирать на остальной мир со снисходительным и усталым презрением.

Позднее их ряды наверняка пополнят те, кто уже завтра зубами и локтями будут прорываться в это новое сословие, идя по чьим-то головам и не останавливаясь ни перед чем.

Быть дамой в представлении юных дев означает — быть волчицей в розовом одеянии дамской плоти, прячущей свои белые и острые клыки под ослепительными улыбками и взирающей на мир с загадочным бесстыдством обнаженной фотомодели и холодной непреклонностью юной брокерши.

Законченные стервы

К тому времени в нашу жизнь стремительным мутным потоком ворвалась дамская литература, заполнив пространство книжных полок и лоточных витрин своими «чудесами в кастрюльке», «чудовищами без красавицы» и «полетами над гнездом индюшки». В этих романах наши бедные, но непреклонные Золушки, эти «сволочи ненаглядные», все эти «бриллианты мутной воды» и «букеты прекрасных дам» совершали свои чудесные превращения, надев на лица «улыбки 45-го калибра» и нацепив «фиговые листочки от кутюр». Бывало, они составляли свои «прогнозы гадостей на завтра», укрывшись в «маленьких домиках тетюшки Лжи». Но они всегда побеждали. Скрытые или откровенные олигархи находили их повсюду, даже когда они ели «клубнику в шоколаде» или танцевали «канкан на поминках», а, бывало, даже совершали свои «хождения под мухой». Потому что «Любовь очень зла», а «красиво жить не запретишь!».

Объевшись дамскими романами, наши юные воительницы почти утратили связь с реальностью. А она была весьма жесткой. Мечты оказывалась легкой зыбью на поверхности тротуарной лужицы. А там, поглубже, была совсем иная — не сказочная жизнь.

Все эти шкуры убитых животных давались отнюдь не даром. Немалых усилий, а часто и многих унижений стоило все это. Ведь наши мужчины, тем более — «новые», никогда и ничего просто так не набрасывают на женские плечи. К тому же, на поверку, они часто оказывались мелкими и расчетливыми «жлобами», а то и жестокими занудами.

Сказочные сюжеты о Золушках, выходящих замуж за олигархов, чтобы тотчас превращаться в светских львиц и законченных стерв, пылились на книжных полках. Среди знакомых, как ближних, так и дальних, олигархов не намечалось. Только Золушки. Вечные Золушки, которым ничего не светило. И они, озлобившись на жизнь, и без помощи олигархов превращались в законченных и завистливых стерв.

Сказочное безумие Мечты вступало в глубокое внешнее и внутренне противоречие с жизнью. Потому что быть Женщиной в нашей стране — самое неблагоприятное занятие. Это все равно, что делать бесконечные бальные пируэты, когда к ногам у тебя привязаны пудовые гири. А при этом желательно еще и улыбаться, растягивая в мучительной гримасе наспех покрашенный рот.

Быть женщиной в нашей стране — значит соединять несоединимое: коня и трепетную лань. Быть Мухинской скульптурой с крижистыми ногами и взметнувшимися серпом и молотом над головой и одновременно Эллочкой, перекрашивающей в домашних условиях кошечку под «шиншиллу».

Наверное, всем нам не повезло, включая и девочек, мечтающих об олигархах. Мы, как и они, родились в странном месте, где нет места Мечте. Но всегда предостаточно места для безграничного терпения. Быть рабочей лошадкой, прачкой, куховаркой и экономкой с заведомо безнадежным результатом. Безропотной серой мышью, живущей под дамокловым мечом грядущей безработицы.

*

Кстати — о первых шубах постсоветского образца. О некоторых из них говорили, что они из волка. Оказалось, ничего подобного: обычные собачки желто-коричневой масти. Сколько бедняжек в те годы полегло ради тщеславной радости своих будущих носительниц! Молодые и не очень дамы прямо-таки на глазах обуржуазивались, приобретая особый постсоветский шик по относительно доступной цене.

Отдельные экземпляры этих натуральных памятников верным друзьям человеческим до сих пор пылятся на антресолях особо бережливых хозяек. Когда подруги настоятельно советуют им распрощаться с этим старьем, они упрямо и зло возражают, что не собираются расставаться со своим добром из натурального меха. Их генетическая память не позволяет им транжирить. Только — собирать, переделывать, перекраивать, одним словом — «перетаскивать клопиков из мамино диванчика в папин». Бедные наши женщины среднего и выше среднего возраста! Вы даже не представляете, какая это радость — освободить окружающее пространство от всего лишнего, пуская туда воздух, свет, а значит — надежду. Пусть даже мифическую.



Попробуйте обяснитъся
в любви к себе.



**Записки на
ПОЛЯХ**

Увидеть Париж и не умереть

Американка Луиза Хэй знает свой, американский секрет счастья и щедро делится им в своих бестселлерах для домохозяек.

Секрет до ужаса прост: нужно полюбить себя искренно, безоговорочно, страстно, а через себя — и весь окружающий мир. Ежедневно прибегать к affirmациям — позитивным самовнушениям: «Я абсолютно здорова», «Мир улыбается мне», «У меня прекрасная работа», «Я уверена в своем будущем» и прочая, и прочая, и прочая.

К примеру, вы можете сказать себе: «Я хочу поехать в Париж, но у меня нет денег». Да, отсутствие денег — это, конечно, препятствие. Но если постоянно делать affirmации, уверена Луиза, представляя, как приятно вы проводите время в Париже, энергия Вселенной поможет вам, и вы так или иначе там окажитесь.

Так или иначе я там не окажусь. Как и абсолютное большинство окружающих меня людей. И никакие affirmации тут не помогут. Те, что рвались, уже провались в лоно цивилизации без всяких affirmаций и давно успешно курсируют туда-сюда. У них крепкие клыки и шерсть дыбом. Чтобы любить себя, им совсем не обязательно себя уважать.

*

Все еще находясь во власти старых классических стереотипов, я предлагала своим студентам в качестве домашнего задания написать эссе «Увидеть Париж — и умереть». Но студенты не собирались «умирать». Кто-то из них даже успел побывать в Париже и остался недоволен. Очень дорогой и достаточно холодный город. Иные парижане часами наслаждаются одной-

единственной маленькой чашечкой кофе с круасаном за уютным столиком посреди улицы, где в метре от них проносятся машины. А парижанки? Они совсем не такие, как рисовалось в мечтах. Безликие, бесцветные, без тени косметики. Немало среди них и толстух. Если в толпе увидишь красивую, ухоженную девушку на высоких каблуках, считай — «наш человек».

*

Американка Луиза Хэй считает, что все наши болезни идут от затаенных обид. Человек прячет в себе обиду, и там, внутри, она обволакивается, подобно жемчужине, и растет, растет.

Недавно мне пришлось присутствовать при операции, когда из желудка пожилой женщины была извлечена опухоль величиной в детскую голову. Сколько же непоправимых обид нанесла этой женщине жизнь!

Наверное, я не мудра. Но я не могу любить себя, когда вижу нищих стариков и старух, роющихся в мусорных баках, или немых детей на каменных плитах с табличкой на груди «Мы уже три дня голодаем».

На улицах своего города я вижу орды великих стариков и старух, участников и детей войны, уныло толпящихся в торговых рядах с голодным блеском в глазах. Купить лишний кусок мяса или лишний лимон — для них уже роскошь...

*

Невозможно выстроить свой отдельный чистенький и благополучный мирок посреди окружающего роздрая, нищеты и цинизма. Когда я вижу сытые депутатские лица, играющие в свои бесконечные, значимые только для них самих, игры, я чувствую: пошлость достигает такой концентрации, что впору взвыть по-волчьи. Может, это и хорошо, что слабые не доживут до того момента, когда земля станет мертвой пустыней...

*

Порвалась цепь времен, о которой писал Поэт. На одном конце — торжествующая пошлость, освободившаяся мафия со всеми ее холуями и подхалуйниками, пьющими из хрустальных фужеров дармовое шампанское, а на другом — чья-то морщинистая рука с зажатой в ней пенсией-милостыней. На одном — чемоданчик, сыто изрыгающий из своих недр сотни долларов на очередном «шоппинге», а на другом — обезумевшая от нищеты мать, продающая за несколько тысяч гривен своего пятого, недавно рожденного ребенка.

А между этими двумя полюсами — пошлые газетные анекдотики попеременно с предсказаниями астрологов, вроде бы по звездам читающих судьбы землян. Оказывается, завтрашний день будет благоприятен для коммерческих сделок только до обеда. Звездное небо всю работу на ведущие коммерческие банки.

*

Миловидная женщина, работающая в государственной структуре, недавно пеняла по какому-то поводу своему коллеге-чиновнику:

— Послушайте, ну как же можно так не любить себя?

Чиновник что-то бормотал в ответ. Дескать, для любви просто времени не остается.

А ведь действительно мы себя не любим. Потому что не уважаем ни себя, ни свой народ, ни свою страну, ни землю, по которой ступаем.

«Мы» — это темное подсознание самого общества, толкающие его на путь ускоренного самоистребления.

Останутся человек и металл

Недавно у меня в гостях побывал кришнаит. Говорил о древних Ведах, согласно которым в конце периода Кали-Юга земля превратится в мертвую пустыню.

Останутся только металл и человек. Каждый глоток воды будет цениться как высшая драгоценность. Последняя решающая битва будет вестись за воду.

Человек к тому времени выродится до неузнаваемости — станет чудовищным и уродливым пигмеем. Его внешность станет зеркальным отражением разрушительных и пагубных страстей человечества.

*

Ведические предсказания о воде начинают сбываться. Бедный Северский Донец! Как ты все еще прекрасен, поэтичен и тих. Какое это неповторимое зрелище — трепещущие на ветру серебристые тополя, склоняющие свой лик к трепещущему зеркалу вод! За что тебя так наказали сытые самовлюбленные дяди, превратив твоё хрупкое трепещущее таинство в отстойник собственной мерзости...

Пока я бессильна бросить вызов этой мерзости, спасти тебя, а заодно и себя, оторвав от горла чьи-то хищные пальцы, ни любить, ни уважать себя я не в состоянии.

Не удивлюсь, если однажды узнаю, что объявлен аукцион на приобретение в частные руки речки Северский Донец. И поскольку теперь река эта чудовищно и почти безнадежно изгажена, возможна скидка.

*

Неужели это действительно свойство нашего духа, нашей ментальности — доводить любую, даже самую здравую идею до логического абсурда, до зелёной черты, когда теряется грань между реальностью и бредом.

*

Вы можете представить себе человеческий мир глазами просветленного животного? Эти огромные жующие челюсти и глаза, отражающие законную сытость убийцы и пожирателя «всех низших существ».

Себя человек вообразил существом высшей породы, которое без колебаний приносит в жертву всех остальных. Вот проклятие, висящее над всем человечеством!

— Они спят? — с нежностью в голосе интересуется она.

— Как младенцы! — с такой же нежностью отвечает он.

На рекламном ролике — спящие курочки. Они должны хорошо выспаться. Потому что завтра им отрежут головы. Мясо невыспавшейся курочки не будет таким нежным.

Страх — это болезнь. Страх — это смерть. Страх — тот ад, который мы носим в себе. Преступления, войны, атомное оружие — симптомы страха. Мы постоянно едим чужой страх, поедая мясо убитых нами животных. Поглощаем остатки биохимической реакции на ужас обреченного существа, ведомого на убой.

Некоторые племена индейцев до сих пор не употребляют в пищу мясо животного, умершего в страхе, чтобы ужас чужой смерти не проник в их тела.

*

Наша земля — созданный людьми ад для животных, своеобразный мир возмездия за их неведомые грехи в прошлых жизнях. Но такие миры возмездия существуют и для людей. Однажды разыгравшееся воображение нарисовало такой мир, где человеческие головы так же привычно выставляются на базарных лотках, как и у нас — коровьи или свиные, а свойства человеческого мяса и особенности его приготовления — привычный предмет обсуждения диетологов и кулинаров.

— Они спят? — с нежностью в голосе интересуется некое верховное существо женского рода.

— Как младенцы! — улыбается в ответ такое же существо мужского рода.

Это важно. Потому что мясо невыспавшегося человека не будет таким сочным и нежным, как хотелось бы.

*

Не помню имени этого человека, но его слова навсегда покорили меня много лет назад: «Животные — не бедные родственники и не братья наши меньшие. Это — иные народы, вместе с нами попавшие в одну сеть жизни и в одну сеть времени. Пленники земного великолепия и земных страданий».

Я не могу простить себе того греха, что мы творим с «иными народами». Я — участница этого великого коллективного преступления, потому мой личный грех не просто огромен. Он — неискупим. И не великую готовность примирения с собой, любви к себе отражают зеркала, когда я подхожу к ним. Они отражают, они точно фиксируют болезненные судороги этого мира. Мне не за что любить себя. *Mea culpa*. Моя вина.



*Сверхценная идея,
клокочущая в воспаленном
мозгу политика, способна
превратить целую страну
в палату 6*



**От большой политики –
к большой
психиатрии**

Во власти сверхценной идеи

Где та грань, где оканчивается большая политика и начинается большая психиатрия? Ищите ее в головах наших власть предержащих, где воспаленная гордыня, мания величия или мания преследования, боязнь открытого или закрытого пространства, комплекс неполноценности или превосходства, где накал темной и мертвой ненависти достигают той критической отметки, за которой — необратимый процесс затмения разума и утраты чувства реальности.

Политическая шизофрения опасна не столько для самих ее «носителей», сколь для народа, ими руководимого. Целый народ становится заложником темного Случая, печальной ошибки природы, не дотянувшей в чьем-то мозгу до необходимой отметки самодостаточности и потому застрявшей на идее «одной, но пламенной страсти».

Так начинался фашизм в Германии, так происходил в России расстрел парламентаризма из пушек по Белому Дому, так начиналась война в Чечне. Так украинские «державники», страдающие манией преследования со стороны северо-восточного соседа, строят свои отношения с собственным народом.

Скелет из шкафа

На этот раз речь шла не об индивидуальных скелетах в личном шкафу. Нет, то был один на всех Скелет из государственного шкафа, который предлагался украинскому народу в качестве новой религиозной Доктрины.

Каждое утро, ровно в шесть, я слышала щелчок открываемого шкафа и уже знакомую возню, предшествующую извлечению драгоценных останков.

Ровно в шесть утра под звуки ритуальной музыкально-патриотической заставки украинского радио на голову мне в очередной раз обрушивался Скелет, и я чувствовала, что задыхаюсь в его неизбежных, как смерть, объятиях.

Вера в загробную жизнь — вопрос интимный, как, впрочем, и всякая вера. С исчезновением всех бывших запретов мы могли верить во что угодно: в Христа, Будду или Сатану, в закон всемирной инкарнации. Впрочем, можно было вообще ни во что не верить — ни в Бога, ни в черта. Единственное, во что отныне и довеку предписывала свято верить украинская идеология девяностых годов, так это в «национальную идею» и наше всеобщее коллективное возрождение.

«Возрождаться» предлагалось на установленный тогда прожиточный минимум, позволявший трижды в месяц сносно пообедать. Все остальное время возрождаться следовало на голодный желудок.

*

Хочущие над коммунистами демократы ставили перед вконец замордованным народом патриотическую дилемму: Свобода или желудок! А ведь еще вчера обещали райскую суверенную жизнь, устраивали массовые гипнотические сеансы в масштабах целой республики. (Куда Кашпировскому до таких масштабов!). В сказочном мареве погруженное в транс население уже видело светлые пасторали будущего — бело-розового, как молодое сало, с золотыми вкраплениями — специально от гетьмана Полуботка.

А вот уже и нет ничего. Исчезли фантастические молочные реки и кисельные берега. Вместо обещанных Президентом знаменитых пять «Д» (добробута и прочего) — совсем другие «Д» мрачно скалятся: «доходим, донашиваем, доедаем, доживаем».

*

На этом фоне вчерашние партийные номенклатурщики республиканского разлива, а нынче самовыдвиженцы на роль национальных мессий, срочно гнали народ под новые флаги. Они предлагали ему новую веру, теперь уже в масштабах национального хутора, но с большевистской непримиримостью к любому инакомыслию.

Понимая, что всякая вера не нуждается в доказательствах, они и не обременяли себя доказательствами. Никаких внятных программ вытаскивания страны из пропасти. Никаких социальных реформ, способных превратить ошалевшее от нищеты, тогда еще пятидесятиmillionное население Украины в уважающее себя гражданское сообщество.

Всего-то и делов — порываться в старом шкафу, вытащить на свет божий антропологические останки, обряженные в шаровары и ленточки. Вот тебе — икона. Бей поклоны, обряжайся и возрождайся!

*

Но любовь, как известно, насилия не выносит. Героиня любимого мною романа довольно точно выразила эту мысль: «Человек, который питается исключительно пряностями и камамбером, теряет в жизни очень многое».

Если честно, я имела довольно смутное представление о камамбере. Но эта непрестанная фольклорная агрессия, которой меня беспардонно и без передыху пытались осчастливить, вызывала поначалу смутный, а потом уже явный протест. Я чувствовала явные признаки несварения желудка от этого нескончаемого национал-шароварного «камамбера».

Как любое нормальное существо, я не хотела этого принудительного кормления, к тому же с явным русофобским душком.

Сколько натужных криков о независимости! Но от чего или от кого мы так уж независимы? — спрашивала я у себя. От бедной, тоже поруганной и бьющейся в судорогах России, с которой мы генетически одного корня? Мы независимы от собственной истории? От себя самих?

Коммунистические лозунги были хотя бы внешне романтичны. В лозунгах украинского национализма обмануться было невозможно. Они примитивны, душны, убого-провинциальны и дышат безнадёжной и смертельно скучной злобой.

Необходимо-нужно найти врага, чтобы обвинить его в собственной несостоятельности. И враг рядом: вот он, проклятый москаль-поработитель!

«Оставьте мертвое мертвым»

Советовал Христос своим ученикам. Он вовсе не был жестоким существом. Он призывал не путать грешное с праведным.

Праведно — помнить и любить свое историческое прошлое, уважать его. Неправедно — спекулировать им в своих убогих и мелочных целях, обряжать мертвое в ленточки и выдавать его за живое.

Той Украины, что запечатлена на картинах Тараса Шевченко и в произведениях молодого Гоголя, действительно уже давно нет. Давно и безнадежно нет расписных мазанок и «садків вишневих коло хати», и «молодиць в плахтах», и всего того, что выставлял на стол Тарас Бульба в честь возвращения своих сынов, тоже — увы — нет.

А есть то, что есть: замызганные, по колено в грязи вымирающие села. Измученные лица женщин в очереди за сельмаговским печеньем и страшные в своей беспомощности глаза детей, умирающих от последствий Чернобыльской радиации.

Вот разве что образ гоголевских мертвецов, поднимающихся из своих могил с криками: «Душно мне, душно!», по-прежнему актуален. Вы действительно хотите спасти эту бедную поруганную землю? Тогда к делу, господа-панове!

Воистину уникальный шанс: впервые в обозримой истории Украины стать независимым государством. Кажется, сам Бог вручил стране этот Шанс — просто взял да и подарил. Так воспользуйтесь им! Берите и владейте!

С чего же обычно начинают в таком случае после благодарственной молитвы? Обыкновенно, с дома начинают. С фундамента. Потом дом начинает обустраивать — чтобы сытно, уютно, чисто и по Правде в нем жилось.

Вы можете представить себе народ, который начинает строить свое государство с того, что достает из шкафа скелет, предназначенный для антропологических целей и, разукрасив его лентами, дергает за ниточки, заставляя выполнять ритуальный танец? Простите, но это уже какое-то явное извращение ума и психики.

Газетные страсти

Обо всем этом я написала в одной из своих газетных статей, даже не подозревая о той бурной реакции, которую она вызовет.

Что тут началось! На редакцию обрушился поток писем — ругательных, проклинающих, одобрительных, язвительных, благодарных. Газета затронула главное «бобо» наших национал-патриотов, избравших весьма выгодную и непыльную профессию — «любить Украину».

Среди новообращенных, попавших на удочку национал-русофобских истеричных кампаний, были те, кто называли автора статьи

«пособницей Москвы», «манкуртом и янычаром» и даже проклятым «имперским покручем».

Но при этом не иссякал поток других писем, где газету благодарили за смелость и прямоту, за «глоток свежего воздуха» и за то, что «наши мнения совпали».

Национальная тема и все связанное с ней только-только набирало свои обороты, которые бешено раскручивала на развалинах империи единая, хорошо финансируемая пропагандистская машина. Стране еще предстояло пройти свой Крестный путь больших испытаний и больших разочарований.

Поток откликов не иссякал. Полтора месяца газета готовила полосы читательских писем «за» и «против» мнения автора статьи «Скелет из шкафа».

Однако подошло время самой газете расставить точки над «i» и высказать свою позицию в этой спонтанно вспыхнувшей страстной дискуссии. Сидя в редакторском кабинете, я настаивала на этом, полагая, что иное поведение газеты в подобной ситуации выглядело бы странно и двусмысленно.

Но тот, от кого зависело принятие окончательного решения, только вздохнул и виновато пожал плечами:

— Столько звонков. Идут уже прямые угрозы... Я ведь не смогу физически защитить тебя в случае чего.

— Обо мне не беспокойся! — горячо возразила я и тут же осеклась. Вопрос, судя по всему, был решен заранее, и вряд ли проблема моей личной безопасности сыграла здесь сколь-нибудь заметную роль.

Редакция не хотела «переть» на «национальный рожон». Мало ли чем это могло обернуться! Смутная тема, непредсказуемые последствия... Побеждала привычная осторожность... Разговор о национальной идее так и оборвался на полуслове и полу-вздохе.

Русский язык как угроза насилия и разврата

Возрождение на голодный желудок шло туго. То ли из чувства соперничества с «первой столицей», то ли по откровенной глупости правящие «самостийники» вначале положили на лопатки, а затем и пустили под нож практически весь бесценный индустриальный потенциал Харькова, который бы мог нести стране воистину золотые яйца.

Пир хищников

...Вещество Истории до поры скрывает рожденные в ее недрах сущности. Но происходит взрыв — и формы будто вырастают из-под земли. Когда рядом, будто по волшебству, возникали буквально из ничего трехэтажные виллы с бассейнами, кортами, зимним садом, бронированными гаражами и злыми овчарками, стерегущими этот нездешний уют, становится ясно: вот оно! То самое, ради чего все, собственно, и затевалось!

Именно ради этого зазвучало в свое время надрывное — «перестройка». Ради этого наши записные «ниспровергатели основ» выискивали метафору поубийственнее, призывая поскорее покончить с проклятым тоталитарным прошлым, чтобы, наконец, увидеть свет в конце туннеля.

Сколько красивых слов, громогласных призывов, бушующих толп, манифестаций, всенародных референдумов, выборов и пере-выборов — и все ради чего? Ради одного-единственного — чьей-то трехэтажной виллы с сауной, зеркальными потолками и унитазами из драгоценного камня для бывшего партчиновника, а ныне — нового «хозяина жизни».

Вы возразите, и вполне резонно: ну почему же все ради одной только «задрипанной» отечественной виллы? Кое-кто приобрел весьма недурственную собственность в Ницце или Каннах, к примеру. Иные любители природы прикупили в родных пенатах пару-тройку конных заводов, не говоря уже о зверофермах в окрестностях Харькова.

Ну и потом на очереди — наши флагманы отечественной индустрии, вдруг оказавшиеся в роли бесхозных и нищих банкротов. Это — не говоря о весьма крупных городских объектах соцкультбыта.

Пока «толпы идиотов» митинговали, опьяненные лозунгами свободы и прав человека, наши совбонзы занимались делами поважнее. Учув своим безошибочным нюхом направление «ветра перемен», они в срочном порядке разваливали страну, ломая хребет высокотехнологичному индустриальному комплексу. Штурмом брали Цитадель Собственности, не жалея живота своего, не говоря уже о печени, на закрытых банкетах и узких междусобойчиках на тех же новоиспеченных отечественных вилах.

Захлебываясь от жадности, стая матерых постсоветских хищников рвала на части бывшее общегосударственное добро. Как заметил один наблюдатель, речь шла даже не о дележке конкретных предприятий. Рвался на части некий ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Сценарий уничтожения госпредприятия был иезуитски прост. В организм с единым технологическим комплексом внедрялось некое новообразование под именем Акционерного общества закрытого типа. Подобно раковой опухоли оно начинало завоевание территории — перекачивало сверхнормативную прибыль, затем захватывало ключевые посты — механизмы перераспределения собственности.

Разваливая организм изнутри, посеяв в нем вполне управляемый хаос, новообразование неуклонно вело его к гибели банкротства, когда начиналась ускоренная распродажа его последней цитадели — материалов, станков, оборудования. То была уже агония, следом за которой следовала скупка обесцененных обломков и окончательная смерть.

По этому сценарию уничтожалось некогда крупнейшее предприятие Харькова, общесоюзная гордость — государственный завод «Южкабель». Механизм развала и прибрания к частным рукам был все тот же. Вначале завод становится как бы арендным предприятием, потом — закрытым акционерным обществом «Южкабельмет» во главе с его президентом.

У президента — дача с зеркальными потолками, сауной и бассейном, связью-автоматикой и двухэтажным, облицованным плиткой гаражом. Но это — подробности, милые, безобидные частности. Из госпредприятия выкачивалась вся кровь. Настолько, что электротехнические предприятия самого Харькова оставались без кабельной продукции и вынуждены были закупать ее в России.

Затем, по сценарию, наступал исход: скупка львиной доли акций представителями семейного клана президента и процесс освобождения от «лишних» акционеров.

Оболваненные массовой пропагандой, замороженные заведомо-ложными посулами, «кролики» добровольно шли в пасть к Удаву, безропотно отдавая ему тот самый Исторический Результат семи десятилетий завоеваний социализма.

Индустриальные гиганты Слобожанщины лежали в руинах. Научный потенциал Харькова нещадно уничтожался и разрывывался. Но не это заботило правящих «самостійників». Подобно упрямому насекомому, под национал-патриотическими головными уборами зашевелилось непреклонное намерение — срочно обратить население края и особенно — «москальско-жидівського» Харькова в свою веру, вынудив всех поголовно изъясняться исключительно «державною мовою» и при этом с галицким акцентом.

Ослушников — карать

Поначалу и без того замордованный Харьков пробовал угрюмо огрызаться в ответ на принудительный языковой ликбез. Дескать, не учите жить, лучше помогите материально.

Но не тут-то было! Когда речь идет о национальной Идее, наши ряженные патриоты, оседлавшие ключевые идеологические посты, как правило, о цене не торгуются. Всегда готовы чужой грудью встать и народными костями лечь ради удовлетворения собственной «амбітності».

Одержав победу в конституционной схватке с русским языком, как возможным вторым государственным, чиновные патриоты объявили крестовый поход за его искоренение, как символа тоталитарного прошлого. На наши многострадальные головы обрушилась вся мощь печатных постановлений.

Признаюсь, некоторые «документы эпохи» вызывали бы, при иных обстоятельствах, озабоченность сугубо медицинского свойства. Но вот беда: «лечить» их авторов было, судя по всему, некому.

Наоборот, это они с чувством глубокой непререкаемости и абсолютной внутренней непогрешимости собирались лечить всем нам мозги.

Оценивая языковую ситуацию в стране, как ненормальную, авторы одного из документов предлагали государству Украина переходить в решительное наступление за вытеснение «негосударственного» изо всех сфер жизни.

Как истинные русофобы, они таким образом пытались «табуировать» даже само слово «русский», дабы у них от одного только названия не разлилась желчь по всему телу.

«...Всем государственным и частным телекомпаниям срочно переходить на украино-язычный режим работы. Ослушников — карать, вплоть до лишения лицензии.

...Тотально перешерстить всех редакторов, комментаторов, дикторов на предмет владения государственным языком, не владеющих — увольнять.

Весь иностранный кинопрокат срочно перевести на украинский язык. Российские кинофильмы в обязательном порядке снабжать сурдо-переводом, в крайнем случае, украинскими титрами.

Тарифы на распространение печатных изданий на русском уменьшить в сто раз, на украинском — увеличить

в сто раз. Ввести строгую цензуру на употребление негосударственного языка в стенах официальных учреждений. Рассмотреть возможность введения денежных штрафов».

И, наконец, вот — он, апофеоз документа эпохи позднего возрождения Украины, стремительно переходящего в его полный декаданс:

— Считать вещание и печатные издания на русском языке — явлением, представляющем для национальной безопасности угрозу — не меньшую, чем пропаганда насилия и разврата.

Нет, это не анекдот, не «шутка юмора» или формуляр какого-нибудь Голопупенка, который строчит свои записки из сумасшедшего дома. Вполне реальный документ, принятый в результате совместной многочасовой сижы за круглым столом госчиновников из Министерства информации, Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания вкупе с одиозной «Просвітою».

Ненависть как часть государственной программы

Не исключено, что в процессе принятия «документа эпохи» те же «просвітяни» требовали усилить главный его смысловой нерв. Например, не штрафовать за употребление русского языка, а уже сразу привлекать к уголовной ответственности и сажать за решетку. А и то — за насилие и разврат в старые времена и «вышку» можно было хлопотать.

Когда объектом ненависти становится язык, это уже — клиника. Как много здесь «чистых случаев»? А сколько корыстных «симуляций»?

Украинский национализм всегда был исторически последователен в своей генетической ненависти ко всему русскому. «Генезис» некоторых особо «ненавидящих», возможно, питают семейные предания о старинном особняке в солнечном Львове после нападения Германии на Союз, где восторженные аплодисменты принимавших Акт провозглашения Украинской Державы покрывались мощными «Хайль!».

Предания хранят память о том, как в тот день с трибуны звучала литая бронза слов: «Під проводом вождя Адольфа Гітлера ... проти москальської окупації ... за новий лад у цілому світі»...

...Нет, все-таки жив Курилка! То бишь харьковский обербургомистр Крамаренко, который в марте сорок второго отчитывал районных бургомистров за то, в некоторых заведениях города и да-

же в управах иногда еще можно слышать русскую речь. Впрочем, даже у обербургомистра из фашистской управы не хватило ума считать русский язык синонимом насилия и разврата.

Потребовать сатисфакции

Да, все мы отчасти христиане. Но не настолько же, чтобы в ответ на пощечину подставлять вторую щеку. Именно как своеобразное требование «сатисфакции» в ответ на непристойный выпад киевского «круглого стола» можно было расценить заседание харьковского «круглого стола», за которым собрались политики, ученые, правоведы, ветераны войны и вооруженных сил.

Я хорошо запомнила эту встречу и тот дух негодования и протеста, который владел ее участниками.

Они говорили о том, что не возрождение украинской культуры происходит сегодня, а вытаскивание русской. И это не только путь к конфронтации, но и к уничтожению фундаментальной науки, образования, технологий, экономики в целом.

С трибуны звучали гневные филиппики в адрес идеологов украинского национализма, несовместимого ни со свободой, ни с демократией.

А еще говорилось о том, что государство, которое не уважает язык своих сограждан, в основе своей преступно...

Меня тогда не покидало горькое чувство. Ну, вот собрались вместе нормальные, здравомыслящие люди, поговорили. Но кто их услышит? Кто захочет услышать? Ситуация отчасти напомнила Булгаковский особнячок «Грибоедово», обитатели которого, узнав о гибели собрата-литератора, вознамерились отправить коллективную телеграмму. Но какую телеграмму и куда? Кажется, и теперь, как и тогда, не имело никакого смысла «загружать телеграф».

Пятнадцать лет спустя

Очередной большой мордобой, что случился в стенах украинского парламента образца 2012 года в связи с назревшей, наконец, необходимостью придания русскому языку статуса, если не второго государственного, то хотя бы регионального, показал: жизнь ничему не учит наших профессиональных национал-радетелей.

Языковая проблема продолжает служить привычной разменной монетой в преступной и корыстной игре политических страстей. И особенно — в период предвыборных кампаний, когда несчастному народу в очередной раз предлагают решать проблему трудоустройства упырей-депутатов, от одного вида которых возникает дрожь безграничной усталости и отвращения.

Как и двадцать, как и пятнадцать лет назад, продолжается тотальная демонстрация политической шизофрении, как некая внутренняя компенсация за окончательную и безграничную импотенцию власти во всех без исключения сферах государственного, социокультурного и экономического строительства.

Ни прошлое, ни настоящее их ничему не научило. Глубоко вросшим всеми своими корнями во властные кресла чиновничьим задницам, ослепленным своей душевной местечковой ненавистью (или искусно на ней играющим) — никогда не стать европейцами. Их мечта — глубоко нутреная, национальная: «істи сало з салом, на салі спати, салом укриватися, набрати сала та й втекти».

Многие, набравшись «сала» под самую завязку, уже давно «втекли», превратив страну в полигон для своих ненасытных игр. Их давно следовало выкорчевывать из отечественной почвы. Но некому это делать.

Продолжается чудовищный воровской бал под истерические кликушеские всхлипы о необходимости защиты украинского языка от грядущей агрессии языка русского.

*

Большая политика переходит в большую психиатрию, когда искусственно подогреваемая ненависть становится частью государственной идеологии. Язык сам по себе не может быть объектом ненависти — разве они этого не понимают?

Нельзя насильственно «отлучать» от языка, как отлучают от груди, чтобы «прилучить к другому». Язык нельзя «вводить», даже если он записан как государственный и «единственно правильный». Иначе из средства общения он превращается в символ удушения и нравственного мракобесия.

Воистину, украинский язык сегодня нужно защищать от его истеричных радетелей. В противном случае, с их «нележкой руки», он будет ассоциироваться в сознании «русскоязычных» жителей страны со всей мерзостью нашего времени — разрухой в умах и душах,

циничной ложью, жестокой глухотой и полной внутренней деградацией власть предержащих.

Сеансы «фигурной резьбы по мозгам»

А ведь я хорошо запомнила тот период, когда начались эти спущенные сверху сеансы «фигурной резьбы по мозгам».

Решив для себя, какая из украинских «мов» более «настоящая» и более «патриотичная», чиновные задницы из соответствующих идеологических служб обрушили на наши головы всю мощь «західнянського» диалекта, — как единственно возможную языковую норму.

Параноидальная установка находила свое реальное воплощение не только в «официальной» речи телеведущих, но и в печатной продукции, где то и дело я натыкалась на непривычные углы таких слов, как «парлямент», «колоніяльний», «соціалістичний», а также «взаміт» и даже «харамаркав».

Жены американских нефтяных магнатов и французские аристократы из импортных сериалов изъяснялись исключительно «галицькою говіркою». Вместо привычного слуху «радісті», «самотності», они произносили твердое — «радосты», «самотносты». И выходцы из Техаса, и обитатели Туманного Альбиона отдавали демонстративное предпочтение австро-угорскому наречию, употребляя вместо привычного мягкого классического «що» — непривычное «стчо».

Реклама постоянно демонстрировала взрывное «г» во всех этих «гумках без цукру», а меня не оставляло чувство, будто чьи-то чужие пальцы бесцеремонно шарят в моем сознании, производя в нем какие-то принудительные манипуляции.

*

Насильственное лишение всех и всяческих прав уже давно стало непременным условием нашего бытия. Однако есть право, которого лишать нельзя. Право говорить и думать на привычном для тебя языке.

Любовь не нуждается в демонстрациях

С украинским языком у меня с детства установилась особая внутренняя связь. Мама любила молодого Сосюру и часто декламировала его «Дівчину на розі»:

«Я піду до дівчини на розі,
Що за три квартали звідсіля...
Вже вона в міліції два роки
На посту стоїть біля ЦК,
В неї очі сині та глибокі.
Вся вона і ніжна, і струнка.
Мов калина росяна у маї,
Мов в гаю троянда молода,
І за що вона мене кохає,
Я ніяк не можу розгадати...».

...Благодарный восторг от встречи с «Интермеццо» Михаила Коцюбинского я пронесла через всю жизнь:

«Мене втомили люди. Мені докучило бути заїздом, де вічно товчуться оті створіння, кричать, мегушаться і сміять».

Разве можно было лучше сказать о том чувстве, которое потом преследовало меня всю жизнь?

Леся Украинка одарила меня сложным ароматом лета — утонченным, ярким, единственным, как сама жизнь. Я потом долго искала этот аромат, сидя посреди луговых трав, бродя среди сосен, заходя в парфюмерные лавки.

Все было тщетно. То был аромат счастья — его невозможно было ни воссоздать, не повторить.

*

Долгие годы работая в газете, которая выходила на украинском языке, я никогда не испытывала трудностей с написанием текстов. Но бывали тексты особого рода, когда поток сознания необходимо было зафиксировать одномоментно, на одном дыхании. В таких случаях я писала по-русски. Срабатывал тайный внутренний механизм, когда находились единственно нужные слова, а все камешки, как в старой игре из детства, выстраивались в нужный узор.

Дело в том, что я все-таки продолжала думать по-русски, и с этим уже ничего нельзя было поделать.

Украинский язык был тоже родным, но вторым родным. С ним оставалась глубокая внутренняя связь, естественная, как дыхание. Она не нуждалась ни в подтверждениях, ни, тем более, в демонстрациях.

В период агрессивно спущенной сверху принудительной украинизации я всерьез побаивалась, что эта внутренняя связь исчезнет. Можно ли заставить возненавидеть язык? Да, можно. Если превратить его из средства общения в орудие перевоспитания. Правда, для этого нужно очень постараться. Они старались... К счастью, у них, как всегда, ничего не вышло.

Каркающий соловейко

Среди сонма «прошлых» лиц есть, пожалуй, одно, о котором мне никогда не хотелось вспоминать. Лицо «бабаївського соловейка» — Олексы Марченко.

Я знала его еще молодым, но уже и тогда мне чудилось за стеклами этих очков что-то ускользающе-двойственное, почти зловещее и откровенно отталкивающее. Возможно, этот «соловейко» и рифмовал когда-то неплохие стихи. Я их не читала. Он был мне по-человечески неинтересен.

Дуля из кармана

Есть такая порода людей. Они долго носят свою тайную дулю в кармане, слегка показывая ее в узком неопасном кругу. Когда опасность исчезает, они достают свою дулю и с наслаждением тычут ее под нос всем кому ни попадя. Еще бы не облегчение, когда долго сдерживаемая ненависть может, наконец, вырваться наружу и даже диктовать миру свои условия.

Бывало, кто-нибудь в непринужденной беседе с Олексой вдруг позволяет себе неожиданную вольность, переходя с украинского на русское наречие — что тут начинается! Настоящая буря протеста и откровенного негодования. Как же это он так посмел? Вроде бы изъяснялись на «людській мові».

— Знову «закакал», знову «заштокал»! — возмущенно брызгал слюной «бабаївський соловейко». — Ну, як накажеш боротися з такими несвідомими? Московщина виявилась страшнішою за більшовизм!

Когда пришел его звездный час и Харьков захлестнула митинговая стихия, Олекса чувствовал себя как рыба в воде. Стоя на трибуне на фоне гранитного Ленина, не хуже гранитного, простирает правую руку вперед, указуя толпе путь в «незалежність». Загипнотизированная толпа следом за оратором нестройно подхватывала: «Ганьба!».

В такие минуты Олекса, наверное, чувствовал себя настоящим вождем, на которого возложена особая Миссия — создать новый Город. Казалось, сама судьба вела его этим Путем. Направление ораторской длани совпадало со зданием бывшего обкома КПСС, где отныне Олексе и суждено было надолго осесть в качестве начальника всея харьковской культуры.

Фанатический нивелиратор

Бедная харьковская культура! Бывали в твоей истории счастливые моменты, когда бы тебя не насиловали, а наоборот — оставили в покое и дали возможность самостоятельно развиваться? Увы нам, увы! Тебя вечно олицетворяли какие-то Комиссаровы, Гадюкины, Тупицыны, Сероштаны. И вот — в довершение руководящего букета — этот непримиримый «соловейко» в зловещих окулярах.

Пусть не попрекнут меня в литературщине, но совпадение здесь стопроцентное, почти мистическое. Этот бывший начальник харьковской культуры — был почти точь-в-точь Угрюм-Бурчевым, только национального образца. Тот замысливал изничтожить реку, свалив в нее горы мусора, оставшиеся после города Глуново. Этот пошел дальше — возжелал по собственному хотению переделать огромный мегаполис, заставив его «говорить, думать и чувствовать по-украински».

Оба они, вознамерясь идти супротив самой природы, были обязаны для начала сбросить со своих плечей всякое «иго действительности», а уже потом рисовать в уме предприятия самые грандиозные. Далее я просто вынуждена цитировать, ибо лучше Классика эту мысль выразить невозможно. Как и его далекий предшественник, Олекса «принадлежал к числу самых фанатических нивелираторов. Начертавши прямую линию, он замысливал втиснуть в нее видимый и невидимый мир с таким непременным расчетом, чтоб нельзя было повернуться ни взад, ни вперед, ни направо, ни налево».

По счастливому для себя (и несчастливому для нас) совпадению Олекса был по своей основной профессии школьным учителем. Поэтому «виртуозность прямолинейности засела, точно ивовый кол,

в его скорбной голове». Потому, наверное, еще до своего воцарения в кресле начальника культуры, он «составил в своей голове целый систематизированный бред, в котором до последней мелочи были урегулированы все подробности будущего устройства этой злощастной муниципии».

Я почти уверена, что ранее упомянутый мною эпохальный документ середины девяностых, где русский язык приравнен к угрозе насилия и разврата, а значит прямой угрозе национальной безопасности, был составлен не без участия нашего «бабаївського соловейка». В состоянии неконтролируемого раздражения он легко переходил от поэтического «тьохканья» к угрожающему вороньему карканью.

В своей решимости сделать Харьков «украинским» бывший школьный учитель был, наверное, готов на все, вплоть до лишения горожан завтраков, обедов и ужинов, битья их линейкой по рукам, даже употребления специальных розг для ослушников и «несознательных». «Національно свідомих» он, в свою очередь, всячески поощрял.

«Несознательная» непредсказуемость Харькова доводила его до скрежета зубного. Как же так! При Советской власти здесь выходили три областных и одна городская газета, и только «Красное знамя» — печаталось на русском языке. Единственное издательство «Прапор» выпускало свою продукцию, в подавляющем своем большинстве, на «національній мові». Попасть в издательский план русскоязычному автору было так же непросто, как верблюду пролезть в игольное ушко.

Но вот парадокс и полное безобразие! С установлением украинской независимости и утверждением украинского языка в качестве единственного государственного, ситуация поменялась на прямо противоположную. Все местные газеты почти незамедлительно перешли на русский язык, кроме одной, бывшей «Соціалістичної Харківщини», теперь названной для благозвучия — «Слобідський край».

Новая власть выделяла приличные средства на ее содержание. Но газету все равно не покупали и не читали по причине ее духовной замшелости и лакейской угодливости по отношению к тем, из чьих рук она ела. Да и украинский журнал «Березіль» для Харькова, возмущался Олекса, «як п'яте колесо до воза».

Сама природа всех этих языковых «парадоксов» оставалась недоступной сознанию нашего «фанатического нивелиратора». Поначалу он все эти «безобразия» пытался списывать на происки Москвы.

Не существуй пресловутой рыночной стихии, будь его личная воля, он непременно обязал бы все существующие печатные издания под страхом закрытия переходить на «державну мову». Но для этого нужно было возвращаться в проклятый социализм и переводить все издания на государственную дотацию.

Попытка идти «супротив природы» и заставить город двигаться по начертанной для него прямой линии увенчалась полным крахом. Река жизни размывала и унесла прочь сооруженную для нее уродливую плотину. Город продолжал говорить и читать на том языке, который был ему удобнее и ближе. Он думал и чувствовал так, как считал нужным. И с этим ничего нельзя было поделать.

В очереди за субсидией

Двадцатого числа весеннего месяца марта, нетвердой походкой пробираясь по обледеневшим лужам в старом пальтишке, подбитом северо-восточным ветром, я подходила к заветным серым ступеням, втайне надеясь увидеть их пустынными. Было шесть утра, однако надежда оказалась призрачной — я была уже пятьдесят седьмой в том списке, который начали благоразумно составлять еще в четыре утра. До открытия дверей, за которыми начал функционировать отдел субсидий, оставалось еще много времени, но список желающих облегчить свое квартирное бремя рос и разбухал на глазах. Женщина в оленьем капоре записывала на потертой бумажке уже восьмидесятые и девяностые номера, благоразумно предупреждая, что не попавшим в первые сороковые надеяться сегодня не на что.

Коллективное стояние на холодном ветру у закрытых дверей настраивало на политические разговоры. Пожилая мать дипломированной безработной пролетарки умственного труда, принимавшей участие в мартовском митинге левых сил, что проходил под лозунгом «За Союз и человеческое достоинство», делилась впечатлениями дочери и все повторяла:

— У нас один выход — голосовать за коммунистов.

Стоявший рядом мужчина в заячьей шапке поддерживал ее, уточняя, что голосовать он намерен «за обновленный Союз и за обновленных коммунистов».

— Старые партчинуши предали нас, — говорил он, — бросили народ в этот омут, а сейчас в борьбу вступают новые, настоящие коммунисты — те, которые не предавали.

Сорокалетняя белокурая женщина с обиженным лицом раздраженно отворачивалась от участников импровизированного митинга, произнося в пространство: «Никому не верю».

— Но ведь нельзя же так, ни во что не верить, — увещевал ее мужчина, — так мы никогда из ямы не выберемся.

— Да, не верю, — повторяла потерянно и упрямо блондинка, — вы вспомните, с какими лозунгами шел Президент к власти: «Порядок и порядочность». А где он, этот порядок, где порядочность?

— Разве думала, что всю жизнь, честно проработав на государство, окажусь нищенкой с протянутой рукой, — заговорила пожилая дама под номером тридцать пять. — Эти субсидии, за которыми мы стоим, я думаю, не просто подачка, это еще и ловушка. Поговаривают, за них государство еще заставит нас расплачиваться...

...Ближе к перерыву, к двенадцати часам, в заветную дверь отдела субсидий вошла восемнадцатая посетительница. Женщины, занявшие глухую оборону, решили не отходить от дверей даже во время перерыва. Раздосадованная уборщица с мокрой тряпкой зывала к ним: «И вам ног не жалко, вы же мне тут, на проходе, мешаете, посидели бы где-нибудь». Но женщины бодро отвечали, что ног своих им не жалко и что, спасибо, они постоят. Многие втайне надеялись, что по списку явятся не все и что сегодня им удастся прорваться. Некоторые даже высказывали крамольную мысль — составить новые списки из тех, кто стоит, а не разбрелся по домам и базарам, чтобы «явиться — не запылиться» к нужному часу. Однако сторонники «святости утренних списков» были против подобного самоуправства. И время вяло потекло к окончанию перерыва.

...В два часа дня жэковские коридоры напоминали знаменитую Ходынку. Образовались сразу четыре разных очереди — к начальнику, в бухгалтерию, в отдел субсидий и к паспортистке. Сталкиваясь и продираясь к цели, эти потоки образовывали душный водоворот тел. Вспыхивали глаза, энергично работали локти, была слышна перебранка. Спустя час оказалось, что начальник не принимает в свои приемные часы и вообще неизвестно, где он.

Растерянная секретарша старалась не высовываться за дверь, не зная, что отвечать раздраженной толпе. Кто-то пустил слух, что начальник появится только после пяти, когда отдел субсидий уже закроют. Инициативная группа во главе с дамой, на руке у которой был выведен чернилом порядковый номер восемьдесят семь, решила составлять списки на завтра. Было решено, что первые номера должны собраться у дверей ровно в три утра. Добродушный

инвалид с одним глазом, прослышав про новый список, посоветовал женщинам вообще не уходить домой, а дежурить у дверей всю ночь, греясь где-нибудь поблизости у костра.

Наконец, спустя еще час, толпа радостно вздрогнула: начальник появился! Взметнулись руки со справками, под напором тел распахнулись двери в приемную, одна женщина затеяла ожесточенную перепалку с другой, умудрившейся проскочить в кабинет у нее под носом.

А время неумолимо несло к пяти. Наиболее стойким, не отходившим от заветной двери, наконец, после шестичасового стояния, улыбнулась надежда: многие из записавшихся не явились. Измученные участники стихийно возникшей живой очереди продолжали надеяться на чудо.

На часах было уже без двадцати пять, приближалась очередь пятьдесят четвертого, инженера лет сорока пяти с потертым и печальным лицом. На замечание женщин, что ему, кажется, сегодня повезет, инженер возражал, что совсем наоборот и что это стыд и позор — стоять в подобных очередях и просить у государства подачку, а не самому зарабатывать себе на жизнь. Одна энергичная женщина возразила на это, что стыдиться тут нечему и пусть государство стыдится, посылая своих граждан на многочасовые унижения. Но инженер повторял, что все равно ему стыдно: он не сумел приспособиться и потому чувствует себя ничтожеством.

...Через пятнадцать минут последний посетитель вышел из отдела субсидий с напряженным и красным лицом, и было объявлено, что прием окончен. Женщины утрюмо поплелись к выходу, чтобы завтра постараться успеть занять глухую оборону к трем утра...

Жертва — палач

История несостоявшегося развода

Я решила с ним развестись. По мирному, без скандалов. Было очевидно, что наш союз обречен. В этом убеждал каждый совместно прожитый день и год.

Беда в том, что мы не уважаем друг друга. И этому уже ничем не помочь. Сколько раз, бывало, наталкиваясь на мертвящее равнодушие своего партнера, помноженное на истерическую самовлюбленность, претенциозный примитивизм с его комплексом неполноценности, откровенную жестокость, лживость и жадность, уговаривала себя, что это еще не конец и будущее отношений возможно.

Но все иллюзии терпели сокрушительный крах. Этот союз был вечной игрой в одни ворота, улицей с односторонним движением. Бесконечными ставками на понижение. Воистину странный тандем, когда тебя в упор не желают видеть, однако постоянно требуют все новых и новых доказательств любви и безусловной унижительной покорности.

Был момент, когда я впервые сказала себе: «Довольно! Государство — это я». И мне стало легче. Но мой визави почему-то уверен, что государство — это он. Хотя на самом деле никакого государства нет. Только внешние атрибуты, за которыми скрывается злокозненный монстр, бесцеремонно навязывающий мне одну и ту же игру: жертва — палач. Он почему-то вообразил себя маркизом де Садом, полагая, что мне нравится роль жертвы. Но я принципиально против мазохизма в такого рода отношениях. В конце концов, подобные предпочтения — это уже область чистой психиатрии.

Теперь я точно знаю определение этому Спруту — Похититель Радости. Он вечно маячит между мною и жизнью. Едва отвлечешься, засмотришься на облака или игру светотеней, как он уж тут как тут — зловеще скалится, размахивая дубиной растущих цен.

Ему нравится постоянно унижать меня необходимостью считать каждую копейку. Этот спрут постоянно держит свои щупальца на моем горле. Как наглый воришка, он открыто лезет ко мне в карман. Как опостылевший супруг, он занимает все жизненное пространство своими невыносимыми советами затягивать потуже пояс, дутым оптимизмом и замшелыми сентенциями. Как надоевший любовник, он то и дело шантажирует меня угрозами отключить свет, воду и газ, а заодно и оставить без крыши над головой.

И я понимаю: этому бандиту с большой дороги нужен не только мой кошелек, но и моя жизнь. Он ею питается.

— Довольно, хватит! — стучу я кулаком по столу. Настало время отделить себя от государства. В конце концов, чем я хуже церкви?

Но Членистоногий, судя по всему, этот ход моих мыслей не разделяет. Он и на церковь, на всякий случай, положил глаз, демонстративно извиваясь за спиной у священника, когда тот правит праздничную службу. Он даже целует икону под прицелом многочисленных телекамер, надеясь выторговать у Бога прощение своих несметных грехов.

Он вообще ничего не хочет терять. Даже меня. Он хочет только брать и брать, ничего не давая взамен. Теперь даже обещаний, кроме разве что апокалипсических. Если честно, я не знаю, как разорвать эту тесную вампирческую связь.

Чудовище так огромно, многолико, тысячеzewно. И оно постоянно растет, грозя заразить своими метастазами многомиллионный организм страны под названием Украина. Нужна коллективная воля, какое-то общее усилие, чтобы освободиться от этого наваждения. Но где их возьмешь, если чувствовать себя жертвой...

Р. С. Почти 20 лет спустя. Надежда на развод со Спрутом оказалась мертвой мечтой. Болезнь уже давно приняла необратимый характер. За последних два десятилетия государственный спрут чудовищно вырос, разжирел и продолжает расти, наливаясь человеческой кровью.

Он уже умудрился сожрать несколько миллионов моих соотечественников, активно дожирает остатки технических завоеваний социализма, зная, что на кону осталось еще одно, последнее богатство — земля. Все, что не успевает переварить в своем ненасытном чреве, откладывает в офшоры для своих нынешних и будущих потомков.

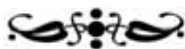
Непреодолимый приступ чревоугодия грозит самому Спруту не только апоплексией и утратой чувства реальности, но и полным распадом государственности. Но это его не останавливает. Аппетиты растут, а вместе и страх за собственную безопасность.

Возводя пышные замки, царские резиденции с необозримыми охотничьими угодьями, он чувствует себя неуютно в стране нищих изгоев. И потому окружил себя непроходной стеной охранных вышек, штыков и водометов.

На случай народных волнений в его распоряжении сверхсовременные площадки, чтобы подняться в воздух и навсегда улететь в свои заранее подготовленные пещеры несметных богатств Аладина.

Но это вряд ли скоро случится. Свой народ Спрут не уважает, а значит — и не боится. И пока есть пожива для его бездонного желудка, он будет пожирать страну и ее обитателей.

Жизнь по сценарию: жертва — палач продолжается. И конца-края этому не видно.



**“Если лидер – педераст,
он и Родину продаст.”**

*(Из будней украинского
политического бомонда)*



**Записки на
ПОЛЯХ**

Социализм после Социализма?

Вопрос волнует многих не меньше, чем иной, вечный: а есть ли жизнь после жизни? Оказывается, есть. И называется это — прогрессивный социализм. Как заметил один умный человек, слова не имеют смысла, они только чреваты смыслом. Занятно, каким смыслом чреват прогрессивный социализм в исполнении Натальи Витренко?

Умна, решительна, экономически грамотна, политически подкована. Знает, чего хочет и без колебаний идет к своей цели. В довершение, хороша собой и мать троих детей. По своему напору и темпераменту — Жанна Д'Арк украинского парламента. А значит, вносит в мир мужской политической казармы атмосферу непредсказуемости и тайны воинствующей женственности. Чего же боле?

А вот и нет! Наш мужской политикум такого как раз на дух не переносит. Большие и грязные политические игры он изначально считает своим исконным приоритетом, где женщинам отведена роль серых мышек, исполнительниц чужой воли.

Любое проявление «Жан-д'аркизма» вызывает у наших политиков разной масти инстинктивное желание бросить бомбу из-за угла или, в крайнем случае, упрятать за решетку. Но главное — освободиться от непредсказуемой и решительной любым способом.

Хищники и мелкие пожиратели сала

Тасуя пухлую политическую колоду наших королей, валетов и джокеров, Наталья Витренко весьма точно и желчно характеризует весь расклад нашего политического бомонда:

1). Среди блоков откровенно хищнического буржуазного толка два самых крупных хищника — НДП и «Громада». Именно в год «Желтого тигра» они-то и сразятся как два бешеных тигра, — считает она. — Ибо «много денег и ненависти скопилось в этих бездонных хищных недрах». Впрочем, как и всякие крупные хищники, они смогут договориться, поделив сферы влияния.

2). Отдельно — блок СДПУ во главе с Кравчуком. — Вот наглец! — замечает Витренко. — Ему уже три года, как повеситься пора, а он к власти рвется.

3). От РУХа до УНА — это фашисты.

4). Отдельной группой — Национальный фронт со Степаном Хмарой. Следом — невзрачный Ярошинский и столетняя бандерша бендеровцев Слава Стецько.

5). А вот Демпартия писателя-демократа — не более, чем метастазы РУХа. «Кочет» наращивает капитал для безбедной жизни не только в Канаде, но и в джунглях Парагвая. Писатель-демократ надежно спрятался в блоке НЭП.

«Что поделаешь, — разводит руками прогрессивная социалистка. — Если лидер — педераст, он и Родину продаст».

6). Блок Социалисты-селяни (Мороз-Довгань) — не более, чем политические оборотни, мечтающие на самом деле о построении буржуазного общества.

Все остальные — не политики. Мелкие пожиратели сала. Сбиваются в стаи, как та же «Вперед, Украина!». Украина на грани пропасти, а они кричат: «Вперед!».

«Реформы и порядок» — те в мутной воде ловят рыбку. Ну а СЛОН (чего не придет в голову от безделья!) — сколоченный с «Трудовой Украиной» — пока что мелкие шакалы.

— СЛОНЫ сожрут много и не меньше нагадят, — предупреждает Наталья Витренко.

Продались за «чечевичную похлебку»

Что ни говори, но женщина в политике — это всегда интересно, а сегодня — особенно. По части срывания масок со своих врагов Наталья Витренко просто не имеет себе равных! Столько лет вращаясь посреди восковых политических фигур, давно определила, кто есть кто.

Как истинная женщина — наиболее беспощадна к бывшим соратникам по борьбе, предавшим идеи марксизма-ленинизма и пошедшим на сотрудничество с врагом.

Как истинный социальный диагност, Витренко выносит КПУ свой беспощадный вердикт: «поражена оппортунизмом с момента рождения». Не уточнив, правда, является ли оппортунизм родовой травмой или генетической предрасположенностью украинских коммунистов, лидер социалистов-прогрессистов ограничивается лишь констатацией дальнейшего течения болезни «красных» — продались за «чечевичную похлебку» комфорта и личного благополучия.

Разве не коммунисты своими голосами дали «зеленый свет» той Конституции, что является лишь приложением к статьям о частной собственности? Разве не фракция коммунистов осенью девяносто шестого протащила под аплодисменты в кресло премьера «жирного кота» Павла Лазаренко, а потом голосовала против Закона о декларации доходов, поддерживая банкиров-жуликов?

Бросая вызов всему «псевдолевому» движению, Наталья Витренко обнажает главную опасность: режим формирует очень похожую «левую» идею, а затем пускает всю разрушительную силу по ложному пути.

Вот и выходит: «жирные коты» строят свое буржуазное государство, а помогает им в этом «красный» Петр Симоненко.

Валить лес на Колыме *(об украинской социалистической революции в стиле постмодерна)*

Я всегда говорила, что по своей природе дамы гораздо революционнее, чем вся эта политическая немощь в штанах. И Наташа Витренко это лишний раз доказала.

— Вам подскажут ваше место в строю! — для начала заявляет прогрессистка-воительница и тут же советует идти в места скопления людей — в магазины, на базары, в больницы, на остановки общественного транспорта.

— Только так можно прийти к победе над Злом! — утверждает она.

В принципе, я не против. Но все же трудно представить, как будет происходить победа над Злом посреди базарной публики, ароматов копченой селедки вперемежку со свежим луком или в ожесточенной транспортной толчее, тем более — под стоны травмированных где-нибудь в больничной палате. Но дама-предводительница считает такую победу возможной, и я хочу ей верить.

Как заживем? Прогрессивная социалистка заранее отвечает на этот больной вопрос. Очень хорошо заживем. Всем — по труду. У стариков будет спокойная и сытая старость. Офицеры вспомнят об офицерской чести, ученые — о наличии у себя светлых голов. Рабочие и крестьяне — о своих умелых руках.

А вот молодежи придется о многом забыть — о панели, разбое, воровстве и прочей гадости. Наступит момент, когда можно будет без отвращения смотреть телевизор, а по вечерам ходить по улицам под присмотром рабочих дружин и народного контроля.

Но чтобы этот миг наступил, нужно победить врагов. Впрочем, их и побеждать не придется. Для начала наша украинская Жанна Д'Арк мягко и настойчиво предлагает своим врагам — застрелиться. Да, сурово, но справедливо.

— Убегать за кордон и скрываться бесполезно, — предупреждает она, — у наших однопартийцев, облаченных специальными полномочиями — феноменальная память.

Ну а как быть с теми врагами, которые не успеют или не захотят застрелиться? Их ждет суровый, но справедливый революционный суд.

— Расстрелов не будет, — успокаивает революционерка и мать троих детей. — Наши уполномоченные уже ведут переговоры с русскими о предоставлении участка Сибири в районе Колымы вплоть до Ледовитого океана. Будут они лес валить — Украине лес нужен для строительства школ и детских садов.

Впрочем, напоследок добавляет воительница, — добровольная сдача награбленного может сократить сроки и даже улучшить условия пребывания на Колыме.

Все это мило, но все же как-то очень по-дамски. Впрочем, как тонко заметил академик Дмитрий Лихачев, нашему эклектично-переходному времени свойственны «наклонность к идиллиям, небольшим галантным празднествам, каприз и кокетливость».

Болотные огоньки

А тут еще самодеятельные поэты орут во всю мощь своих дилетантских глоток, рисуя в партийных газетках и листовках картины всеобщего одичания и вымирания.

— Живемо як погані лежні! — громко вздыхает автор политических стихов в газетке «Досвітні вогні». Вы спросите: почему — «лежні»? Да потому, что легко рифмуется со словом «незалежні».

«Ми незалежні від розуму, від глузду і від сили.
Комусь потрібно в нас забрать домівку-землю.
Як і могили».

Для «незалежних від розуму і глузду» лихо сказано! Поэтическое негодование растет, вырастая до эпических масштабов:

«Пан із далеких Штатів
Розтинає нашу неньку, як відріз на плаття.
На свої кістки нікчемні з нас здирають м'ясо».

Увлечшись политической агитацией, стихотворец незаметно для себя перешел к фильму ужасов и даже нашел в этом творческую усладу.

Бедная наша ненька-Украина, посаженная на наркотиглу МВФ! Тебя заживо расчлениют на куски, как мануфактурный отрез, вампирски высасывая кровь и вырывая куски несчастной плоти.

Какой диагноз поставить такой стране? Наркома-ния, слабоволие, слабоумие, слабо выраженные мышечные рефлексы и все признаки агонии. Тут уже не поднимать с колен, а литургию заказывать, отпевать покойную самое время.

Ну, а при чем здесь «досвітні вогні»? Бедная Леся! Тебя тоже режут на куски, как чье-то партийное платье. Ну, сколько можно эксплуатировать один и тот же образ?

Коммунисты уже однажды спасали страну, используя этот символ. И вот что из этого вышло. Вначале — предрассветные огонечки, потом — огромное пожарище, а теперь уже — болотные огоньки и мрак гнения.

«Мы будем выковыривать их — как изюм из булки»

Вначале он поведал, как на Украине осуществляются планы Римского Клуба о доведении численности населения страны до пятнадцати миллионов человек. А затем добавил:

— Но у нас есть свои гиганты мысли. Уже подготовлен альтернативный проект: как твердой рукой осуществить присоединение России к Украине.

— Хлебная Кубань, нефтяная Тюмень, икорно-кравовое Приморье, — мы будем выковыривать эти регионы из России, как изюм из булки, — говорил он, хитро улыбаясь, но предупредил, что нельзя перегружать

украинскую государственность присоединением всей России. Нельзя делать это одновременно.

— Разумеется, — вел он далее, — не обойтись нам и без красот Северной Пальмиры. Единственное, чего мы не сделаем, так это не будем присоединять к Украине Москву и Московскую область. Поскольку — «зело злы бояре московские».

Произнося столь «убойные» монологи, украинский сенатор Юрий Болдырев сознательно эпатировал незнакомую ему журналистку незнакомой ему газеты «Событие», давая понять, что всерьез говорить о политике с женщиной вряд ли стоит, поскольку она, политика — не ее «кошачье дело».

Кажется, больше всего его веселило то, с каким видом старательного идиотизма я записывала произносимый им текст и даже просила уточнить ту или иную деталь, связанную с будущим присоединением России к Украине.

Правда, уже перед отъездом из Харькова, чуть встревожившись, не переборщил ли он в своем мужском и политическом снобизме, разговаривая с представительницей местной прессы в стиле черного юмора, этот депутат через своего помощника попросил меня не воспринимать всерьез наговоренные им тексты. Напрасно он всполошился. Идея присоединения России к Украине — была единственной изюминкой, которую мне удалось выковырять из этой пресной булки.

*

Битва политических партий, имевших четкую идеологию и опиравшихся на поддержку масс, окончилась, по сути, еще в девяносто третьем. Никто в этой войне не победил. Они уничтожили друг друга. Сегодня в «окопах власти» все сбиваются в «стаи» — так легче пробиться.

Левые охотно братаются с правыми на Канарах. Правые подхватывают левые лозунги. «Спасти, вернуть, обеспечить, внедрить, повесить», а также «неуклонно соблюдать» и «последовательно выполнять». Все «спасительные» программы похожи как близнецы.

*

Но время пророчеств и политических мифологем ушло. Главная беда наших политических прагматиков — неспособность заглянуть в послезавтра, снять разрыв, что существует между постоянно меняющимся временем и никогда не желающей меняться украинской властью.

Власть без знания — всего лишь псевдовласть. Политик, заикленный на сиюминутной прагматической бытовухе, — говорящая марионетка в чужих руках. Одна из тех «вывесок-обманок», которыми изобилует наша реальность, придавая ей черты дурного вкуса.

*

Мы не видим политиков новой волны, потому что горизонт застят спины старых, этих орудующих локтями и глотками живых мертвецов, перегораживающих естественный поток самой жизни. В этом трагедия Украины, причина ее постоянных отчаянных провалов, полная утрата самоидентификации.

*

Политикам старой волны не хватает ни воли, ни элементарной порядочности, чтобы уйти. Очередная предвыборная лихорадка — гальванизация политических трупов, которые ничего не могут предложить, кроме траченных молью коммунистических и националистических лозунгов.

Нелюди и оборотни Игоря Каганца

Интересная попытка составить антропологический портрет нашего украинского политического истеблишмента. Деление на европейцев и евразийцев, левых и правых, рыночников и государственников — всего лишь внешний шар. Главная проблема в том, что все эти

партии, группы и блоки объединяют разношерстную публику, где предостаточно особей, несовместимых с государственной деятельностью. В результате, когда к власти вместо одной партии приходят другая партия, блок, клан, происходит замена одного хаоса на другой.

*

Выбор нужных людей в парламент, с точки зрения системного подхода и здравого смысла, должен осуществляться не по партийному признаку, а совсем по иному принципу. Способен ли этот человек к серьезной и компетентной политической деятельности на благо всей нации или не способен? И главное тут — моральная сторона вопроса.

*

подавляющее большинство известных истории политических деятелей четко разделены на два лагеря — по принципу наличия или отсутствия у них совести. То есть носителей человеческого и античеловеческого поведения.

Возьмем ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ тип. Он состоит как бы из двух подвидов. Первый — «человек целостный». Органично сочетает в себе разум и страсти. Будучи «открытой системой», легко попадает под внешнее влияние, всей натурой, порой даже бессознательно, реагируя на внешние впечатления бытия.

Второй человеческий подвид встречается на порядок реже. В нем живет как бы внутренний двойник и постоянный наблюдатель, и это обеспечивает адекватную рефлексию — осмысление первопричин, закономерностей и механизмов собственного поведения. Отсюда определение: человек двойственный. Его способность руководить собой создает ему психологическую предопределенность для руководства другими. Именно такие представители рода человеческого дают миру наибольшее число прекрасных государственных деятелей.

Таких людей зовут еще добрыми Пастырями. Они способны критически осмысливать новую информацию, творчески и правильно решать нестандартные задачи и быть сильнее собственных страстей и страхов. Они не склонны к пустым разговорам и обещаниям, полагая, что выполнять обещанное — вопрос их профессиональной, политической и человеческой чести.

Счастлив народ, имеющий таких Пастырей, которые служат его интересам и духовным идеалам.

*

«АНТИЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» тип. Среди представителей этого вида политическая антропология выделяет два основных подвида. Первый — олицетворяет тех, кого зовут НЕЛЮДИ. Как правило, они реализуют себя как тираны, бандиты, серийные убийцы, сатанисты и душегубы. История новых времен знает эти имена, начиная от Ивана Грозного и оканчивая Гитлером и прочими безжалостными фанатиками идеи. Для нелюдей не существует морали и совести, они идут напролом, неудержимы и агрессивны. Нередко превыше всех иных житейских благ их интересует власть и только власть.

*

Иной подвид античеловеческого типа — ОБОРОТНИ. Бессовестные аморальные хищники, но лишённые прямолинейности и фанатизма НЕЛЮДЕЙ. Удивительно приспособляемы ко всякому режиму по причине абсолютной беспринципности. Для многих профессиональной ориентацией становятся казнокрадство, мошенничество, политический карьеризм.

При более развитом интеллекте становятся «гибкими политиками», модными адвокатами, крупными дельцами-махинаторами.

ОБОРОТНЯМ комфортно при любом режиме. Прорываясь во власть и эксплуатируя доверчивость народа, они обещают все, что от них ждут, но потом напрочь забывают о своих обещаниях.

А теперь задача для первоклассника: какой «античеловеческий» подвид составляет абсолютное большинство нашего украинского парламента?

Нет, никогда не процветать стране, которой руководят НЕЛЮДИ И ОБОРОТНИ.

*

Сегодня даже талантливая антикризисная программа, даже солидная финансовая подпитка не в состоянии вытащить Украину из порочного круга провалов и поражений. Мы будем кружить в нем, пока на вершине власти, с молчаливого согласия низов, будут править античеловеческие ценности и сатанинские правила игры.

*

Такое чувство, что на политическую арену ринулась толпа мародеров, стремящихся любым способом обрести все прелести власти и комфорта.

Под домашним арестом

Идея «домашних арестов» очень интересна и своевременна, а главное — продуктивна. Вначале под домашним арестом должны оказаться нерадивые чиновники, бессовестные банкиры и нечистые на руку крупные дельцы-махинаторы. Затем домашнему аресту подвергаются взяточники-судьи, милицейские чины и прочие коррумпированные упыри, создающие хаос на местном уровне.

Позднее круг арестованных расширяется. Домашнему аресту подвергается наш парламент в его полном составе — чтобы только не ходил на работу и не устраивал мордобои с ломанием стульев.

В конце концов, уставший до предела народ требует от государства, чтобы оно само себя подвергло домашнему аресту. Пусть хоть на время и в самых

комфортных условиях. Но чтобы не мешало жить и работать, ежеминутно меняя правила игры и выдумывая новые.

В идеальном случае это могло бы окончиться «Операцией «Боинг» и добровольным переселением ненужных нам лиц в уютные кресла-качалки на заранее заготовленных зарубежных виллах, где они бы сами себя подвергли домашнему аресту.

*

И снова — уже в который раз — матерые хищники, шакалы, мелкие и крупные пожиратели сала предлагают себя народу в качестве верховных жрецов. Сами же они ничего не в состоянии предложить народу, кроме своих безобразных пакетов с просроченной гречкой и копеечным печеньем к самому дешевому чаю.

Да уйдите же вы, наконец! Перестаньте застывать небо своими убудочными физиономиями! Нет, никогда не уйдут добровольно.

Какая Жанна Д'Арк способна спасти эту несчастную страну?



“Бездна призывает бездну.”
Псалмы



**Моя мама –
ЧУДОВИЩЕ**

Много страха, много крови

Журналист, пишущий криминальные очерки, носит в себе этот поток чужой боли, мрак чужих преступлений. Знакомясь со множеством судебных дел, где пьяные мужья убивали своих жен кухонным ножом в присутствии новорожденных младенцев, а матери топили своих младенцев в проруби, где сын хладнокровно организовывал убийство собственных родителей, поручая это своему школьному приятелю и обещая взамен кое-что из маминых золотых украшений; когда осатаневшие дети отправляли парализованную мать в дом для престарелых и там бессердечная нянька оставляла ее голодной только потому, что бедняга не в состоянии была придвинуть к себе поднос с едой, а в детском саду иная нянька по небрежности бросала в суп ядовитый порошок вместо соли, и дети, поев супа, умирали, корчась в муках — я сердцем ощутила весь ужас нравственной катастрофы, поразившей наше общество.

Все эти криминальные истории складывались в сознании в нескончаемый многосерийный детектив, заражавший чувством страха и смертельной тоски. Много страха, много крови, жестокости и предательства.

Однажды мне самой довелось побывать в роли второстепенной героини одного такого детектива. Речь шла о семейном преступлении, которое навсегда оставило в душе свой трагический след. Спустя время я попробовала воссоздать хронику тех событий и своих собственных ощущений. И вот что у меня вышло.

Бабочка билась в стекло

В балконную дверь постучали. Стук был легкий, будто бабочка билась в стекло.

Вскочила и босиком подкралась к окну, не решаясь раздвинуть занавески. Чья-то легкая тень и бледное, почти белое пятно вместо лица.

— Кто там? — шепнула я. — Как вы здесь оказались?

Молчание. Но я различала сквозь стекло чуть заметное волнение тени.

— Ну, отвечайте же, — тревожно выдохнула я.

— Это ты, — скорее даже не услышала, а почувствовала я ответ. И ощущение полетной, слепящей радости стало подниматься во мне.

Тело становилось легким, почти невесомым. Неужели?! Значит, это случилось? То, чего я ждала всю жизнь. Там, за дверью — настоящая «я». Та, которой должна была стать. Свободное, радостное и сильное существо. Нужно только открыть дверь. Разверзнуть двери.

Но я боюсь. Ведь это все равно, что оказаться в открытом космосе, сознательно уничтожить себя, отдаться безумию. Как огромно и страшно осознание своей единственности и отъединенности от всех!

Стоит только открыть дверь, и за ней — этот слепящий мир, этот океан. Он совсем рядом, в тебе. Как часто, прислушиваясь к его глухому рокоту, я погружалась в оцепенелость обыденности... Нет-нет, потом, когда-нибудь...

Я не готова.

До конца дней своих оставаться слабой тенью того существа, которому суждено состояться. Или не суждено? Каждое чувство, действие, мысль — все как бы начерно и наполовину. Будто всё только готовишься жить. Трусливой соглашательской покорностью пытаешься выиграть время, которое использовать не в состоянии.

...Нужно только открыть двери. Но ведь меня нет. Есть сотни больших и малых осколков, которые уже не соединить, не склеить. Все эти люди, бывшие до сих пор мною, эти бедные, негодующие, одинокие, преданные, бунтующие, смирившиеся, ненавидящие, слепые и прозревающие существа, с которыми сталкивала меня судьба. Они всегда вторгались в мою жизнь и заставляли забывать о себе.

— Не бойся. Я не войду. Ты не готова, — почувствовала я легкое касание крыла. Оно было прохладным и успокаивающим. Да, я останусь здесь. В этом огромном человеческом зверинце. Добровольной пленницей, дрожащей тенью.

...Протянула к ней руки, но пальцы коснулись стекла. Стекло не пускало почувствовать этот черный струящийся шелк, который не раз охлаждал мне плечи, когда, стоя обнаженной у зеркала, я набрасывала его на себя, как римскую тогу.

В седых предутренних сумерках бледное лицо истаивало, истончалось, превращаясь в легкое искрящееся облачко. Но прежде, чем всему исчезнуть, меня вновь коснулось легкое крыло: «Я возвращусь. Потом, когда-нибудь».

Ни за что не открою!

Утреннее небо было серо-стальным, без единого облачка. В дверь звонили. Упрямо и раздраженно. Ни за что не открою! Утро — это мое время. Чтобы зарядиться мужеством для борьбы с жизнью, нужно побыть наедине с собой и этим стальным небом.

...Вот уж действительно, каждый новый день — как бы заново дарованная жизнь. Утро — это всегда рождение, пробуждение сил, радости и надежды, освобожденной от вчерашней мерзости и вчерашних поражений. Ну а потом — день суеты, спешки, самопринижения, голода, раздражения, сигарет, кофе. День клонится к вечеру, и вместе с усталостью, опустошенностью и легкой височной болью мы смиряемся и стареем. Никогда не любила вечеров, даже если они наполнены смехом, дружеским застольем, полумраком свечей или безжалостными огнями. Есть в них что-то натужное, неизбежное и смиренно-отчужденное.

И даже в обостренном желании радости — горьковатый привкус болезненной торопливости, предчувствие конца.

Вечером мы как бы чувствуем неизбежность нашего пути — от радости утреннего воскрешения к тому таинственному, похожему на полузабытье-полусмерть, когда, свернувшись, подобно эмбриону в материнском чреве, мы засыпаем...

Однако там, за дверью, как всегда, не хотели смиряться. Чья-то рука нажала на кнопку звонка и не отпускает. Решили во что бы то ни стало устроить мне этот маленький ад человеческого общения, который они почему-то называют роскошью...

В юности, помню, я страдала от одиночества и всякий раз, когда размыкался его безрадостный круг, вспыхивала, горячилась и несла чушь.

Но с некоторых пор, и сейчас особенно, едва возникает необходимость общения, тотчас же — тайная тоска по одиночеству, тайная радость при мысли о том, что вскоре можно, наконец, остаться одной.

Страх перед необходимостью общения, этим сложным ритуалом, диктующим множество обязательных переходов, движений, интонаций и взглядов, иногда приобретает форму тоскливой обреченности. И тогда — все, что угодно, только не это. Торопливо бросаешь телефонную трубку, крикнув измененным голосом: «Ее нет!» или «Вы ошиблись!», замираешь, притаившись за дверью, или, что чаще, погружаешься в душевный анабиоз, едва смалодушничаяшь и откроешь.

Да и как могло быть по-другому? всю жизнь, с тех пор, как помню себя, мне приходилось заниматься чужими делами. Все бедные, сырые и страждущие каким-то чутьем угадывали, где им искать сочувствия и поддержки, и устремлялись ко мне. В детстве меня непостижимым образом находили все бездомные собаки, кошки и птицы с искалеченными крыльями. Позднее кошек сменили больные старухи и прикованные к постели инвалиды, забытые Богом и людьми.

Но нельзя бесконечно отдавать, бесконечно перекачивать в других собственную душевную энергию, ничего не получая взамен.

Странная телеграмма

...Нет, кажется, все-таки придется открывать. Да, я слаба. Вы — сильнее. Каждая отдельная ваша язва важнее всей моей жизни. Ну — довольны?! Но что это? За дверью никого нет. Только серый листок телеграммы торчит в дверной щели. «Исчезла Ироида. Если можешь, приезжай». Так, это от тетушки. Ее вечная манера: вместо того, чтобы позвонить, слать телеграммы.

Ироида — старинная тетушкина приятельница и соседка.

Обе они живут в уютном пригороде, что в двадцати минутах езды электричкой. Шум, грязь, сизый смог выхлопных газов и суета нашего безумного мегаполиса туда пока, к счастью, не добрались.

Выкрашенные в белый цвет веранды их домиков одинаково увиты плющом, а сады символически разделены низеньким штакетником, так что яблоки Ироиды всегда падают на теткинскую сторону, а теткинские орехи прячутся в густой траве соседского сада.

Когда-то Ироида была красавицей, но, рано овдовев, чудовищно растолстела и всю себя посвятила единственному сыну — изящному, темноволосому мальчику, чем-то напоминавшему Жюльена Сореля, каким я его себе представляла, читая в юности роман Стендаля. На сыне лежал отблеск смуглой и несколько тяжелой Ироидиной красоты. Позднее, уже на моих глазах, мальчик превращался в тонкого, умного молодого человека с удивительно спокойной манерой держаться.

Он обожал свою мать, старался во всем облегчить ей бремя домашних забот, с годами становившихся все более утомительными из-за ее непомерной полноты.

Он выносил на веранду кресло-качалку, заваривал и приносил матери чай, был ее правой рукой, ее «alter ego».

В их доме была довольно богатая библиотека, оставшаяся от трагически погибшего мужа-прокурора, и мать очень гордилась тем, что мальчик с детства увлекся французской классикой и позднее не изменил своим вкусам, учась в университете французскому языку и литературе.

Сына Ироиды звали Герман Толстой, и это заставило меня как-то поинтересоваться родословной Ироиды. Уж не из тех ли самых она Толстых, какая-нибудь отдаленная ветвь могучего и плодоносящего дерева?

Но Ироида была Толстая по мужу, а генеалогией его семьи никогда всерьез не интересовалась.

Итак, Ироида была счастливой матерью. Единственное, что омрачало ее жизнь, — постоянная разлука с шестилетним внуком. Женившись в двадцать лет на своей однокурснице, очень милой и хрупкой девочке Виктории, сын, тем не менее, уже в двадцать три был разведен и жил по-прежнему с мамой. А его бывшая жена, укатив с сыном к своим родителям, вскоре вышла замуж за предприимчивого человека, начавшего свой путь мясником и ставшего директором крупного ресторана. Потом у Германа был второй брак, но тоже неудачный. Ироида, признававшая только свою первую невестку, никак не могла простить второй — Валентине, того, что та — не Виктория.

Кончилось тем, что после очередной ссоры двух женщин молодая заявила старшей, что горячо желает ей скорейшей гибели, и со словами проклятия погрузила в такси свои пухлые чемоданы. Кажется, Герман не очень горевал по этому поводу. Тем более, к своей второй жене он относился с явной прохладцей. К тому же моя тетушка, недавно, сидя в саду, заметила, как он рвал яблоки в обществе какой-то совсем молоденькой барышни. Она слышала, как он называл ее Ликой.

И вот — эта странная, зловещая телеграмма...

Ироида исчезла. Что значит — исчезла? Она ведь в последние годы практически не выходила из дому — все необходимые покупки делал сын. Боже, ну зачем тетка сообщает обо всем этом мне? В конце концов, есть Герман, есть родственники, милиция, наконец.

Ну что ж — одеваться и ехать. Сколько мелкой, утомительной суеты! Еще чуть кофе — и, кажется, я готова.

*

В полумраке прихожей зеркало подтвердило: после тридцати каждая женщина сама отвечает за свое лицо. Собственное лицо мне всегда казалось немного чужим. Так, будто оно у меня — напрокат. Как, впрочем, и тело тоже. Мне всегда хотелось быть блондинкой — почти бестелесной, с развевающимися на ветру волосами цвета спелой ржи.

— Зато в тебе чувствуется порода, — веско заявляла тетушка. — Ты напоминаешь мне одну из героинь французского романа — высокая грудь и круглые колени.

Только мы, женщины, знаем, какой ценой даются нам зрелость и внутренняя отстраненность.

Плохое утро

Из документов следствия:

«Устанавливается личность неизвестной.

1-го августа в лесопосадке у железнодорожного полотна обнаружены части тела очень полной женщины. Предположительный возраст — 55–65 лет. Рост — средний. Перенесла операцию пуповой грыжи. На среднем пальце левой руки носила кольцо. Размер обуви — 37.

Труп был расчленен с помощью большого острого ножа и массивного острого топора.

Не исключено, что преступник имеет навыки разделки мяса, а также элементарные знания в области анатомии.

Необходимо установить:

Женщин, сходных по приметам, которые безвестно отсутствуют с конца июля.

Лиц, у которых в семьях сложились напряженные отношения с близкими по поводу наследства, раздела имущества, ревности, алкоголя.

Проверить лечебные учреждения и установить женщин, состоящих на учете по поводу заболевания сосудов и сердца, а также желез внутренней секреции.

Установить лиц, из числа работавших ранее мясниками, а также занимавшихся убоем скота».

Прокурор отдела Гарольд Ласпаров с раздражением отодвинул лежавшие перед ним бумаги с фотографиями и потянулся к розетке, чтобы включить кипятильник.

В это утро ему все было как-то особенно противно — собственная внутренняя измятость и заметные мешки под глазами после вчерашних дружеских возлияний, свое крупное, начинающее полнеть тело, едкая реплика начальства по поводу его пятнадцатиминутных опозданий и этот жуткий, всегда полутемный, какой-то выморочный коридор с вечно хлопающей дверью туалета в конце.

— Попробуйте! — бросил он в ответ на подчеркнуто деликатное «Можно?», вслед за которым в дверях появилась птичья головка в претенциозно повязанной косынке.

«И эту черт принес на мою голову, — с растущим раздражением подумал он, заглядывая под стол в поисках мусорной корзины, чтобы освободить полную окурков пепельницу. — Эта уборщица, дрянь, кажется, совсем обнаглела, даже кабинет не проветривает», — мысленно чертыхнулся он и уже было привстал, чтобы открыть окно, но передумал. «А посиди-ка, птичка, в этом спертom воздухе, авось, долго не высидишь!» — беззвучно крикнул он в лицо гостье, но вслух только буркнул, вытаскивая из розетки шнур кипятильника: «Извини, не угощаю, всего одна чашка».

*

Они знали друг друга еще со студенческих лет, когда его, угрюмого и застенчивого провинциала, шокировали снобизм и наглость этой чудовищно бездарной девицы, полагавшей, что весь мир у нее в кармане. У нее было слишком много всего на лице, а больше всего остального — губ. Казалось, вся она состоит из этого багрово-пурпурного плотоядия.

Когда-то он чуть было не попал в эти хищные карминные сети, но вырвался усилием воли, оставив на остриях капкана кусочки окровавленной шерсти.

Нет, он не собирался с ней миндальничать.

К тому же чашка у него была действительно одна. И притом огромная, со следами теина. Он принес ее из дома как память о лучших временах. И теперь она была верной спутницей его служебных бдений, как и чугунная пепельница-башмак.

— О, мы сегодня не в духе! — пропела гостья, бесцеремонно обходя стол и становясь у него за спиной. — Фи, какая гадость! — хмыкнула она, увидев фотографию расчлененного женского бедра, и живо полюбопытствовала:

— Что, снова дело рук сексуального маньяка?

— Не исключено, — буркнул хозяин кабинета и мстительно закурил, отлично зная, как раздражает сигаретный дым карминную даму.

— Есть занятное предложение, не соблазнишься?

— Не соблазнюсь, — мрачно ответил Гарольд и возмутился. — Ну что за манера стоять за спиной?!

— В последнее время ты стал невыносим, — раздраженно фыркнула дама, обходя стол, и направляясь к двери. Уже стоя на пороге, она едко заметила:

— Плохо выглядишь. Смотри, пьянство сведет тебя в могилу.

И, презрительно хмыкнув, вышла.

До сих пор он лениво и расслабленно сидел в кресле, но тут неожиданно вскочил, как распрямившаяся пружина. Резко распахнул дверь и крикнул:

— Ирина!

— Ну что тебе? — лениво повернула та голову.

— У тебя был негр?

— Ты о чем?

— Советую завести. Может быть, подберешь!

*

Захлопнув дверь, раздраженно заходил по кабинету.

Черт знает что! Воистину утро начиналось препакоственным образом. Вот уже неделю он бьется над установлением личности этой несчастной, части которой были обнаружены в красной сумке на колесиках.

Погасив очередную сигарету и тяжело вздохнув, Ласпаров придвинул кипу газет. «Маньяк выходит на охоту» — бросилось в глаза название статьи. О, Господи, опять этот маньяк!

«...Стрессовые ситуации, ломка жизненного уклада пагубно отражаются на людях с неустойчивой психикой. Оставаясь внешне прежними, они втайне начинают совершать кровавые преступления». Торопливо скользнул по тексту, как горнолыжник между кровавыми отметинами флажков.

«У жертв распороты животы, отрезаны груди... Выявлено более трех тысяч половых психопатов. Фетишисты, эксгибиционисты, гомосексуалисты, педофилы, геронтофилы».

«...Он спрятался за камнями. Вскоре заметил случайную прохожую.

Дождался, когда она поравняется с ним, вскочил и нанес удар ножом в шею... Здесь он напился крови, потом отволоч мертвую женщину на свалку и надругался над ней».

«...Если позднего выхода на улицу не избежать, лучше всего снять с себя драгоценности. Вечером, у подъезда дома, необходимо осмотреться. Ни днем, ни ночью не входить в кабину лифта с незнакомыми».

...Он чувствовал, что его тошнит, что он попал в какой-то жуткий анатомический театр, где выставлены напоказ чьи-то лица, обезображенные предсмертной гримасой ужаса. И все это, смешиваясь с запахом крови и хлороформа, вопиет, поднимаясь ввысь коричнево-красным облаком: «Распни его, найди и распни!».

Вместе с тошнотой физической, поднималась из глубины моральная тошнота. Он чувствовал, что сейчас его начнет рвать собственной жизнью.

— Прямо-таки первосортный ад, — сказал он себе вслух, — еще лет пять — и все мы захлебнемся в этом дерьме.

В дверях возникла голова младшего по званию коллеги.

— Могу поздравить, — с растерянной улыбкой сообщил он. — Наш маньяк снова объявился. Еще один женский труп у железнодорожной насыпи. Через пять минут выезжаем...

Тетушкин переполох

В доме у моей тетушки полно старинных ваз, акварельных набросков, вязаных салфеток и почти всегда полно учеников.

С тех пор, как десять лет назад трагически погибла ее единственная дочь, она увлеклась буддизмом, теософией, Рудольфом Штайнером и отчасти — спиритизмом.

Некоторые ее бывшие ученики по художественной школе, где она преподавала, постепенно обратились в ее веру и теперь навещали к ней уже как новообращенные, чтобы часами вести долгие беседы о возможности духовного выживания в нашем бездушном, обезумевшем мире.

Сидя в своем старом кресле, обитом коричневым плюшем, рукою опершись на низенькое бюро, где стояло бронзовое распятие, тетушка — большая, со светлым шиньоном на голове, пристальным и будто погруженным в себя взглядом, напоминает величественную матрону, бесстрашную путешественницу, уже разведавшую путь

в Страну Духовных Прозрений и теперь выступающую в роли духовного гуру.

Привычная картина: парочка учеников сидят на низеньких пуфах у ее ног, в руках у одного — текст философских монологов — «медитаций», как называет их тетушка, а на коленях у другого — огромная пушистая кошка.

Но сегодня никаких учеников в доме у тетушки не было. Сегодня ей явно не до «медитаций».

— Ты получила? — торопливо поинтересовалась тетушка, напряженно ища что-то в бюро, где хранились ее философские трактаты. — Ну, да, конечно, получила. Ведь ты приехала... Я, знаешь ли, ищу телефон Ироидиной квартирной хозяйки, у которой она обычно останавливалась, приезжая в Евпаторию...

— Ты можешь, наконец, объяснить, в чем дело? — не выдержала я.

— Ироида исчезла. Герман отправил их вдвоем с мальчиком отдыхать в Евпаторию, а от них ни слуху, ни духу, Герман уже телеграфировал туда. Но ответа не получил.

— Может быть, они остановились в другом месте?

— Исключено. К тому же ты знаешь, какие у Ироиды отношения с сыном. Расставаясь, они пишут друг другу почти каждый день.

— Значит, Герман писал туда, в Евпаторию?

— Конечно же! Теперь у их квартирной хозяйки, наверное, целая кипа его писем!

— И что же он намерен делать?

— Вчера звонил от меня своей первой жене в Ужгород. У Ироиды, ты же знаешь, нет телефона. Виктория тоже в ужасе, завтра будет здесь.

— Но почему же он так поздно забил тревогу?

— У него была надежда, что мать сообщила о себе и мальчике в Ужгород. Теперь и это рухнуло... Ах да, совсем забыла! — воскликнула она через минуту. — Ты знаешь, какое несчастье случилось у нас! Позавчера ночью у железнодорожной насыпи обнаружено истерзанное тело несчастной. Была удушена и изнасилована. Говорят, тот самый сексуальный маньяк, который до сих пор не найден. Весь поселок гудит. Женщины боятся выходить из дома с наступлением темноты. Ума не приложу — куда смотрит милиция?

— Но ведь Ироида уехала...

— Да, и это хотя бы отчасти успокаивает. Герман говорит... А вот и он!

На Германе лежал как бы солнечный отблеск былой красоты его матери. Взглянув на это лицо сегодня, увидела, что солнце исчезло. Все затянато свинцовой хмарью.

Все очень странно

— Простите, что беспокою, — холодным, безжизненным голосом обратился он к тетушке, поздоровавшись со мной, — но я подумал, что к приезду Виктории надо бы навести кое-какие справки в милиции. После того, как объявился этот маньяк, уже не знаю, что и думать, голова кругом...

У него действительно был больной вид.

— Позвольте, — возразила тетушка. — Но ведь они, к счастью, уехали, ведь вы сами посадили их в поезд.

— В том-то и дело, что не посадил! — мучительно застонав, Герман спрятал лицо в ладонях.

— Но на вокзал вы их хотя бы проводили? — удивилась тетушка.

— Нет, только до электрички, — отняв руки от лица, сумрачно пояснил Герман.

— Да как же это?

— Мама знала, что вечером ко мне придет Лика, она возвратилась после студенческой практики. Мама придавала большое значение этой встрече, она хотела, чтобы у нас все поскорее решилось. Она вообще очень любила... любит Лику.

— Но не оставили же вы их с чемоданами на пустынном полустанке? — холодно поинтересовалась тетушка.

— Конечно, нет. Там стоял один парень, он тоже ехал в город. Он пообещал помочь матери внести вещи. Вещей, впрочем, было немного. Маме вздумалось захватить с собой сумку на колесиках, к ней был пристегнут небольшой чемодан.

— Да, да, хорошо помню эту сумку, — подхватила тетушка. — Такая красная, в клетку.

— Никогда себе этого не прощу! — с мукой в голосе застонал Герман, и его тонкие пальцы застыли на висках. — Если с ними что-то действительно случилось, мне этого не пережить...

— Ну, полно, полно, — испуганно возразила тетя. — На вашем месте я бы отправилась на вокзал и попробовала поговорить с проводниками того поезда, которым они уехали. Кто-то наверняка видел и запомнил их.

— Да, это мысль, — отрешенно согласился он, все еще сжимая пальцами виски. — Вечером нужно съездить...

— Ах, да! — живо, почти радостно воскликнула тетя, обращаясь ко мне. — Я вспомнила о твоём Гарольде! Помнишь, ты приезжала с ним ко мне как-то. Он, кажется, имеет отношение к юриспруденции, к тому же очень серьезный и милый молодой человек.

— Ну, не такой уж милый и молодой, — заметила я. — К тому же не представляю, чем конкретно он может быть нам полезен.

— Может, может! — убежденно закивала тетушка. — Прежде всего, он может дать дельный совет профессионала. Иначе мы — как слепые кутята, будем разыгрывать роль доморощенных пинкертонов!

*

Гарольд — действительно мой старый приятель. Мы знакомы с тех пор, когда я только пробовала свои молодые силы на поприще газетных заметок о преступности, а он уже занимался раскрытием случаев в своей прокуратуре.

Он тотчас же стал ухлестывать за мной, но безуспешно. Я была увлечена своим будущим мужем.

Спустя несколько лет мы снова встретились, уже после моего развода. В то время он был женат, но его семейная жизнь напоминала скучное собрание, откуда уйти неудобно, а находиться невыносимо.

Неожиданно я обнаружила себя побежденной. Теперь он был нужнее мне, чем я ему. Вот этого-то я и не могла ему простить.

К тому же мы часто ссорились — сказывалась разность умов, разность характеров. Борьба самолюбий была жестокой для обоих, но, даже ранясь осколками, мы делали вид, будто ничего не произошло.

Отношения были обречены. Теперь мы — друзья. После всей нелепой неразберихи прошлого пришло новое равновесие отношений. Оно основано на нашей общей памяти. Мы снисходительно прощаем друг другу многое. Острим и подшучиваем, но в глубине у каждого — некий предупреждающий знак: «Дальше — нельзя! Там — больно».

— Не представляю, чем нам в состоянии помочь Гарольд, — повторила я.

— Там видно будет, — авторитетно заявила тетушка. — По крайней мере, он подскажет нам направление поисков.

— Да, да, — глухо подтвердил Герман. — Сейчас я готов ухватиться за любую соломинку. А кто он, этот ваш знакомый?..

Не может быть!

...Я вижу его. Хотя очертания — расплывчаты, детали — множественны, подробности — многомерны. Но в тот день он, возможно, ехал тем же, что и я, автобусным маршрутом. Возможно, он даже сидел рядом со мной, не ведающей ни о чем, кроме суетных желаний дня, где главным событием было таинство примерки старых шелковых платьев в летнем домике тетушкиного сада.

Преступник, убийца — это как собственная болезнь, бред подсознания, ставший явью.

Теперь маньяк охотился и за мной. Не только за мной, но и за мной тоже. В его глазах — черная смерть. Он поджидает за дверью, чтобы убить и осквернить мое тело.

Значит, таких тоже рождает Женщина? И такие тоже впитывают вместе с материнским молоком нежный нектар детских снов? Их тоже когда-то ласкали и нежно оглаживали после купаний, при пробуждении, во время болезни.

Не может быть! Наверное, таких рождает протест мертвых камней, у таких не могло быть ни детства, ни любви.

Странностей становится больше

— Ты знаешь, я почти уверена, что Ироиду убил тот страшный маньяк, — сказала я Гарольду. — Не понимаю вашей беспомощности. Полтора года продолжается это безумие, а преступник до сих пор на свободе. Что же мне — быть вашей собакой-ищейкой? Говорю тебе: езжайте в район Старой Основы — я чувствую, это чудовище там обитает! Понимаешь, этому негодяю даже лень было менять свой кровавый маршрут... Аэропорт, кладбище, этот загородный поселок, где живет моя тетушка. И все, заметь, в одном направлении, стоит только пересечь в ближайший автобус, а с кладбища — на ближайшую электричку...

Гарольд улыбался:

— Я очень рад тебя видеть, — сказал он. — На тебя по-прежнему приятно положить глаз...

— Старый циник, оставь в покое свои штучки!

— Ты всегда недооценивала себя, — продолжал он, — тебе мешают твои вечные комплексы.

— Ну, об этом можно и после, правда? Уж не вообразил ли ты, что я явилась сюда ради твоих жгучих глаз или твоих не менее...

— Колючих усов, — закончил он, улыбаясь. — Ну да, конечно, ради этого ты предпочла бы мою холостяцкую берлогу, а не рабочий кабинет, — мягко съязвил он и грустно добавил: — А ведь ты так и не побывала там еще ни разу.

— Ох, не соблазняй, пожалуйста! Мы неплохо ладим в последнее время, а ты хочешь опять все испортить. Докладывай, что ты успел узнать за эти дни, после моего звонка.

— Докладываю: немало. Прежде всего, мы установили личность этой несчастной. Родственников опросили.

— Негусто. Они ведь сами заявили о пропаже.

— Да, заявили. И, по-моему, слишком поздно.

— Сын пытался вначале навести справки в Евпатории, у их квартирной хозяйки. Он был уверен, что Ироида с внуком благополучно добрались на место. Даже письма матери слал.

— И много?

— Тетушка говорит — целую кипу. Герман сказал ей, что писал почти каждый день. Они ведь очень привязаны друг к другу — мать и сын.

— Очень хотелось бы мне хотя бы одним глазком взглянуть на эти письма...

— Зачем тебе это? Обычные, наверное, семейные письма, наставления мальчику...

— Ну-ну, возможно, — уклончиво заметил Гарольд и неожиданно положил свою сильную смуглую руку на мою, протянутую к чугунному башмаку, чтобы стряхнуть пепел сигареты.

— Моя неисправимая идеалистка и фантазерка, кажется, хочет помочь мне в роли маленького частного детектива?

Я подняла глаза к его лицу и вздрогнула. Я как бы вновь ощутила запах старой дачной комнаты, где мы встречались когда-то тайно от всех.

— Мне очень не хочется втравливать тебя в эту пакостную историю, — услышала я мягкий баритон, мигом вернувший меня в прокуренный кабинет. — Но не могла ли бы ты поинтересоваться адресом той квартирной хозяйки, где обычно останавливалась Толстая? Осторожно так, ненавязчиво...

— Попробую, — пробормотала я.

Потом, усилием воли выныривая на поверхность из теплого искрящегося омута, поинтересовалась:

— Ты разговаривал с ее обеими невестками?

— Да, первая держалась подчеркнуто сдержанно и даже как-то странно спокойно. Возможно, надеется на чудо. Ведь ее мальчика так и не нашли. При этом чуть нервничала: дома в Ужгороде остался ее новый муж с маленьким ребенком. Очень торопилась на поезд.

— А Валентина?

— Тут был неожиданный сюрприз. Валентина заявила, что видела Толстую в тот злополучный вечер.

— Вот как?!

— Именно в тот вечер ей нужно было ехать в поселок к своей сотруднице поменяться сменами.

— Где же она видела Ироиду?

— Говорит, это было в девятом часу вечера. Ироида сидела на деревянной скамье рядом с платформой, куда должна была подаваться электричка в город. А Валентина приехала в поселок за пятнадцать минут до отправления той электрички.

— Ты проверял расписание?

— Да, все совпадает... Так вот... Ироида сидела на скамье, рядом стояла сумка на колесиках А чуть поодаль какой-то незнакомец развлекал мальчика.

— Что значит — развлекал?

— Он крутил в воздухе какой-то шарик на нитке, что-то показывал мальчику. Платформа была пустынной...

— Ироида тоже видела ее?

— Нет, она сидела вполоборота и не заметила Валентину. К тому же бывшая свекровь казалась чем-то расстроенной, покрикивала на мальчика, чтобы тот подошел к ней. Сама же Валентина не окликнула ее — она с ней враждовала.

— Да, Герман рассказывал, что оставил Ироиду с внуком на попечение какого-то парня, чтобы тот помог внести вещи. Повторял, что простить себе этого не может.

— Валентина сказала, что это был спортивного вида молодой человек — светлые волосы, голубая куртка. По описанию похож на тот фоторобот маньяка, что был напечатан в газетах.

— Постой, постой... Все выглядит достаточно зловеще. Вечер. Трое на пустынной платформе. Неизвестный, играя с мальчиком, уводит его куда-нибудь в укромное место. Ироида бросается за ними...

— Ну да, да, а в соседней лесопосадке преступник убивает толстую и мальчика. Куда же он девает трупы? Убив, спокойно возвращается на платформу, забирает коляску, чтобы положить туда часть

женского бедра... Ты представляешь, как это все выглядит? К тому же, судя по всему, у него не было с собой ни ножа, ни топора.

— Ну, как знать, как знать...

— Все это — объяснения для идиотов, — вздохнул Гарольд и добавил. — Знаешь, пойдём пить кофе. У меня голова трещит.

Небольшое отступление

Мы посидели часок в соседнем кафе, где чашка кофе и бутерброд с прозрачным ломтиком ветчины стоили хорошего обеда в старые добрые времена.

— Сейчас бы бутылку холодной минералки прямо из горла засадить, — тоскливо заметил Гарольд, с ненавистью разглядывая густо раскрашенную барышню за стойкой бара. — Да куда там, не допросишься...

— Опять интоксикация? — с деланной строгостью поинтересовалась я. — Послушай...

— Послушаю. Пьянство сведет меня в могилу. Это я уже слышал от одной мымыры.

— Бедняжка, — посочувствовала я. — Несладко же тебе придется...

— Нет, голубушка, — покачав головой, угрюмо заявил Гарольд, — не пьянство сведет меня в могилу, а все это окружающее паскудство, когда отовсюду прямо на тебя лезут цинизм и ложь, все эти чудовищные хари. На нас с тобой, как я понимаю, поставят крест. Как отработанный материал, нас отправят на помойку истории.

— Вопрос еще, позволим ли мы ставить на себе крест, — возразила я.

— Нет, ты скажи, — подпольно затягиваясь сигаретой под бдительным оком барменши, вел он свое, — откуда, ну откуда у нас столько потерянных поколений? Все мы, по сути, потерянные. Рабы и холопы. Это трусливое соглашательство, цеплянье за привычное существование в отведенном для тебя кабинете, вымученное умничанье у окошка, где выдают ежемесячное жалкое пособие, на которое и купить-то ничего нельзя.

— Наверное, есть путь — искать спасения хотя бы в чем-то...

— Да, есть работа, — упрямо продолжал Гарольд, — бывают дни в этом бездарном хождении по кругу, когда идешь по следу, принимаешься, как гончая. Кажется, вот, напал! И особый охотничий

азарт появляется... А потом, — еще большая безнадега. Порочный мир все равно не переделать. А вот жизнь, твоя жизнь — как бы в стороне от тебя проходит. А ты, как последний дурак и ничтожество, довольствуешься каким-то жалким эрзацем тройной перегонки.

Теперь уже я положила ладонь на эту смуглую сильную руку.

— А тот домик среди сосен, он еще существует?

— И калорифер тоже, знаешь ли...

— А что, гости сменяются часто? — уязвленно поинтересовалась я.

— Я не автомат для продажи воды...

Ночное безумие

— Лика, Лика, — шептал он, покрывая торопливыми поцелуями ее лицо и плечи. — Если бы ты знала, как мне страшно. Как тяжело. Ты ведь не оставишь меня, нет?

— Нет, нет, — говорила она, блестя глазами на бледном измученном лице. — Ты же знаешь, что не оставлю. Иногда мне кажется, будто мы вместе летим в бездну. Ты сорвался с горы, и я — за тобой. Вчера мне приснился сон.

— Не надо, не хочу, — прижал он ладонь к ее губам. — С недавних пор меня тоже преследуют сны. С тех пор, как исчезли мама и малыш... Иногда мне кажется, что лучше самая страшная, но развязка.

— Бедный мальчик, — гладила она его волосы. — Ты такой беспомощный и добрый. Скажи, ну как ты мог связаться с такой, как эта Валентина? Боже, у меня до сих пор в ушах стоит ее визг! Она все еще любит тебя?

Рука, потянувшаяся было к Ликиным волосам, замерла. Опустив голову на подушку, Герман молчал, вперив взгляд в окно.

— Никто не знает себя до конца в этом мире, — заговорил он холодно. — Человек — странное существо. После моей первой, изящной и рафинированной Вики, мне, наверное, захотелось чего-то простого, как мычание. К тому же, знаешь, эти рафинированные так чудовищно холодны...

— Вика, Лика, — рассеянно повторила девушка, сидя на краю постели. — А не возвращаешься ли ты, друг мой, на круги своя? Во мне ты снова увидел свою Вику. Тебе захотелось прошлого.

— Лика, Лика, — горячо зашептал он, поворачивая к ней лицо. — Бог троицу любит. Нельзя гневить судьбу. Нельзя мне больше ошибиться.

— Скажи, — задумчиво спросила девушка, — а твоя мама, она смогла бы меня полюбить, ты как думаешь?

— Мама? — переспросил Герман и вдруг захохотал коротко и страшно. Потом, оборвав себя, потерянно уставился в ночное окно. — Ты не знаешь мою маму, — с оттенком страшной усталости сказал он, помолчав. — Это святая женщина. Никогда не верь никому, кто скажет о ней плохо.

— Да нет же, нет, — удивленно возражала Лика, — я не о том вовсе...

— Нет, ты послушай, ты слушай, — вдруг резко перебил он ее, — насчет мамы ты не беспокойся, она полюбит, уже полюбила... Ах, да о чем это я! — вскрикнул он, как от физической боли, сжимая пальцами виски. — Ее ведь так и не нашли, она исчезла. И я знаю, кто мой главный враг... Эта гадина, лишившая меня счастья.

— О чем ты? Что с тобой? — испуганно расширив глаза, спрашивала Лика.

— Я не хотел, не хотел верить, — обняв ее за плечи и спрятав голову у нее на груди, — шептал он, задыхаясь, — но теперь я почти уверен. Она уничтожила мать, а заодно — сына. Она ненавидела его, называла выродком. Она не могла простить, что мама была против.

— Тебе известно что-то наверняка? — выдохнула Лика, и глаза ее на бледном лице испуганно застыли.

— Не наверняка, но почти, — горячо шептал он. — Понимаешь, почти... Она связана с очень плохими людьми. Им ничего не стоит сделать так, чтобы человек исчез бесследно. Они закатывают под асфальт...

— Нет, нет! — вскрикнула Лика, испуганно отстраняясь от него руками. — Этого не может быть!

— Может, — коротко выдохнул Герман, стоя перед ней на коленях с опущенной головой.

— Но нельзя, нельзя же сидеть и ждать, — как бы очнувшись от странного оцепенения, торопливо заговорила девушка. — Мы вместе, вместе, нам ничего не страшно. Мы будем бороться, мы пойдем, куда следует, и все расскажем...

— Оставь меня, — с мукой в голосе простонал Герман. — Оставь меня в покое!

Он поднялся и, подойдя к окну, теперь стоял неподвижно, спиной к ней...

— Я не хочу подвергать тебя опасности, — услышала она его ровный голос. — Я не переживу, если и с тобой что-нибудь случится. А потому... Уйди, прошу тебя.

— Как, сейчас?! — Она привстала среди разбросанных подушек. — Но сейчас ночь...

— Уйди! — не поворачивая головы, сдавленно крикнул он. — Умоляю. Пожалуйста... Мы найдем такси... Я провожу.

Она поднялась и молча начала одеваться. Движения ее были как у сомнамбулы.

— Куда ты? — почти крикнул он, увидев, что она направляется в кухню.

— Я... напиться воды, — растерянно пробормотала девушка.

— Нет, туда не надо, тебе не надо! — догнав ее на пороге и загораживая ей путь, повторял он, странно блестя глазами. — Я сам принесу.

Стоя посреди комнаты, уже одетая, Лика подносила к губам принесенную им чашку с водой. Зубы мелко стучали о голубенькие фарфоровые края. Вода проливалась на пол.

Герман стоял рядом, с мукой глядя на нее.

— Прости меня, прости, — шептал он. — Кажется, я схожу с ума. Это нервы. Знаешь, вчера меня вызывали к прокурору. Такой неприятный разговор. Но об этом после, тебе это не нужно. Прошу тебя, разденься и забудь все, что я сейчас говорил. Я не смогу оставаться один. Иначе сойду с ума.

Нарушенная благодать

— Сейчас я срежу ее, — сказала тетюшка, и ее рука с ножницами потянулась к георгине.

— Не надо! — неожиданно вырвалось у меня, и сердце почему-то сжалось от нежности и страха. Но было уже поздно.

Георгина была очень красивой — единственной среди всех цветов сада. До сих пор я была равнодушна к гибели цветов. Привычка видеть их в кувшине у себя на столе была выше жалости. Цветы засыхали, и я спокойно выбрасывала их в мусорный ящик.

Что же произошло сейчас? Я вдруг почувствовала себя свидетелем и участником гибели чего-то очень близкого, дорогого и прекрасного. Как будто у этого цветка была душа.

Теперь я уже точно знала, что душа была. Она была спрятана в золотистой глубине хрупкого бело-розового лика.

Ах, если бы можно было все изменить! Возвратить момент, когда рука с ножницами потянулась к стеблю, остановить руку.

Как благодарно зашумел бы вокруг меня сад!

— Ну, ты знаешь, я никогда не провожаю тебя без цветов, — успокаивает меня тетушка, идя следом за мной по аллее.

Я взглянула на дом Ироиды. Окна были темны. Налетавшие порывы ветра раскачивали кресло-качалку на открытой веранде. Я вздрогнула. Мне показалось, будто я вижу Ироиду, сидящую в кресле. На плечах у нее легкий шерстяной плед. Она сидит, откинув голову и отрешенно глядя в темнеющую глубину сада, а ее массивная фигура кажется грозной и величественной. А чуть поодаль, у нее за спиной, стоит с принесенной для матери чашкой чая Герман. Он стоит как-то боком к ней, глаза его расширены от ужаса, а над его головой — взметнувшийся столб кроваво-красного света.

*

...Боже, если бы можно было все изменить, оставить все, как было! Возвратить момент, когда недавно все трое сидели на веранде — Ироида, Герман, малыш. У малыша — белые кремовые усы от бабушкиного торта. Рука Ироиды тянется к нему с носовым платком, но малыш уворачивается и, повернув голову в сторону ночного сада, вдруг замирает, испуганно раскрыв глаза. Что-то страшное, неумолимое, бесформенное надвигается на него из темноты. Все ближе, ближе...

— Нет, нет! Не хочу! — кричит мальчик.

И страшное исчезает.

Мальчик закричал «нет!» — чудовище убежало, спряталось. «Нет» превратилось в светлого и веселого друга — домового. Насмешливого и доброго, уютного и опрятного, как бабушка, с ее вареньями, растирками от простуды, свечой на киоте и шепотом: «Тише, дружок, успокойся. Это был только сон».

Да, всего лишь сон. Рука твердо держит тяжелую дверь, за которой уже — ни света, ни воздуха, а только сатанинский оскал чего-то страшного и бесформенного. Оно приходит в ночных кошмарах, не давая вырваться из своей цепкой власти. Шаги, движение, голоса — там, за дверью — будто замедлены и приглушены. И нет сил разорвать невыносимые пути. Нет воли бежать от надвигающегося безумия.

Какое счастье, что рука все еще упрямо держит дверь, за которой тоскливые хвостатые тени. Рука хочет во что бы то ни стало сохранить этот мир, где на забытой веранде — круглый чайный столик и ваза с цветами, и мальчик с кремовыми усами подле грузной бабушки в кресле-качалке...

*

— А что Герман? — спрашиваю у тетушки.

— Хмур, подавлен. Третьего дня приезжала Лика, звонила от меня своей маме. Кажется, у них все хорошо. Она с таким восторгом говорила о Германе. Вспомнила, как недавно они были на птичьем рынке. Герман собирался купить попугайчика для сына. Там, на рынке, какие-то пьяные подонки начали избивать приبلудного пса. Герман бросился на них с кулаками и защитил собаку. «У него такая душа, — повторяла Лика. — Я не знаю, как он переживет все это. Я боюсь за него...».

Лика, оказывается, будущий биолог.

— Скажи, а за что вторая жена Германа так ненавидела Ироиду? — погруженная в свои мысли, интересуюсь я.

— Там все очень сложно. Ироида всегда считала их брак мезальянсом. Говорила, что родители Валентины — совсем простые, малограмотные люди. Я еще упрекала ее тогда в излишней гордыне.

— А что, Валентина бывает в поселке?

— В тот день, когда в гостях у Германа была Лика, приехала Валентина. Они разговаривали с Германом на веранде. Потом Валентина начала кричать, что недаром Бог покарал старую мегеру и маленького выроodka. Она кричала так громко, что было слышно чуть ли не на всю улицу.

— Она приехала одна?

— Нет, в обществе какого-то малоприятного типа. Лицо такое размытое, плоское, и огромные кисти рук.

— Что-то странное, плохое есть во всем этом. Прошу тебя, будь осторожной. Мне почему-то за тебя вдруг стало тревожно.

— Бог с тобой! — сердито замахала руками тетушка. — У тебя совсем нервы расшалились. Этот маньяк тебя до смерти напугал.

— А что еще говорила Лика?

— Попросила у меня белой краски. Герман, как всегда после маминого отъезда, затеял ремонт. Покрасил полы, окна и даже зачем-то кухонный буфет. Но неудачно, темной краской. Она хочет его перекрасить. Знаешь, она ведь уже чувствует себя почти хозяйкой.

*

— Ну, береги себя, — торопливо поцеловала я тетушку, садясь в заранее заказанное такси. С некоторых пор заросшая деревьями

и пустынная по вечерам дорога к электричке, где бродит зловещая тень преступника, стала меня пугать.

Было уже темно, когда, выйдя из такси у своего дома, я заметила тень, мелькнувшую у подъезда и торопливо скрывшуюся за высокой полукруглой аркой. Поднявшись к себе и выглянув в окно, увидела, как, покинув свое укрытие, тень неизвестного скрылась в подъезде. Потом я услышала шаги — легкие, крадущиеся. Шаги замерли. Кто-то стоял по ту сторону дверей, стараясь не дышать, но я слышала это напряженное, сбивчивое дыхание, и мне казалось, что там, за дверью, тоже слышен стук моего сердца.

Наедине с небом

В тот день над городом висел чуть зеленоватый, нездешний свет. Он был по-особому прозрачен, чист, пронзителен и спокоен. Хотя нет, не покой то был, а скорее — знак. Верховный знак прощающей благосклонности к этой земле. Незаслуженный и прекрасный подарок, будивший тревогу.

Все было озарено храмовым светом — деревья по ту сторону дороги, поток машин — по эту.

Подходя к мосту, увидело солнце, хищно распластанное над мостом, готовое вот-вот погрузиться в багровую, с розовыми краями тучу. Солнце погружалось плавно, освещая тучу изнутри и создавая картину, смысл которой был тайной. Надо всем — сияющая пустыня, а чуть поодаль — озеро над темной горной грядой. Бледно-фиолетовый столб рванулся вверх, образуя стремительный мрачный фонтан...

...Своя особая, трагическая жизнь неба — что это? Отблеск когда-то происходившего на земле или тайный знак? А может, и не грядущего вовсе, а настоящего... Быть может, духовные эманации живущих рядом или далеко раскрывают свои тайны на своем особом, недоступном нам языке.

О чем говорят эти небесные схватки и побоища?

Огромные головы мертвых львов, медленно плывущие на мрачных катафалках посреди пушечных взрывов. Пылающие Везувий и Этна...

Как прихотливы и целомудренны облака! Образы живут недолго, а затем из прошлых оперений возникает новое. Эрот меж пышнотелых красавиц преобразуется в грозного Кентавра. Фавн со страстной козлиной мордочкой, стерегущий причудливую даму в крино-

лине, превращается в озобоченного отца, склонившегося над ложем больной дочери. Холодное, белое безмолвие сменяется небесной оттепелью, тускло блестящей водой, стогами в лучезарной дымке, благодатной синью мартовского леска, силуэтами деревенских изб. Наблюдая за небом, мы чувствуем свое материализованное единство с ним. Наши настроения, мысли — те же облака. Они чередуются, преображаются, становясь неузнаваемыми и оставляя после себя легкий перистый след.

Новые подробности

...Еще не открыв ключом двери, услышала, как резко и упрямо надрывается телефон. Гарольд!

— У тебя удивительная способность исчезать, будто сквозь землю проваливаться, — недовольно бурчит он. — Честное слово, иногда мне легче найти преступника, чем тебя.

— Сегодня я спасала свою бессмертную душу созерцанием облаков, — в тон ему отвечаю я.

— Послушай, откуда эти замашки ленивой одалиски и светской львицы? — не унимался он.

— А я и есть коктейль из того и другого, — вяло посылаю ему свой ответный мячик. — Но коктейль давно выдохся.

— Хорошо, что еще не превратился в уксус. Сколько раз тебе говорил: вино открыто, его нужно пить, — оседлал своего конька мой приятель, — и уже серьезно добавил: — Есть новости.

— Ну же, ну, я вся — внимание!..

— Вторая жена Германа дала ложные показания.

— Вот как?!

— Наши эксперты, правда, с опозданием, расшифровали метку на куске того полотенца, в которое была завернута рука убитой. Под засохшей кровью обнаружили метку того самого пригородного дома отдыха, где Валентина работала нянечкой еще до брака с Германом. Ты слушаешь?

— Ну, конечно...

— Потом — несоответствие фактам в ее показаниях. Я навел справки по месту работы Валентины. Оказалось, отгулы она брала за день до случившегося. Значит, ехать в поселок и договариваться со сменщицей у нее не было необходимости.

— Ты говорил с ней еще раз?

— Вначале вспыхнула, стала кричать, что это ее личное дело, за чем она в тот вечер приехала в поселок. Потом призналась: завела там себе друга, в отместку Герману. Пришлось сказать, что вызову друга, пусть назовет адрес. Начала плакать. Друг, дескать, женатый и тому подобное.

— Ну и..?

— В конце начала бормотать, что вообще не уверена, была ли то Ироида. Может быть, другая толстая дама с мальчиком.

— Ты думаешь, она как-то замешана во всем этом ужасе?

— Не исключено и косвенное участие в преступлении...

— Тетушка рассказывала, что она приезжала к Герману в обществе какого-то странного, крайне неприятного типа, устроила скандал...

— Хочу поговорить с сыном Толстой. Уже послал уведомление с просьбой явиться.

— Ты получил те письма, которые он писал матери в Евпаторию?

— Да, только что. Их всего три. Увидимся сегодня?

— Ох, нет! Сегодня на ночь уеду к тетке. Завтра у нее день рождения. Будет именинный торт и ученики. Кстати, тетушка собиралась пригласить Германа...

Положив трубку, представила темные окна Ироидино дома, легкое покачивание пустого кресла-качалки на открытой веранде, резкие порывы ветра, несущиеся из темного сада...

Сон в руку

...Это были удивительно легкие роды. Было почти совсем не больно.

Рожать почему-то пришлось не в больнице, а дома... И это страшило. Мама была рядом, и она относилась ко всему происходившему с каким-то жалостливым спокойствием — так, будто речь шла всего лишь о последствиях маленькой и нестрашной дочерней неосмотрительности.

До сих пор роды казались чем-то великим, пугающе огромным. Но все случилось так просто и странно небожно.

Но вот странно — всего остального я не помнила. Казалось, все, что происходило потом, не имело малейшего отношения к тому великому таинству, которое свершилось.

Какие-то срочные дела, случайные люди.

И вдруг — слепяще, остро, болезненно — мысль о ребенке, за чем-то оставленном в темной пустой комнате. Он лежит там совсем один, забытый всеми, голодный, неубранный. И никто, кроме меня, не знает об этом, не может ему помочь...

Я бегу, сметая преграды, толкаю вертушки стеклянных дверей; концы длинного шарфа, развеваясь, хлещут меня по лицу. Ну вот же, наконец, эта комната!

Бросаюсь к странному, убогому ящику, где лежит ребенок, погружаю руки в деревянные опилки. Он жив, жив! Но, Боже, как же он мал — это существо с мизинец! И он жив, беспомощно разевает рот, укоряя меня за мое преступное забытьё.

Но почему же, почему этот ребенок так странно мал, убог, почти не настоящий? От отчаяния, жалости и щемящей душевной боли я просыпаюсь.

— Ребенок — это к известию, — веско прокомментировала мой сон тетушка.

Я поцеловала именинницу и попросила ее как можно дольше не оставлять меня одну в этом ужасном мире. Тетушка пообещала и удалилась на кухню допекать пирог.

Раньше, еще до трагической гибели своей дочери и смерти мужа, моя тетя, кроме рисования, так же успешно увлекалась кулинарией, так что ее замысловатые торты «Кутузовский» и «Пражский» не раз получали призы на городских конкурсах домохозяек. Сегодня вечером к имениннице придут ее гости — ученики. Значит, сегодня будет «Кутузовский», а еще — ее фирменный плов.

*

— А вот и розы! — сказала тетушка, входя в комнату с охапкой прекрасных темно-красных бархатных роз. — Я их поставлю в тот длинный кувшин.

— А что, уже появились первые гости? — поинтересовалась я.

— Нет, это сосед меня поздравил. Такой милый, внимательный старикан. Обожает розы и выводит дивные сорта, — сообщила именинница, ставя кувшин на старинный, чудом сохранившийся, еще от бабушки, ломберный столик. Цветы действительно были великолепны.

— А знаешь, — сказала тетушка, задумчиво поправляя стебли в вазе. — Однажды из-за этих роз с соседом едва не случилась беда.

— Беда?..

— Да, это было лет пятнадцать тому назад. Как-то вечером сосед застал в своем саду вора, который срезал его любимые розы. От неожиданности воришка вздрогнул, ударил соседа по лицу рукой с зажатым ножом. Счастье еще, что он держал нож почти плашмя...

— А кто был воришкой — неизвестно?

— Нет, известно, — с чуть заметным усилием ответила тетушка. — Это был Герман.

— Ты никогда раньше не говорила об этом...

— Не было случая. К тому же Ироида очень не хотела огласки. Она умоляла соседа простить мальчишку, плакала...

— Воистину непостижима природа человеческая... Помнишь, Лика рассказывала, как он защищал от хулиганов бездомную собаку.

— Кстати, те розы он собирался подарить своей маме на день рождения.

— Скажи, — начала я и вздрогнула, услышав звонок у входных дверей.

— Погоди, я сама открою, — поспешно бросила тетя и скрылась за дверью.

*

Я почему-то напряженно вслушивалась в голоса. Небольшая боковая комната, где я спала, окнами выходила на веранду.

«Прошу вас, войдите» — это голос тетушки. «Спасибо, я на минутку, только хотел поздравить» — да, кажется, голос Германа.

— Ну, что же вы, — голос тетушки становился все ближе, и вот уже она в соседней комнате. — Присядьте на минуту. Мы только что говорили о вас.

— Мы? — насторожился Герман. — Разве вы не одна?

— Сосед только что заходил, он тоже потрясен всем, что случилось. — спокойно пояснила хозяйка. Странно, почему о том, что я здесь, рядом, она даже не упомянула.

— О, у вас уже есть розы! — глухо произнес Герман, заметив стоявший на столике кувшин. — Мои, правда, намного скромнее.

— Розы всегда прекрасны, любые, — отозвалась именинница. — Вы придете сегодня вечером?

— А кто у вас будет?

— Моя племянница и мои ученики.

— А спиритический сеанс будет? — неожиданно желчно поинтересовался Герман.

— Ну почему же нет? — ровным голосом ответствовала тетюшка. — Дух бедной Ироиды, знаете, тревожит меня по ночам. Кажется, она хочет сказать мне что-то...

— Ах, оставьте! — раздраженно буркнул Герман. — Все это чистейшей воды фиглярство и профанация!

— Вы так думаете? — холодно заметила хозяйка. — Вы не верите в спиритизм? А как насчет души? Или человек — это просто тело? Умер — и все окончилось...

— Именно так, — едко произнес гость. — За всеми этими разговорами о бессмертной душе я вижу только животный страх неизбежного конца. Вот лично я многое бы дал, чтобы услышать, как мама произносит имя своего убийцы.

— Вы что же, считаете, она знает это имя?

Какое-то страшное томительное молчание зависло в соседней комнате.

— А вдруг?... — различаю я, наконец, чуть слышный возглас Германа. — Вдруг она действительно его произнесет?..

И снова — молчание.

— Так знайте же, в конце концов, я ни с чем не виноват! — неожиданно взрывается гость. — И я могу доказать это вам... И немедленно!

*

Больше я не могла этого вынести. Неслышно распахнув окно на веранду, бесшумно прыгнула вниз и бросилась к входной двери. Волнуясь, нажала кнопку звонка.

Легкий шум приближающихся шагов. Лицо Германа в распахнутой двери прихожей. Наши взгляды — как два скрестившихся клинка.

— Ах, это вы, — улыбаясь одними лишь губами, произносит он, — ваша тетюшка попросила меня открыть. Она сейчас занята.

— Вы будете вечером? — интересуюсь я, холодея от недоброго предчувствия.

— Непременно, — небрежно бросает гость. — Я имениннице уже пообещал. Извините, тороплюсь.

Я бросилась в комнаты. Тетюшки не было. Леденящий страх охватил меня. Только что они разговаривали здесь... И в тот же миг

дверь легонько приоткрылась и показалось тетушкино лицо. Оно было бледным и странно спокойным.

— Он ушел? — спросила тетушка. — В руках она держала какую-то толстую коричневую тетрадь.

— Что это? — спросила я. — Что он тебе сказал? Мне стало вдруг страшно...

— Успокойся, — произнесла тетушка, потерянно и грузно опускаясь в кресло. — Все самое страшное, по-моему, позади.

— О чем ты? И что это у тебя в руках?

— В руках? — переспросила тетушка, как бы возвращаясь издалека. — Он сказал, что предоставит мне доказательство своей невиновности. И вынул из прозрачной сумки, в которой принес цветы, эту тетрадь. У него был такой сумасшедший взгляд, что мне стало не по себе. Я сказала, что ему следует пойти и лечь. «Куда, в могилу?» — спросил он. И в этот момент позвонили... Кстати, как ты там оказалась?

— Не важно, потом, — торопила я тетушку. — И что же дальше?

— Когда он заговорил про могилу, он держал в руках эту тетрадь и медленно приближался к моему креслу. Услышав звонок, бросил тетрадь мне на колени и, не прощаясь, вышел. Я поспешила к тебе, но тебя не было.

Я осторожно вынула из ее покорных рук коричневую тетрадь. Мне показалось, будто я держу в пальцах какое-то опасное насекомое, которое сейчас смертельно ужалит.

— А как ты думаешь, что это?

— Очевидно, один из его дневников. Он с юных лет записывал жизненные впечатления и называл их «Хрониками души Германа Толстого». Шутливо добавлял в скобках: «Прошу не путать со Львом Толстым». Когда-то он мне кое-что читал. Довольно интересно.

Я раскрыла тетрадь.

«И лев станет человеком»

— было написано на титульной странице красивым, остроугольным почерком.

26 февраля

«Блажен тот лев, которого съест человек, и лев станет человеком. И проклят тот человек, которого съест лев, и лев станет человеком» — так утверждает Евангелие от Фомы. Пусть так. Но что такое

«лев»? Оказывается, это наше звериное подсознание. В каждом из нас живут «человек» и «лев». Если побеждает «лев» — человек становится выше страха, ему не нужны оправдания своих поступков. Он несет оправдание в себе самом.

Но разве не естественный эгоизм движет жизнью? Чтобы выжить, нужно кого-то есть. Удовольствие сытости, удовлетворение полового инстинкта — разве не превращают нас в потенциальных убийц? Почему секс, насилие и убийство стоят в одном ряду?

Половой акт, по сути, тоже насилие и убийство. Недаром Лев Толстой считал, что в самом этом акте есть что-то нечистое и темное, что для невинной души — это потрясение, что необходимо втянуться, привыкнуть к этому, как привыкают к табаку или вину.

*

Когда я был совсем маленьким, я подозревал, что между матерью и отцом в их спальне происходит что-то нехорошее. Однажды, разбуженный плохим сном, я на рассвете вбежал к ним, когда они еще лежали в постели. Я не понимал, что происходит. Увидел странный клубок тел и услышал мамины стоны. Мне показалось, будто мой отец, сойдя с ума, хочет сделать что-то ужасное с матерью, хочет позиздеваться и убить ее. Я закричал, и узел тел мгновенно распался. У них обоих был вид преступников, застигнутых на месте преступления. Мама с испуганным и виноватым видом вскочила и бросилась ко мне. Меня била дрожь, и я кричал ей: «Я боюсь! Пусть он оставит тебя, пусть уйдет!».

Она долго успокаивала меня, сидя у изголовья моей постели. Засыпая, я держал ее палец, боясь, как бы она опять не ушла в ту страшную спальню.

...Все мы — пленники своего либидо, и оно почти всю жизнь держит нас за горло, как убийца — жертву. Либидо — тот самый лев, принявший человеческое обличье...

6 марта

Моя мама — чудовище. Всю жизнь она заставляла меня делать то, что хочется ей, а не мне. Я — ее единственная и самая дорогая собственность. Ее глаза, руки, ее честолюбие, гордыня и даже нереализованная сексуальность. Фрейд абсолютно прав, когда писал, что Женщина рождает Мужчину исключительно для себя. В этом маленьком мальчике она видит все — ребенка, мужа, отца. Если бы не

условности, заменившие нам мораль, фанатичные матери стремились бы не отдавать сыновей молодым соперницам. Они отдавались бы им самим, чтобы не отдавать другим.

Если бы отец не ушел так рано, возможно, все было бы иначе. Правда, это не дало утвердиться во мне Эдипову комплексу. Когда отца не стало, мать принадлежала только мне, своему маленькому божку. Когда я был совсем маленьким, отец жаловался, что вся квартира уставлена молочными бутылками, пузырьками с присыпками и детскими мазями, увешана пеленками, усеяна игрушками. Я мог делать все, что захочу, любой мой каприз — закон, любое желание — свято. Она с детства решила позволять мне все, чтобы потом отыграться на мне же.

*

Я запомнил ее еще очень красивой, еще только склонной к полноте. Она как раз недавно овдовела и еще носила черное, которое ей очень шло. В ней уже опять просыпалась жизнь, она мечтала бывать в театре, хотела новую шубу... Она еще могла тогда выйти во второй раз замуж. Но у нее был я. Как я любил ее тогда! Как любовался свечением темных миндалевидных глаз, когда, сидя ко мне спиной, она рассматривала свое лицо в зеркале, высоко поднимая темные густые волосы, и они тяжело падали на плечи.

Заметив в зеркале мой пристальный взгляд, она поворачивала лицо к широкой постели, где, забившись в угол, сидел я, заботливо прикладывала руку к моему лбу, интересовалась, не заболел ли я, не поднялась ли у меня температура — иначе откуда этот лихорадочный румянец?

У мамы не было никого, но уже тогда я, помню, ревновал ее к возможному сопернику, к ее счастливому, готовому к новому замужеству блеску глаз, к ее красоте, к ней самой... Она уже тогда сделала меня своим единственным господином, и я деспотично бдил свое сокровище, не позволяя ни одной капле любви пролиться вовне.

*

После смерти отца я часто болел, и мама брала меня к себе в постель. Потом это вошло в привычку, хотя у меня была своя детская. Я не любил оставаться там на ночь и, уже выздоровев, частенько изображал всякие недомогания, чтобы оказаться в маминой постели.

Она была первой женщиной, открывшей мне, совсем маленькому, огромную тайну женственности. Мне нравилось следить, как она одевается, причесывает волосы, легким постукиванием пальцев наносит крем на лицо.

Иногда, лежа с ней, я изображал совсем маленького и тянулся руками к ее сильной и упругой груди, прося «молочка». Мама делала сердитое лицо и, отстраняясь, заявляла, что я уже не маленький. Но я чувствовал под своими пальцами этот напрягшийся сосок, и мне хотелось трогать его, как тугую весеннюю почку, что вот-вот брызнет розовым абрикосовым цветом.

В моих детских прикосновениях были и чистота, и скрытая порочность.

26 марта

Опять у меня нелады с учениками. Чувствую, мое репетиторство скоро окончится бесславно, придется искать новый дополнительный заработок. Все хотят изучать английский и почти никто — французский.

Мама всегда считала, что французский — признак изысканности. Хотела, чтобы я читал в подлиннике Стендаля, Флобера и Мопассана. Правда, сама она в своем знании французского осталась на уровне новичка-первогодка, который, как попугай, выучил, грассируя, два-три выражения или пословицы, а потом, к месту и не к месту, их повторяет...

Да, мне всегда был больше по душе энергичный и напористый, простой, как мычание, английский. Но, конечно же, она настояла на своем! Вот что значит вырасти маменькиным сынком и несчастным существом. Я был слишком послушен, на дружбу с мальчишками у меня не хватало ни воли, ни времени. Чтобы драться с ними и утверждаться как мужская особь, недоставало агрессии. Всегда не любил и боялся крови...

5 апреля

Мне казалось, я уже никогда не сумею этого испытать. Знакомство произошло на кладбище. «Совсем в духе Мопассана!» — как воскликнула бы моя тата.

Я приехал на кладбище убрать отцовскую могилу, а эта девочка охаживала соседнюю. У нее удивительные светлые волосы и огромные глаза. Когда она подняла их, меня будто током ударило. Девушка попросила одолжить грабли, и я решил ей помочь.

Ее зовут Лика. Год назад в авиакатастрофе погибла ее старшая сестра.

Возвращались домой в автобусе, я пригласил ее зайти к нам выпить чаю. Мама гостеприимно накрыла стол, но вид у нее был недвольный.

«Она слишком хороша, чтобы быть натуральной», — заявила мамочка одну из своих дежурных фраз, когда, проводив Лику на остановку, я вернулся домой. Ох уж эти мамины фразочки! Ей всегда хотелось бы иметь подле себя невестку — серую мышь. А впрочем — плевать. Лика, Лика...

20 апреля

Впервые в жизни я почувствовал себя пожившим двадцатисемилетним, разведенным дважды мужчиной. Мне кажется, я уже сейчас ревную ее к тому нашему будущему, когда мне будет тридцать семь. Уже — тридцать семь, а ей — всего двадцать семь.

Я чувствовал, как она дрожит, когда обнял ее посреди темной аллеи сада.

«Вы не оставите меня? — и глаза такие детские, доверчивые. — Я знаю, у вас есть сын, и я постараюсь его полюбить».

Пришлось объяснять маленькой дурочке, что сын — в общем, не мой. Он целиком принадлежит бывшей жене, а я — отец лишь на один месяц летнего отпуска, когда мы все втроем — я, бабушка и он — уезжаем отдыхать на юг. Это — святое, как и ежемесячные денежные переводы. Впрочем, Виктория теперь дама самостоятельная, при богатеньком муже, который даже вознамерился усыновить Женьку... Но тут уж мы с мамой восстали! Если совсем точно — больше мама, чем я. Мне вообще — почти все равно. Я привязан к малышу, но не чувствую его своим. Чтобы любить, нужно иметь права. Все права. Но мама — она, мне кажется, видит в Женьке маленького меня. И для нее — трагедия, что она не может его бесконечно тискать и укладывать спать рядом с собой.

Лика все это выслушала и даже улыбнулась. Странно так, таинственно. Удивительная девушка! Мне кажется, я даже понял мысль, что в глубине шевельнулась в ней: «Не горюй. Ведь у нас тоже когда будут дети»...

Единственное, что беспокоит меня во всем этом — мать. В последнее время я перестал брать ее в расчет. Настолько занят Ликой, что иногда просто не замечаю матери. Выполняю ее мелкие просьбы, подаю чай, но — не вижу.

12 мая

Такой тяжелый и неприятный разговор! Мама будто почувствовала какую-то опасность и начала действовать. Весь набор ее жалких военных уловок и хитростей налицо. Мне все это до тошноты знакомо. Унизить соперницу, показать ее полное ничтожество и непривлекательность.

...Уже после первой ночи, которую мы с Викой провели под родным кровом как законные супруги, я заметил этот холодный ураган в глазах своей мамочки. Она ревновала, ведь теперь уже не ей одной принадлежит все мое время, часть его — этой молоденькой бледной девочке. «У бедняжки, наверное, малокровие, и потому — нулевой размер груди», — не уставала сочувствовать мамочка.

По воскресеньям она пораньше стучала к нам в дверь, торопя с завтраком и массой неотложных дел. Ее язвительные замечания, вздохи, жалобы и недомогания — все это доканывало. Иногда казалось: когда обнимаю Вику в постели, между нами лежит незримая тень. Я трогал бедную Викину грудь, и меня охватывало чувство обиды за нее и за себя.

Потом в дело вмешался ребенок. Мама неожиданно привязалась к нему, едва он появился на свет. Вике она отводила роль детородной, а позднее — кормящей машины. Она даже прониклась к ней особым родом презрительной любви-жалости. Но к тому времени дело уже шло к разводу.

*

Когда через год появилась Валентина, все началось снова. Теперь моя дорогая матушка превратилась в яростную волчицу, защищающую вход в собственное логово.

Иногда мне кажется: маму особенно раздражало то, что, в отличие от Виктории, Валентина — сексапильна, у нее крутые бедра и высокая грудь. В ней чувствуются природные силы земли. Чего только я не слышал в ее адрес от своей дорогой маман!

«Эта жалкая самка, плебейка, неряха, не способная даже, как следует, убрать в собственной комнате!». Самое интересное — наша мучительница вдруг неистово полюбила свою первую невестку. Тягуче-сентиментальные воспоминания о моем первом счастливом браке, о ребенке, у которого может быть только один отец — разговоры эти она заводила в присутствии Валентины.

Конечно, Валентина восставала и обвиняла меня в предательстве и малодушии. В общем-то, я и предал ее, когда посоветовал сделать аборт.

5 июля

Ну вот и свершилось... Теперь уже ничто не разделяет меня с Ликой. Она — моя бедная, доверчивая девочка! Она казалась такой растерянной и чуть подавленной. Как странно выглядят наши мечты, становясь явью!

Вчера я твердо заявил матери, что не позволю ей вмешиваться в мою личную жизнь. Что-то в моем лице заставило ее сникнуть. Заплакала, сказала, что не хочет мне мешать. Ну и, конечно же, намерена поскорее умереть и развязать мне руки.

Стало жалко ее, и она тут же выговорила себе условие: летом мы, как всегда, уедем в Евпаторию втроем: она, я и ребенок.

Чтобы успокоить мать, я согласился, хотя снова почувствовал себя в смирительной рубашке.

25 июля

Мама возвратилась из Ужгорода вместе с Женькой. Жалуются, как тяжело ей было добираться. Уже куплены билеты на поезд. Женька похудел, вытянулся, очень похож на свою мать. От меня совсем отвык. Зато привязан к бабуле. Она обкармливает его домашними тортами.

О своем намерении остаться дома пока молчу. Осточертели скандалы и слезы. Они уедут завтра, а послезавтра придет Лика. Она останется у меня на всю ночь...».

*

Далее — обрыв, несколько пропущенных страниц, даты отсутствуют. Разительно изменился почерк.

И вдруг — это.

«Как она кричала! Этот крик до сих пор стоит в ушах. Она кричала: «Ты никого не любишь, тебе никто не нужен». И еще — «ты бессовестное ничтожество, ты не сын, не отец! Ради юбки жертвуешь святым!..». Она пила из кружки воду, я помню. Потом кружкой ударила меня по лбу. Я стоял на кухне, возле буфета... Боже, как я устал!».

*

«...Иногда кажется, будто ничего не случилось. Живу, как во сне. Может, они действительно в Евпатории? Единственное спасение — заставить себя в это поверить. Как я устал! Лика — мое единственное спасение. Когда она остается ночевать, то я почти не боюсь. Иногда я ненавижу ее, когда она отказывается приехать на ночь.

Все женщины — чудовища. Никому нельзя доверяться. Только себе. Они не умеют жертвовать собой. Им нужно все. Если не все — они готовы предать...».

*

«Неужели она могла возвратиться и жить после всего со мной? А ведь согласилась! И даже улыбнулась. Ненавижу ее! Хочу иметь пистолет. Для самообороны».

«Они обе что-то замышляют против меня — соседка и ее племянница. Выследить и узнать... Нет, ничего не надо. Как я устал! Ненавижу этот проклятый мир! Ненавижу... Это она во всем виновата, она!».

— Господи, что это? — спросила я у тетушки, перевернув последнюю страницу тетради. — Он говорил о каких-то доказательствах своей невиновности. Мне кажется, последние записи были сделаны в горячке, бреду... Он сумасшедший?

— Он мертв, — веско произнесла тетушка, выслушав все от первой до последней строчки.

— Ты думаешь, что...

— Не знаю, не знаю, — задумчиво откликнулась она. — Наверное, он не в силах носить в душе этот ад.

— Но что же делать? Эти записи...

— Они ничего не доказывают. Пока никто ничего не в состоянии доказать. Только он сам.

...Незаметно наступил вечер. Гостей все еще не было.

Уже стемнело, когда, выйдя в сад, я заметила чью-то фигуру, мелькнувшую между кустами, что росли в дальнем углу двора старого любителя роз, тетушкиного соседа слева. Мне показалось, человек был одет в темный плащ. Он скрылся так стремительно, будто растаял в ночи. Поежившись, я поспешила в дом. Гости уже начинали собираться.

Спиритический сеанс

Среди гостей только один был новичком, никогда не присутствовавшим на тетушкиных «медитациях». Он был физик, естестволюбец, убежденный материалист; друзья пригласили его сюда, как в старину, наверное, светские завсегдатаи брали с собой провинциала, нанося визит в салон старой экстравагантной усатой княгини.

Заметив на кухне маленькую внучку старого любителя роз, которую тетушка угощала тортом, я отвела ее в сторонку и поинтересовалась, не знает ли она, что за человек бродит в глубине их сада. Нет, она ничего не знает, к ним никто не приезжал.

Часа через два, когда были уже произнесены все приличествующие случаю поздравления и тосты, откушаны многие из тетушкиных фирменных блюд, разговор принял философский характер. Сидя в углу за ломберным столиком, я краем уха вслушивалась в диалог именинницы с будущим «новообращенным».

Тетушка:

— Вот вы спрашиваете: что сильнее — добро или зло? Я думаю, так вообще нельзя ставить вопрос. Правильнее спросить: что важнее — духовный план или материальный? Добро — это продукт нашего сознания.

Гость:

— Как и зло тоже, согласитесь. Выходит, животные безгрешны? Ведь они сознательно не участвуют в выборе добра и зла.

Тетушка:

— Пожалуй, да. Выбор этот — только за человеком. И в этом, если хотите знать, его свобода. Он страшно зависит от всего. Но зато у него есть Свободная Воля. Вот почему вина любого человека начинается, когда понимая, что существуют добро и зло, он все-таки выбирает путь зла.

Гость:

— Но ведь не будете же вы отрицать, что жизнь — это нескончаемое убийство и насилие, начиная от поедания трупов убитых нами животных и оканчивая травой, которую тоже безжалостно топчет человеческая нога.

Тетушка:

— Дорогой мой, существуют вещи очевидные и неочевидные. Да, наша очевидная жизнь всегда укладывается в какой-то отрезок времени от рождения до смерти. Но вечность — для нее нет ни времени, ни границ. Поймите же, наконец: принцип выживания в Духе про-

тивоположен всему, что составляет нашу очевидную жизнь. Чтобы выжить в Духе (хотя бы потенциально), нужно быть способным жертвовать собой. Жертвовать чем-то дорогим и близким. Только присутствие сознательного Добра открывает выход в Вечность. Зло — это всегда смерть.

Гость:

— Значит — все по судьбе? Каждому — свое?

Тетушка:

— И да, и нет. Судьба всегда заложена, как канва...

Гость:

— И все-таки, почему большинство из нас оказалось на пути не к вечности, а к смерти?

Тетушка:

— Ну, а как вы хотите? Все механическое человечество — это тупиковая ветвь и обречена на отсечение от Древа жизни, как бесплодная смоковница. Ведь именно оно обрекло землю на путь апокалипсических событий.

Гость:

— Вы говорили — необходимо опустошить сосуд. Чтобы эволюционировать духовно, человек должен изжить все заложенное в нем. Ну, а как же тогда со злом? Выходит, чем больше, острее выброс отрицательных качеств, заложенных в нас, тем полноценнее процесс очищения?

*

...Вот уже полчаса я незаметно наблюдаю за Германом. Явившись с опозданием, он сидел теперь в углу, где стояло бюро с бронзовым распятием. Лицо его казалось бесстрастным. Но было такое ощущение, будто он напряженно вслушивается в себя самого. Так, мучась зубной болью, мы позволяем себя развлекать и все время настроенно ждем, когда это безжалостное маленькое существо снова начнет орудовать раскаленными иглами в нашей десне.

Я не могла понять, зачем он вообще здесь, зачем продолжает сидеть, будто ожидая чего-то и одновременно — как бы бросая вызов... А может быть, он действительно уже не в состоянии оставаться наедине с собой?..

— Вот посудите сами, — доносился до меня, как бы сквозь прозрачную завесу, голос одного из гостей. — Я подумал, к примеру, о ком-то из присутствующих с ненавистью, плохо подумал. Что же

происходит? Моя мысль вместе с чувством ненависти буквально на глазах начинает расти и отравлять мою собственную душу. Возможно, именно в этот миг эта моя мысль притянула к себе мысли других ненавидящих существ и оттого усилилась? Я не исключаю... Но что же дальше? Моя дурная мысль, наконец, достигает вас и вызывает в ответ такую же мысль-ненависть. Теперь уже и ваша мысль начинает влиять на меня, еще более усиливая мою ненависть, которая снова воздействует на вас. Ненависть растет, становится огромной, неуправляемой.

...На мгновение лицо Германа искажает какая-то странная гримаса, похожая на судорогу. Может быть, у него действительно болят зубы?

— Нет, я обещала и выполню, — доносится до меня как бы издалека голос именинницы. — Правда, спирт из меня неважный. К тому же до сих пор я разговаривала со своими дорогими духами только наедине. — Но сегодня...

— Что ты задумала? — шепнула я, оставшись наедине с тетушкой, отправившей гостей в соседнюю комнату под тем предлогом, что ей необходимо подготовить здесь все для спиритического сеанса.

— Сама не знаю, — как-то рассеянно отозвалась она. — Мне показалось... А впрочем, ты тоже ступай к гостям. Мне необходимо сосредоточиться.

...Когда минут через десять все мы вошли в гостиную, там царил полный мрак. Окно было распахнуто, и от порывов ветра, несущихся из ночного осеннего сада, трепетали занавески. Мы почти наощупь расселись по местам... Странное чувство стало овладевать мною. Все происходившее казалось сном.

— Дух бедной Ироиды, вы здесь? — послышался в темноте чуть напряженный тетушкин голос.

Полагаю, вздрогнула не только я. Три глуховатых стука в ответ. Мне показалось, они послышались из того самого угла, где стояло распятие и прежде сидел Герман.

— Дух бедной Ироиды, вы будете со мной говорить? — вновь прозвучал в наступившей тишине тетушкин голос.

И снова — три коротких отчетливых стука.

В томительном грозном молчании тетушка спросила, известно ли духу имя убийцы бедной Ироиды, и дух ответил «да».

Легкое красноватое свечение на миг будто разлилось по комнате. Оно вспыхнуло на противоположной от распахнутого окна стене и тотчас же исчезло. Я почувствовала, как у меня немеют руки.

И вдруг — резко и страшно мрачную тишину комнаты взорвал чей-то издевательский смех. Я услышала шум отодвигаемого стула и голос Германа:

— Убирайтесь к черту!

Потом беспорядочные выстрелы. Сколько их прозвучало, сейчас не могу вспомнить. Кажется, два или нет — три. Чей-то крик, звук разбитого стекла. В невесть откуда возникшем столбе красноватого света увидела смертельно побледневшее тетушкино лицо, а чуть поодаль — Германа, который, стоя посреди комнаты с искривленным от боли лицом, прижимал левую руку к плечу, где сквозь светлую ткань рубашки проступало кровавое пятно. Пистолет, который он держал в правой руке, с глухим стуком упал на ковер...

Если чистилище существует...

В то утро я проснулась с таким чувством, будто отошло все, что доселе болело и мучило. Все мое прошлое. Было легко и пусто. Растение без корней. Ничто не сдерживает, камнем не привязывает к этой земле.

За окнами начинался день, и он, казалось, тоже благословлял эту вселенскую пустоту в сердце. Холодный, блестящий осенний день.

Образ убийцы будто вдруг утратил все свои краски. Серый, беспомощный, покинутый бабочкой кокон.

В окне чуть волновались величественные золотые сосны, а тут, в комнате, все тем же темно-красным облезшим саркофагом предлагало себя кресло. Я вновь возвратилась сюда, чтобы, как и когда-то, провести наш спартанский уик-энд. Но запреты давно исчезли, а вместе с ними и таинственность.

Была просто я и был он, который, сидя у моих ног, пространно рассуждал:

— Стань ты моей женой, все, возможно, было бы по-другому. Я убежал бы и снова возвращался. Ну, вот как тебе объяснить? Я чувствую себя охотником на охоте. Может быть, я подстрелю кабана, а, может быть, он набросится на меня... Но иногда, понимаешь, — он коснулся пальцами моих плечей, как бы прося извинения за откровенность, — иногда хочется, чтобы тебя укутали в вату и подвесили в колыбели где-нибудь на дереве. Там, где ни волк, ни кабан тебя не достанут.

— Да, теперь я понимаю, — задумчиво откликнулась я, — почему мы тогда расстались.

— Сейчас ты понимаешь, — согласился он, — но тогда бы не поняла, нет. Ты стала мудрее.

— Вовсе нет, — возражала я, — я и тогда все понимала. Но тогда я была немножко другой. Я была нетерпимой.

— Я знаю, — отозвался Гарольд, возвращаясь к шаткому столу, где еще дымилась его безразмерная чашка с растворимым кофе.

*

— Скажи, — спросила я, — а ты давно догадался о том, кто убил Ироиду?

— Когда я распечатал те письма, которые Герман отправлял якобы матери на юг, мне показалось, будто они написаны в каком-то бреде, в состоянии истерики. Они дышали ужасом... Если он полагал, что это алиби...

— Выходит, это тебя я видела в тот страшный вечер за розовыми кустами соседского сада... Но почему ты решил ехать в поселок в день именин тетушки, к тому же тайком от меня?

— Что-то должно было произойти, я чувствовал. Потому и захватил пистолет. Знаешь, эти мамины сынки от трусости способны на многое. К тому же ты сама сказала, что Герман приглашен на именины.

— И таинственный красный свет во время спиритического сеанса...

— От моего карманного фонарика, — пожал плечами Гарольд. — Я, знаешь, порядком продрог, пока вы там занимались черт знает чем. Эта неожиданная темень меня, признаюсь, насторожила. Но окно было распахнуто, и, взобравшись на карниз, я начал прислушиваться. Зачем твоя тетка затеяла в присутствии Германа эту комедию с вызыванием духов? Начиталась старинных романов?

— Она полагала, что только дух несчастной Ироиды в состоянии был взорвать все как бы изнутри. Она считала эту меру жестокой, но необходимой.

— И все-таки посадила соседскую девчонку за портьеру, чтобы та в нужный момент стучала. Значит, не была уверена, что контакт с духами состоится?

— Ты грубый, вульгарный материалист, — оскорбленно заметила я. — И в этом твоя трагедия. Ты полагаешь, что весь состоишь из своего толстого тела и колючих усов. Ты не веришь в существование собственной души, значит, у тебя ее нет.

— Сдаюсь, сдаюсь! — в комическом испуге поднял руки Гарольд. — Наша амазонка, кажется, перешла в наступление, а с ней шутки плохи. И все-таки я не услышал ответа на свой вопрос.

— Да, она не была заранее уверена в успехе задуманного предприятия. Боялась сбоев, неожиданностей, поэтому и пригласила соседского ребенка. Ей нужен был жесткий сценарий, и она его составила. Ну, как ты этого не понимаешь?

— Так или иначе ваш спиритизм оказался мне на руку, — вел далее Гарольд. — Окно было распахнуто, и мне удалось мигом вскочить на подоконник, едва послышались выстрелы. Признаюсь, когда я осветил своим фонариком всю эту сцену, мне стало не по себе... Онемевшие от ужаса гости сидят с раскрытыми ртами, этот негодяй целится поверх головы твоей тетки. Счастье, что его самодельный пистолет заклинило, он и меня мог уложить прямо на месте.

— Как ты думаешь, в кого он стрелял?

— В дух своей бедной матери, в твою тетку, в тебя, в этот мир, который он возненавидел с тех пор, как стал убийцей.

*

— Расскажи, как это произошло на самом деле, — тихо попросила я.

— Все просто. Мать требовала, чтобы он ехал с ними на юг, а он не хотел. Чтобы успокоиться, она начала пить воду из кружки, а потом в сердцах ударила ею сына по лбу. Он стоял у кухонного буфета, где лежал молоток для отбивки мяса. Поднял молоток и ударил мать по голове. Зачем это сделал, объяснить не может. Ударил и все. Мать начала падать без единого звука. Думаю, она уже была мертва. Но он продолжал бить.

— А мальчик?

— Он выскочил из комнаты и бросился к бабушке — защитить. Обхватил сзади. Толстой говорил, что задел его нечаянно, что ребенок случайно попал под удар. Тело мальчика он закопал в соседнем лесу. Он потом показал, где. В сером мешке был обнаружен сверток. Ноги прижаты к груди. На лбу — овальная рана, на затылке — несколько ран. Знаешь, когда увидел лицо этого мальчонки, еще почти чистое, без трупных пятен, я пожалел, что не прикончил мерзавца на месте...

Все было понятно. И уже не хотелось ничего слышать. Но он продолжал:

— Об остальном нетрудно, сама понимаешь, догадаться. Мать была слишком большая, и потому он не мог так просто спрятать ее тело. Он потом показывал, как это делал. Сел у левого бока убитой, положил ее лицом вниз. Поднял правую руку, отвел в сторону, а потом от подмышки резанул кверху и назад, от себя...

— Довольно, хватит!

— Бедро он вез в красной сумке-коляске, а голову и грудь — в рюкзаке, — как бы не слыша меня, говорил Гарольд, уставясь в окно. — Нож и топор выбросил в реку... Одно его подвело — под конец ему надоело со всем этим возиться, и коляску он оставил в кустах возле речки.

— Теперь, знаешь, мне уже никогда не избавиться от этого ужаса...

— Так не бывает, — упрямо покачал головой Гарольд. — Чтобы жить, надо уметь забывать.

— Но скажи, скажи Бога ради, на что он надеялся?

— Ни на что. Обыкновенный звериный инстинкт — сохранить себя. Любой ценой. Потому и пол замывал, и ремонт затеял, в темный цвет перекрашивал окровавленный кухонный буфет...

— А Валентина, вторая жена, она знала?

— Думаю, догадывалась. Он пообещал к ней вернуться и просил показать, будто она видела Ироиду с малышом в тот вечер.

— А этот странный дневник — зачем он показывал тетушке накануне?

— Трудно сказать. Он чувствовал, что его подозревают, даже начал зачем-то выслеживать тебя. Примитивной логикой здесь ничего не объяснить. Дневник — как доказательство, что его мать — чудовище...

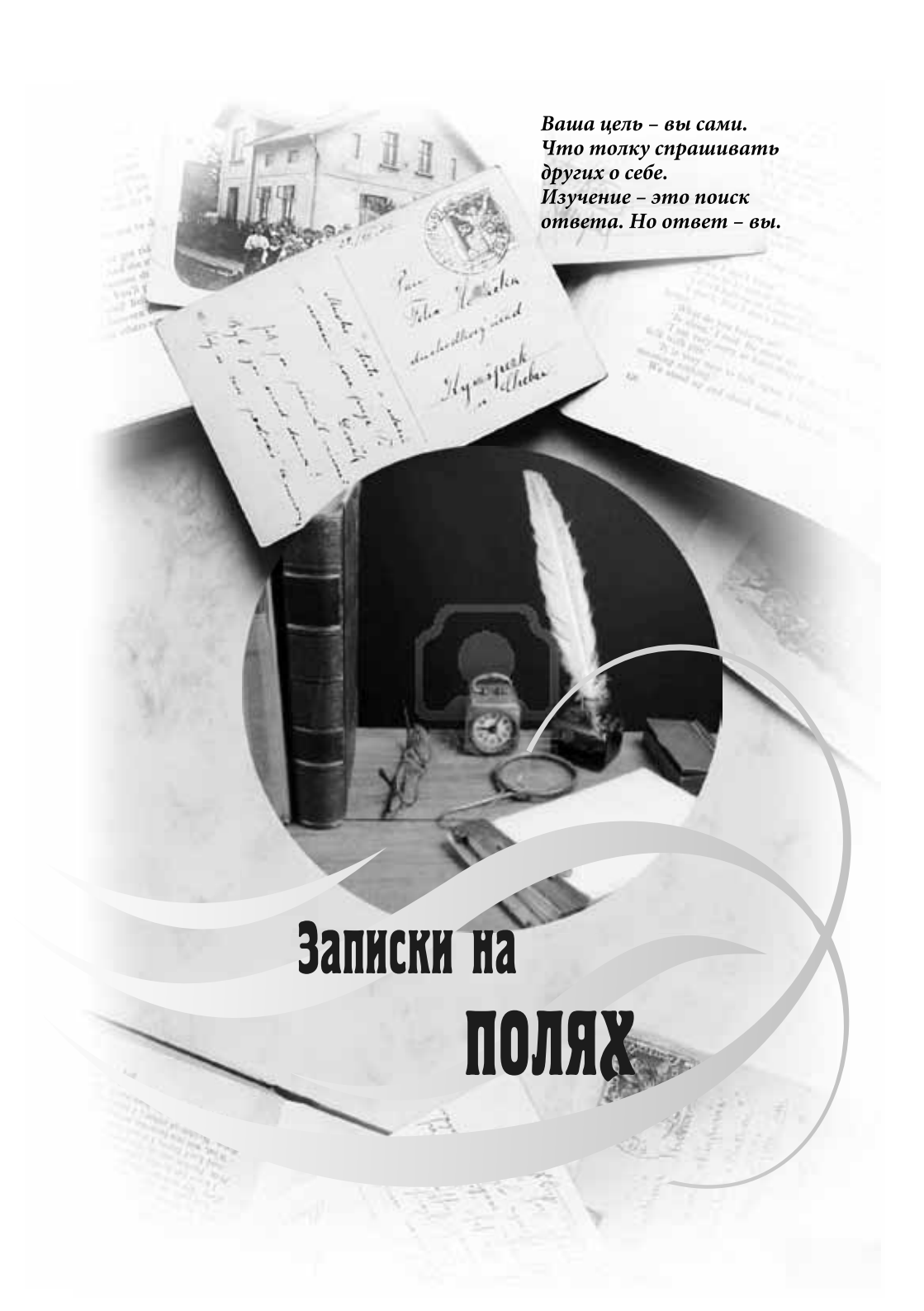
— Как ты думаешь, что его ждет?

— Разумеется, расстрел, — бесстрастно произнес Гарольд. — Что же его еще может ждать?

— Он носил в душе свой ад и, наверное, отчасти искупил свое преступление...

— Ну, если Чистилище действительно существует, то самое страшное у него еще впереди, — заметил Гарольд, возвращаясь к своей безразмерной чашке.





*Ваша цель – вы сами.
Что толку спрашивать
других о себе.
Изучение – это поиск
ответа. Но ответ – вы.*

Записки на ПОЛЯХ

Бал Сатаны

В те глухие годы, отливавшие, как замечали некоторые, оттенками бормотухи и «Чинзано», было тоже непросто спастись от отчаяния и того мертвящего «ничто», что подстерегало тебя повсюду. «Мастер» заменил мне библию. Его я непременно читала на ночь.

Для спасения существовала одна возможность — создать свою личную Тайну. Да ее и не нужно было создавать — она всегда была рядом. В самые тяжкие минуты я знала, что бал Маргариты — это и мой бал. Самая прекрасная возможность Осуществления и Ухода. Тайна была анестезией, которая помогала пережить настоящее — безводную пустыню мертвых призывов и мертвых слов, считываемых со слепых гранок, которые завтра превратятся в очередной номер мертвой газеты.

Возвращаясь домой далеко за полночь, после изнурительных газетных дежурств, я предвкушала, как поднимусь к себе, разденусь и лягу в постель со старым потрепанным журналом.

Я и сейчас храню его в укромном месте — вдали от полного собрания сочинений Мастера. Как драгоценный флакон из-под любимых духов. Иногда открываю, чтобы вдохнуть забытый аромат. Ночь, окно распахнуто в старый дворик, где живут летучие мыши. Мне тридцать лет, как и Маргарите. И значит все возможно — обещание Встречи, волшебный крем, нагота и Полет.

*

Времена, когда Мастера еще не растащили на цитаты и ремарки, как перья из распоротой подушки. Он ходил в списке полузапрещенных авторов, а его случайно изданные в период поздней оттепели отдельные произведения прочно осели в глубине книжных

сокровищ истинных любителей изящной словесности. Времена, когда «Собачье сердце» в машинописном виде читали тесным кружком в новогоднюю ночь, а писательского музея на Андреевском спуске еще не существовало. В том доме странной постройки ютились случайные жильцы, и только на заборе чья-то упрямая рука выводила углем «Здесь жил Булгаков». Надпись убрали, но она появлялась снова.

А старый потрепанный журнальчик «Москва» мне в руки попал случайно. Увидев мое скучающее лицо на каком-то жутком «совещалове», дяденька в сером костюме, проходя мимо, соболезнующе произнес: «Я вижу, вы еще остаетесь. Вот, почитайте от скуки».

Позднее мне не раз приходила в голову мысль, что это сам Всевышний послал мне дяденьку в сером костюме. Не исключено, что то была высокая демоническая сущность. Ведь он подарил мне бал Сатаны. И я была очень благодарна за этот подарок.

Театр Карабаса Барабаса (из письма Альфреду Тульчинскому)

«...Как точно вы, Альфред, сравнили многие наши современные отечественные издания с «холодными тушами», что раздавливают не одну человеческую душу. От этих словесных «жвачек», прошедших через печатный пресс, действительно гарантирован стойкий душевный кариес.

Появился особый род — «человекопренебрегающей» журналистики. Прочла о том чувстве гадливости, которое вызвали у вас телевизионщики и редакторы республиканских газет, которых вы встретили в Киевском аэропорту, приехав на родину. А я припомнила иную сценку — свидетельство нового порога унижения нашей «четвертой власти».

Редакционный «предбанник» одной из харьковских газет, где по пятницам разыгрывается спектакль под названием «Подайте нищему журналисту!». Шеф поехал за очередной подачкой к дяде-спонсору (сама

газета не в состоянии себя прокормить, да, в общем, и не пыталась по-настоящему). В последний раз шеф вручал конверты с деньгами месяц назад, но содержимого хватало разве что на неделю.

Если у кого-то из сотрудников возникает робкий вопрос касательно больничных, отпускных или детских пособий, шеф раздраженно обрывает: «Социализм давно окончился, голубчики! Теперь живем при капитализме».

Ну, чем не театр Карабаса Барабаса с его плачущими Арлекинами и перепуганными Мальвинами? Только вместо длинной семихвостой — короткая денежная плетка, которой кукловод загоняет своих подданных в голодное стойло. И заметьте, «куклы» смирились со своей ролью, боясь, как бы в другом месте не было еще хуже.

О настоящей оппозиционности нашей прессы мечтать не приходится...»

Уже никогда...

Нет Сахарова. Мир без Сахарова. Наш мир. Уже никогда, чуть согнувшись, не поднимется на трибуну. Никогда его резкий голос не воззовет к совести. Застонала, спрятав лицо в ладонях. Как унизил, как раздраженно оборвал, когда Сахаров протягивал ему папку с письмами от народа.

В последние годы, начиная с того самого первого съезда народных депутатов, этот вчерашний изгнанник, ученый-правдолюбец стал для нас очень близким, почти семейным существом. И вся надежда была на его мужество и противление Лжи. И почти по-семейному раздражало его заикание, неумение говорить с высоких трибун. Его уже снова начинали превращать в фигуру одиозную, в эдакого старичка-чудачка. Ему не давали выступать, обрывали на полуслове, полужапе. Но он все равно рвался что-то сказать, договорить. Милый наш, бедный! Еще вчера ты был здесь, с нами, и вдруг — нет тебя. Наказал, ушел, растворился.

Теперь его душа витает над залом. Над всеми нами. Воистину — нет идеи выше идеи жизни. Только — идея бессмертия.

Фиолетовый взрыв

Есть в мире поэта Романовского особые световые частицы, делающие его непохожим на все остальные миры. Частицы фиолетового цвета, одного из самых сложных, многоликих и таинственных цветов в природе. Кто из нас не видел неба в фиолетовых разрывах туч, когда солнце, кажется, вот-вот вынырнет из глубины фиолета, создавая особую предгрозовую поэзию летнего неба...

Мир фиолета — это время цветения хризантем. Цветов, что пахнут землей, расставанием и вечностью. Время икс. Ожидание неизбежного.

Вспомнила Третьяковку и себя, замершую у «Сирени» Врубеля. Там тоже был взрыв. Но — сиреневый. Ликующее торжество сирени венчали воздетые к небу руки прекрасной юной девы. Дева и сирень были частью единого целого. Сирень — как пьянящее марево торжествующей молодости.

Взлететь! Да, вот желание, что возникает при встрече с Тайной — будь то поэзия, живопись или музыка. Оно окатывает ваши плечи искрящейся праздничной волной. Мы не летаем только потому, что убеждены в собственной бескрылости. Мы ограничиваем себя сами своим неверием, колебаниями и оговорками. И это — непроходимой стеной стоит между нами и жизнью.

Сознание — как мгновенное проявление океана бессознательного, и в каждом мгновении — весь временной ряд: прошлое, настоящее, будущее.

*

...Когда-то мы со Славой Романовским работали в одной газете. У кого-то из наших был день рождения, и мы устроили дружеский междусобойчик. Болтая о том, о сем, я не заметила, как Слава исчез. Через

полчаса он появился и прочел стихи, которые написал только что в соседнем кабинете. Стихи были о лесе, точнее о том, что у леса существует Душа. И эта мысль о лесной Душе поразила тогда меня своей неожиданностью и простотой.

Хэлло, Долли!

Он непостижим, неуловим. Таинственен, как Киплингский кот и мечтателен, как странствующий рыцарь. С юных лет бредил мушкетерским шпагами, алебардами и белыми призраками посреди развалин старинного замка. На его визитной карточке можно было прочесть «Валерий Гитин, шеф-редактор Харьковской штаб-квартиры Ассоциации детективного и политического романа».

Однажды, сидя в редакции, мы вспоминали незабвенные времена, когда зимний Харьков сиял витринами, пах апельсинами и кофе, а он, рыжебородый режиссер, ставил спектакль под названием «Хэлло, Долли!».

Свой молодежный театр он решил назвать «Синяя птица». Хотел ставить Метерлинка. Но партийным чиновникам такое название показалось странным, и театр пришлось переименовать.

Мы говорили о тяжелом катке, которым проехало по нам то время, когда мы были молодыми. Чтобы не потерять собственную душу, требовалось либо заключить ее в бронированную камеру, либо «стать туманом», сквозь который все проходит, не тревожа и не задевая. Валерий предпочитал «стать туманом», считая это наилучшим способом избавиться от Страдания. Он называл себя «великим грешником», будучи режиссером массовых зрелищ на потребу дня. Очень любил батальные сцены — штурмы рейхстага, атаки красных кавалеристов, гусаров, казаков.

Когда рухнул режим, решил создать свой театр детектива, потом ушел в литературу и написал много книг.

— Скажи, ты веришь в бессмертие души? — спрашивала я у Валерия. И он отвечал:

— Верю. Есть великая целесообразность и смысл в том, что ничего не исчезает бесследно. Да, мы повторимся, изменится только оболочка. Кстати, количество умерших и количество живущих на Земле всегда одинаково.

— Этим можно утешаться, не так ли? — иронически улыбалась я в ответ.

Он ушел внезапно, для всех — неожиданно, вызвав ощущение покачнувшейся земной тверди. Стал туманом сумрачного ноябрьского дня. Проходя мимо старого здания из красного кирпича, где жил он, я увидела массивный трагический купол, над которым клубился искрящийся серый туман.

Маленький душевный стриптиз

Женщины никогда не раздеваются до конца. Стриптизерши оставляют тоненькую полосочку на символических трусиках. Она служит их защитой. Они периодически подергивают ее, чтобы придать ситуации пикантный характер. Но потом полосочка возвращается на место.

Сохранение тайны — необходимое условие существования женщины. Женщина хранит свою тайну до конца и ни с кем не желает ею делиться. Таков ее способ защиты от внешнего мира. Она хранит и хранит свою тайну, пока та не превратится в прокисшее вино.

У мужчин нет тайны. Здесь все открыто и все — на показ. Стрельба на поражение — вот символ мужского естества. Их тайна — в основном инстинкте. Когда мужчины пишут книги или картины, когда они сочиняют, а затем исполняют музыку, полную великолепия и страсти, мы видим вздыбившиеся фалласы под одеждой у оркестрантов. Таинственный процесс превращения грубого желания в торжествующую власть гармонии, мощи и красоты. Трубный зов оленя в лесной чаще. Салютующая сперма, рождающая все главное в человеческой, точнее — мужской цивилизации, включая науку, искусство, религию, социальные и технические революции, где созидание и смерть спаяны намертво.

В конце концов, если убрать этот основной базовый инстинкт — что останется от мужчины? Да так, почти ничего. Разве что аденома простаты.

Депрессия начиналась с тайного желания

Бросить камень в стекло проезжающей машины. Потом, когда из нее выскочит угрожающего вида мужик с монтировкой наперевес, выстрелить раз, другой и третий.

Пока не успели схватить, остановить такси и приказать ехать по указанному адресу. Приказать ехать в деревню, за семьдесят километров отсюда. Там темно, лают собаки и нет ключей от старой искареженной входной двери. Зайти в соседний дом и настойчиво напроситься переночевать.

Или — нет. Назвать свой собственный адрес и мчаться в сырую умирающую осень, пока не остановят и не схватят. Отстреливаться до конца.

*

Она смертельным гадом вползла в мою жизнь, парализуя волю. Волю к жизни. Я чувствовала, что попала в какую-то студенистую петлю времени и выбраться из нее не в силах. Долгое время я пребывала в этой петле, завидуя любой бабе, с удовольствием выполняющей простую работу, связанную с мытьем полов, приготовлением пищи или копанием садовых грядок. Любая малограмотная баба была в тысячу раз счастливее меня.

Сидя в самом центре мироздания в старом расшатанном кресле — большая, нелепая, с угрожающе растущей холкой, я говорила вслух: «Dixi. Бог отвернулся от меня».

Просыпаясь по утрам, я чувствовала, что вместе со мной проснулся и грозно зашевелился громадный черный паук, державший меня в плену неподвижности. Он не хотел отпускать свою добычу. Пытаясь

отстраниться от его мохнатых лапок, я оставляла хаотичные записи на случайных листках. Отчаяние и безнадежность. Бессилие и пустота. Хотелось совершать дикие, безрассудные поступки.

Паралич воли стремительно перерастал в суставную болезнь, грозя парализовать всякое движение. Я пыталась заключить сделку с судьбой.

— Сожги все это немедленно! — с ужасом и отвращением в голосе повторяла мне давнишняя воцерковленная приятельница, когда я попробовала поделить с ней содержанием своих тайных записок.

— Нет, я сделаю это сама! — решительно добавила она, заметив тень сомнения на моем лице. — Я сама сожгу эту гадость прямо на улице, во дворе дома.

К тому времени я уже плохо ходила. Стояла, опираясь на трость, пока воцерковленная жгла дьявольские листочки. Они не хотели гореть, дымились и гасли, но в арсенале моей знакомой был целый спичечный коробок.

Наконец, все сгорело, и мы вернулись домой. Приятельница наставительно повторяла, что теперь дьяволу дан бой, а значит болезнь должна отступить.

Меня не покидало ощущение смутной утраты, будто вместе с этими записями сгорела часть меня самой. Я гнала от себя эту мысль, но она возвращалась. И пока знакомая рыскала по балкону в поисках не до конца уничтоженных следов дьявола, я воровито, боясь быть застигнутой, спрятала в недоступном для нее месте попавший мне на глаза последний, чудом уцелевший от огня, дьявольский листок.

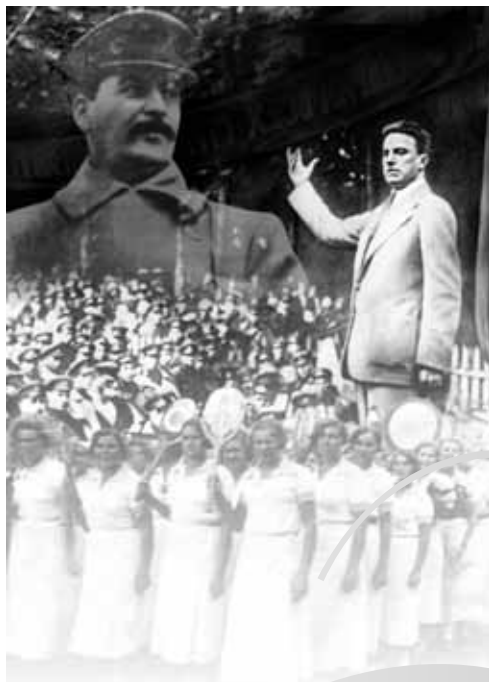
...Однажды утром я почувствовала Его физическое присутствие. Мой Бог был со мной. Он был рядом — в проеме домашней гипсовой колонны. Такая короткая близость поначалу смутила меня. Я была не готова. Но Бог оставался рядом, всегда был рядом.

Погруженная в мышиную суету дня, я забываю об этом. Но с наступлением ночи, когда погашены все огни, я обращаю свой взор к Нему и осеняю себя крестным знамением. Он принимает мою просьбу простить мне все.

Он велик и всеблаг. Он — мой родной.

*“...Какой нас Дьявол ввел в обман?
А мы-то кто при нем?
Но в мире нет ее пространств
И нет ее времен...”*

Борис Чичибабин



Гибель Империи

Конец бессмертия

Смерть самого близкого существа заставляет усомниться в бессмертии души. До тех пор, пока она была жива, существовала эта, казалось, нерасторжимая связь. В тридцать лет я обращалась к Богу: «Господи, сделай так, чтобы я ушла раньше. Я не переживу Этого».

Когда Это случилось, всё окончилось. Она коченела на глазах, превращаясь в мертвое тело. Но я еще была с ней, чувствовала ее до того момента, когда перед опусканием в землю трижды запечатлела Иудин поцелуй на ее челе.

Потом связь оборвалась. Ее не стало. Наступило освобождение. Пришло другое: «Где ты, родная?». Ответа не было. Не было ничего. Только ощущение глубокой детской обиды и чьей-то издевательской насмешки. Наутро седьмого дня я почувствовала, что она поселилась во мне. Но — странно как-то: фотография молодой мамы лежала на дне души — как на дне кармана: тихо, безропотно, мертво.

Так продолжалось три дня. Я просила ее: «Не улетай! В моей душе так много места. Ты живи во мне, оставайся маленькой капризной девочкой. Мы будем счастливы вместе, как в те дни, когда мы были только вдвоем и я наигрывала тебе на черном пианино».

Три дня я носила ее в себе, что, правда, не мешало мне отравлять ее сигаретным дымом и случайными суетными мыслями. Она покорно и мертво терпела.

К концу третьего дня я почувствовала трепетанье крыльев — птица рвалась из клетки. Я просила ее: «Не улетай!». Но утром ее уже не было. Оставалась только смерть.

Пройти через все

Каждая индивидуальная история от рождения до смерти — это история потерь. Малых, больших и самых больших. По замыслу Творца нас должно протащить через анфиладу пространств, в каждом из которых мы оставляем частицу себя, начиная от потери молочных зубов и оканчивая утратой последней иллюзии.

Мы постоянно что-то теряем — невинность помыслов и веру в Чудо, первую любовь и любовь последнюю. Теряем упругость кожи, гормональную защиту, веру в собственное бессмертие, прочность костей, надежду на Высшую Милость.

В детстве мы особенно остро чувствуем эту великую Несправедливость, рисуя картину человеческой жизни вспять. Как хорошо, говорим себе, если бы мы появлялись на свет очень старенькими и немощными, а потом, по мере взросления, наливались бы силой и красотой. В зените жизни мы насладились бы благоухающими драмами юности, постепенно преображаясь в подростков и детей, чтобы закончить свой путь в колыбели, становясь все меньше и меньше. — пока не превратимся в светящуюся точку.

Не смейтесь над детскими причудами! Все, порожденное нашим сознанием, наверное, существует где-то в иных мирах. Однако предложенная нам реальность не оставляет Выбора. Нужно пройти через всё, чтобы прийти к своему Ничто.

Разговоры о щедрых дарах старческого опыта — всего лишь призыв вежливости для банкрота, поставившего на кон всё и всё проигравшего. Попытка нанести румяна на безжизненную бледность лица и спрятать пугающую синеву вздувшихся вен.

Старость вовсе не мудра. Напротив — мелочна, зла и нетерпима ко всему, что ей уже недоступно. В схватке с Жизнью и впрямь никто не выходит победителем. Другое дело — схватка со Смертью. Смерть — единственная реальность, которая заслуживает почтения. Хотя бы потому, что мы не знаем о ней ничего. Приглашая к наслаждениям жизнью, Эпикур говорил своим ученикам: «Пока мы живы, смерти нет. Когда же она придет, нас не будет».

А что будет? Ответ на этот вопрос не в состоянии дать никто из живущих. Не знал его и сам Эпикур. Наверное, ему просто хотелось утешить своих слушателей. Дескать, ТАМ уже не будет больно. Так что бояться не стоит...

Обещание Рая, Воскрешения или Перевоплощения — всего лишь игры человеческого разума, попытка сторговаться со Смертью на уровне будничного сознания. Но Смерть не вступает с нами в торги. Она хранит свою Тайну и не желает ею делиться ни с кем. Перед лицом этой Тайны нам остается только молиться и плакать. НЕОПЛАКАННАЯ СМЕРТЬ ОСТАЕТСЯ В НАС, РАЗРУШАЯ И УБИВАЯ.

Мы не бросились ее спасать

Двадцать лет назад я не раз задавалась вопросом: возможно ли это — проснуться однажды утром и почувствовать себя человеком без Родины? И при этом не умереть, не стать эмигрантом, не быть навсегда выброшенным в черное и безвоздушное космическое пространство. И отвечала себе: да, так бывает. В тысяча девятьсот девяносто первом году миллионы моих соотечественников испытали это. У них отняли Родину.

Это случилось в конце декабря. Год умирал, день умер, и среди непроглядной тьмы за окном нам объявили, что страна под названием СССР навсегда исчезает с карты мира. В подтверждение сказанному прозвучал гимн Советского Союза — как похоронный марш.

Это было иное, чем смерть одного даже самого близкого существа. В осознании этой Кончины «я» нерасторжимо переплелось с великим множеством «мы».

И — самое страшное: за этим свалившимся на наши плечи коллективным сиротством стоял не естественный процесс смерти и не жестокая природная неминуемость, а злая и преступная человеческая воля.

...Какие-то дяди, исполненные политическими амбициями и человеческой скверной, страдающие изжогой честолюбия и властолюбия, собрались в какой-то Пуще, чтобы, изрядно промочив для храбрости горло, вынести приговор той исторической данности, которая звалась нашей Родиной.

Какая-то неподвластная разуму социальная мистика! Занавес, ведушый в темные глубины политического алькова, где роились тени подписантов смертельного приговора, на мгновение раздвинулся, и нам объявили: «Её больше нет».

Но это была неправда! Она была жива — растерянная, больная, истерзанная, но — живая! И мы не бросились ее спасать. Как бедные родственники, что бестолково топчутся в прихожей, мы даже не заплакали — так, украдкой утерли уголки глаз платочком.

В одной из своих газетных статей начала девяностых я пыталась передать это странное, чудовищное ощущение: «...Нет, мы даже не проспали свою Родину. Мы прозевали ее кончину, прозевали целую эпоху, частью которой были. Мы в это время орали на митингах и площадях, злорадно упивались очередными газетными разоблачениями, толкались в очередях за дешевым стиральным порошком и дефицитными носками.

В жестокой давке у кого-то случались даже сердечные припадки. Миазмы конца, агония распада витали над нами, окутывая душным облаком и вынуждая сердца проваливаться в темную полынью, чтобы потом испуганно выпрыгнуть и снова забиться. Но уже без прежней уверенности в завтрашнем дне. Завтра как-то вдруг окончилось. На его месте выросла унылая стена серого цвета...».

Заберите меня в СССР!

В вечной книге душевных страстей есть особый раздел — психология Утраты. Чтобы смириться со Смертью, человеку, как и обществу, необходимо принять все стадии потери. Утративший должен пройти свой Крестный Путь Скорби, чтобы в конце, если повезет, пробиться к Свету.

В моменты больших потрясений мы нередко зашториваем сознание, как бы отстраняясь от самих себя. Включается бессознательная защита от Боли. В первые недели, даже месяцы после смерти Союза я, как и многие, испытывала странное бесчувствие. Боли не было — только ощущение ирреальности происходящего. Сказала себе: «с этим придется жить». И попробовала жить.

Но не тут-то было! Главный ужас был впереди. Реальность, в которую мы вступили, напомнила хрупкий лед, грозящий обвалом в Бездну.

Была весна — первая весна после Смерти Союза. Время для ностальгии еще не пришло. Мы находились на отколовшейся льдине, и нас тащил в неизвестность стремительный мутный поток.

Но осознание Утраты уже незримо витало в воздухе. Одна милая, «рассерженная» дама, сохранившая шубу «со старых добрых времен», неожиданно воскликнула с телеэкрана: «Заберите меня в СССР!».

В миллионах сердец это вызвало ответный болезненный отклик — «Заберите!».

У западных наблюдателей было ощущение, что здесь, у нас, послевоенная эпоха закончилась и началась предвоенная. Но мы, находясь в центре Тайфуна, даже не задумывались над этим. Нас несло, и остановиться было невозможно.

Угрюмая толпа за хлебными буханками по новой цене. Ничего другого в магазинах нет. Народ запасается хлебом, а заодно — спичками и солью.

Народ уже загодя готов к тому, что буханка хлеба вскорости будет стоить «лимон», как во времена гражданской войны, а советским рублем, как когда-то «керенками», можно обклеивать разве что стены сортиров.

С нового года ввели бумажные фантики вместо денег. За «фантики» можно купить четыре бутылки водки в месяц или одну большую банку сельди. Утром первого января началась новая жизнь. Жизнь без денег и без еды.

Шоковая терапия вылилась в банальный шок, операцию без наркоза. Наступала новая эра. Эра немилосердия. Приходилось ее обживать, хотя ей мы были уже не нужны.

Наступал мертвый сезон. Это — когда свинцовое небо над головой, а зловещая темень вечеров наваливается вдруг, грозя раздавить. Мертвые сезоны случаются и в разгаре лета, и в зените жизни, и даже тотчас после обретения независимости.

Мертвый сезон вползает в сознание и души, как серый смог безнадежно дождливого дня, как гримаса безграничной усталости после долгого лихорадочного возбуждения. Как догадка о первородном грехе, в котором поучаствовал сам Люцифер.

Я проклинаяю!

Следом за разочарованием и болью приходил Гнев. Мы обвиняли себя, Бога и других за то, что мы потеряли. Мы не в состоянии были жить в этой предложенной нам реальности.

— Я проклинаяю отщепенца Горбачева, который погубил нашу Отчизну! — кричал в телекамеру седеющий представитель казачества из Дубоссар. — Я Бога молил, чтобы вернуться в восьмидесятые, когда это все только начиналось.

— Большая бойня еще впереди! — предупреждала адмирал женской гвардии Андреева. — Мы, женщины, уже брали транспортеры. Мы ни на шаг не отступим в этой борьбе.

— Все это естественно, — откуда-то сверху снисходительно поучал нас политолог Глеб Павловский. — Свобода, как состояние, и не бывает другой. Она открыта. Она сомнительна. И она опасна. Но разве не этого риска мы, собственно, и желали?

Нет, мы желали совсем не этого. Нас обещали сделать свободными людьми в свободной стране. И мы наивно поверили в это. Но реальность была совсем не той, на которую мы рассчитывали. Теперь

мы отбивались от нее, но она настигла нас, как хищник настигает добычу.

Мы вошли в состояние перемен оплеванными, с огромной черной дырой вместо истории, чувствуя себя совками и маргиналами. Нам необходимо было за что-то уцепиться, найти подпитку смыслом. Но никто не предлагал смыслов. Нам предлагали рынок, который всегда, еще со старых времен, ассоциировался у нас с базаром, куда мы привыкли ездить по воскресеньям за продуктами.

Нам предлагали принять эту действительность, подсовывая какие-то мифы, эрзацы, основанные на большом лукавстве и тотальной лжи. Мы были вынуждены принять слишком много, — гораздо больше, чем были в состоянии принять.

...Когда-то нам говорили, что социализм — это хорошо, но оказалось, что плохо. Нам говорили, что капитализм — это плохо, но оказалось, что хорошо. Нас уверяли, что порядочность и честность — это прекрасно, но оказалось, что глупо. Нам внушали, что быть спекулянтom, хапугой и вором — смертельный грех, но получалось: как раз то, что нужно.

Позднее нас уверяли, что демократия — воплощение наших надежд, но выходило совсем не так. Нам буквально вдвухали в уши, что «незалежність» — скоростной лифт в Царство небесное...

Неважно, что мы вели себя как дети, поверив словам. Мечта оказалась мертвой. Нас предали, использовали, а теперь отстраняли с дороги, как ненужный хлам. Такое ранит глубоко. Это — как смертельная болезнь, она убивает все, что находится в ее поле зрения. Мы проиграли. Слова оказались лопнувшими мыльными пузырями. И приходила догадка — неожиданная как пощечина:

Меня отучают жить

Противный хмурый день. Толпа в ожидании троллейбуса растет и разбухает. Дама в черной вуалетке поверх меховой шапки рвется к открытой дверце такси. Водитель интересуется, известно ли ей, что услуги таксомотора подорожали в пять раз.

— Ну, конечно, конечно! — щебечет вуалетка и впрыгивает на заднее сиденье.

Мрачно смотрю вслед замыганному такси. Очень холодно и мерзко. Но эта роскошь мне уже не по карману. Да и не только мне. Даже

в кино на дневной сеанс, где стоимость билета подскочила ровно в десять раз, многие тоже не пойдут.

Не покидает навязчивое чувство: меня отлучают от всего. Для начала — от всех без исключения продуктов питания. Планка ценового барьера ежеминутно повышается, мне ее не перепрыгнуть. Когда-то, припоминаю, обычная шоколадка помогала смиряться с жизнью. Но шоколада нет. Даже полушоколадных конфет днем с огнем не сыщешь. Леденцы тоже становятся дефицитом, хотя конфетная фабрика, говорят, продолжает работать. Куда все подевалось?

Помню, я как-то привезла маме ее любимые пирожные «картошка». Я считала, что мне повезло. Правда, лишенные даже намека на шоколад, они напоминали фиолетовые трупики. Мама посмотрела на пирожные и расплакалась. Я тоже расстроилась и стала уверять маму, что пирожные свежие, а других просто нет. Мама постепенно успокоилась и перестала плакать, но пирожные есть не стала.

С некоторых пор мне заказано почти все. Заказано ездить в такси, покупать приглянувшуюся статуэтку в художественном салоне, нарядный букет к празднику.

Заказано мечтать о поездке к морю хотя бы на две недели. Я давно собиралась съездить на север России, где родилась и выросла моя бабушка, и пожить там, сколько придется. Теперь это вряд ли получится. Мне уже не вернуться в те дорогие сердцу места, где я чувствовала близкое присутствие Бога.

Отныне моя участь — быть незаметной серой мышью, что уныло хрустит сухариком в своем подполье.

Оставалась последняя цитадель, последний, еще не взятый врагом редут: сигареты и кофе. Я отчаянно сопротивляюсь: это мое больное место. Мое орудие труда, если хотите — последний оплот самоуважения. Но боюсь, они победят и на этом фронте. Они — сильнее.

Кажется, там, наверху, засели ярые поборники теории Мальтуса. Они считают, что нас развелось слишком много. Места под солнцем все равно не хватит для всех. И потому мы просто обязаны уйти. Тихо, по-английски, желательно — целыми поколениями. И чем быстрее, тем лучше.

Меня отучают улыбаться. Наметилась резкая складка у переносицы — аллергическая реакция на окружающий мир, где царит бульдожья хватка. Отучают надеяться, жалеть стариков, птиц, бездомных собак. Отучают уважать себя. Одним словом, меня отучают жить.

Чтоб Кафку сделать былью

Первая весна после смерти Союза демонстрировала inferнальный мрак. Слова перестали быть объяснением и опорой — они-то и привели к тотальному обрушению всего и вся.

Позже возник иронический перефраз известной советской песни: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». Нечто потустороннее, кафкианское происходило со всем еще вчера советским народом, который, проснувшись в одно плохое и хмурое утро и физически ощутив себя каким-то чудовищем, скользким насекомым, в ужасе закричал: «Нет!».

Не покидало острое чувство опасности, будто с мощного корабля пересел в небольшую шлюпку посреди открытого океана, где неизбежно потонут слабые, взывая к Богу и социальной справедливости.

Старые и новые шлюхи идут на панель

Москва и Киев срочно вживались в свою новую капиталистическую роль, активно торгуя импортным пивом, кроссовками, патриотизмом, концессиями.

Лихорадочно перекусившиеся в новую веру вчерашние советские бонзы пересаживались из своих черных «Волг» в пугающе шикарные черные «Мерсы», на глазах превращаясь в «авторитетов» и новых хозяев жизни.

Растратив весь свой пыл в борьбе за подрывание основ большевистской Империи, наши демократы как-то вдруг успокоились, будто уже войдя в царство небесное, и с большевистской готовностью отказались от «химеры нравственности».

По-видимому, это уже написано на роду нашей придворной журналистики — переходить от злобного рыка в адрес умершей власти к бальным пируэтам в адрес власти новой.

Мертвая ожила!

Вы только посмотрите — мертвая ожила! Подняла голову, привстала и даже глазами сверкнула, наливаясь азартом и здоровой злостью. Радуйтесь и веселитесь! Кондровое партийное пугало — газета «Правда» стала в позу к нынешней «демократической» власти.

Вытолкнутая на рыночную панель, проверенная с 1905 года «партийная девочка» и официальная придворная фаворитка, державшая в покорном страхе весь советский печатный бомонд, неожиданно повернулась к народу передом, а к правительству — задом. И даже подол задрала для пущей важности.

Куда подевался прежний барственный тон! Нацепив траченную молью буденовку и оголив, на французский манер, одну грудь, картинно призывает народ на баррикады сопротивления антинародному режиму.

Еще вчера мертво вещала спускаемую сверху «правду». А сегодня, как в пьяном угаре, режет правду-матку. У народа к такой метаморфозе интерес проснулся и даже зашевелился — выстраиваются у газетного киоска. «Эй, молодой человек! Развлечься не желаете? Возьму недорого».

И, что занятнее всего, это срабатывает! Интерес к «Правде» проснулся и зашевелился не только в простом народе, но и у интеллигенции. Теперь самые честные, самые совестливые и болеющие за страну предпочитают писать сюда, а не в «оголтелую» демократическую прессу. Даже большевистские уши, которые торчат отовсюду, раздражают почему-то меньше, чем лукавая словесная эквилибристика, имеющая только одну цель: доказать, что слова существуют затем, чтобы скрывать собственные мысли.

Да, быстро выдохлась демократическая пресса. Ползает перед властью на брюхе. Поскуливает робко, заискивающе в глаза заглядывает. Зачем, дескать, вы, Борис Николаевич, окружаете себя нехорошими мальчиками, от которых мы защищали вас в августе у Белого Дома. Тоже мне защитнички, на которых никто не нападал...

Полный — назад!

Двадцать лет назад, когда перед застрявшим во льдах прошлого огромным кораблем, казалось, уже открывался свободный путь в будущее, случилось то, что позднее назовут чудовищной Исторической Подменой.

Это было за чертой разума, когда вместо команды «Полный вперед!» судно получило наказ «Полный назад!» и стало активно пятиться в непролазные льды прошлого — ко временам зарождения капитализма в царской России.

Этот дикий капитализм после социализма был странным, чудовищным извращением ума тех, кто стоял на капитанском мостике. Каким-то противоестественным выворачиванием Истории наизнанку. Движением обратно — вперед.

Такое возвращение к досоциалистическим понятиям, как конкуренция, инфляция, безработица, звериная борьба за выживание немислимо без обвала внутренней сущности, глубочайшего потрясения основ человеческого существования.

Зло без образа

Буквально на глазах происходило стремительное срастание всего подлого, порожденного прошлой несвободой, и всего мерзкого, рожденного нынешней свободой. Эдакое срастание зла свободы и зла несвободы.

Незаметно для себя мы будто оказались в заколдованном лесу, который можно только расколдовать, но силой изменить нельзя. Или, может быть, только — силой? Вот оно — гоголевское «зло без образа», от которого нет спасения. Казалось, еще вчера страна была полна деятельными, энергичными людьми, и каждый был озабочен тем, как нам обустроить эту новую жизнь. А вот уже и нет никого. Какие-то тени мелькают, человекоподобные скалятся, норovia побольнее пнуть ближнего, а то и вовсе столкнуть с подножки.

И отсюда — страх. От него не спастись, не скрыться. Он всегда сторожит у порога, дожидаясь момента вашей физической слабости или душевной немощи.

Фабрика страхов

С этим Страхом мы вошли в девяностые, с ним вползли в новое тысячелетие.

Ежечасно и ежеминутно жизнь поливает в нас эти печальные всходы, что обещают развиться в пышные и зловещие цветы душевных депрессий. Воистину нужно быть неисправимым весельчаком или полным идиотом, чтобы не замечать этого.

Окружающее нас пространство — это бесперебойно работающая фабрика Страхов. Подобно раковой опухоли страх разъедает общество, меняя выражения лиц и картину мира.

Страх многолик и вездесущ. Он давно стал частью нас самих. Страх потерять даже то небольшое, что имеешь. Страх быть выброшенным на обочину, где тебя непременно растопчут. Страх заболеть и оказаться беспомощным. Страх подвергаться бесконечным унижениям жизнью. Страх умереть и подвергнуться унижениям смертью. Страх давно стал нашей национальной трагедией.

«Мы — словно инопланетяне»

В те странные и призрачные девяностые я брала интервью у поэта Романа Левина.

Поэт писал:

«Мы долго рвались из тенет
Всеобщей лжи и несвободы,
Но оказалось через годы —
Нам в этом мире места нет.
Мы в этом мире — чужаки.
Мы — словно инопланетяне.
Другими мы уже не станем...».

— Откуда это ощущение своей «чужести», «инопланетности»? — спрашивала я у поэта. — Ведь мы живем в том же городе, и пейзаж за окном остался почти тем же.

И поэт говорил о том, что «чужество» идет изнутри. Ведь город — это не только дома. И не только лица. Убрали таинственную подсветку — и все стало иным. Подсветку создавало время. Теперь оно стало другим.

Тогда это болезненное чувство преследовало многих.

— Теперь живем в иной стране, ином мире, чуть ли на другой планете, — грустил с экрана отечественный интеллигент и добавлял:

— А завтра будет Санкт-Петербург. И помни: это — бывший Ленинград.

«Быть осколком, живущим на осколке»

Наступало время, когда мы были вынуждены принять реальность, какой она есть. У нас просто не было иного выбора. Время сжалось. Страна сжалась, подобно шагреновой кожи, до размеров Украины.

Мы приняли нашу Утрату и даже смирились с ней. Но, смирившись, мы вышли из этого испытания другими. С утратой внешней целостности мы утратили целостность внутреннюю. Мы — будто рассыпались на кусочки. Мы потеряли себя и свой мир, попав в состояние иллюзорности бытия.

Странно это — чувствовать себя осколком рухнувшей империи, живущем на ее же осколке. Отныне ты — осколок, которому суждено вращаться в черном безвоздушном пространстве — подобно крошечному астероиду некогда взорвавшейся планеты Фаэтон. Конечно, такое вращение будет куда короче небесного, но эта потерянность и боль — тоже достояние неба, как и все, что случается на Земле.

Все происходившее напоминало картину Айвазовского «Девятый вал», когда оставалась только одна надежда удержаться на тонущем суденушке, уцепившись за утлую «щоглу». Смотреть на страшное грозное небо не было ни времени, ни сил. А жаль. Оно о многом поведало бы нам.

...Много лет спустя я нашла ответ на давно мучивший меня вопрос. И как ни странно — в «Исповеди» Святого Августина.

«Когда мы разрываем целостность, предпочтя ей часть и надея на ее достоинствами целого, мы отторгаемся Бытием, — писал он. — Ибо часть, которая подменила Целое в качестве «многого единства» и которая не согласуется с Целым, по сути своей, безобразна. Она несет в себе эффект помраченного сознания...».

«Конечно, можно говорить о «психологии части», рассуждал автор «Исповеди», но тогда мы имеем эффект «дробности».

«Дробный человек дробит реальность, низводит мир в низшие сферы. Он уже не одухотворен. Он утратил связь с Небом».

Став частью, осколком, мы обречены на зависимость — от власти, от себя, от других. От времени. Все сильнее — ощущение убывающего времени. Время сжалось, уплотнилось, как дробь. Время ополчилось на нас, стало неуправляемым. Превратилось в стихию.

Но это не время, это мы изменились. Мы мчимся вперед и на скорости теряем себя. Отпадает способность осознавать. Остается только — видеть, слышать, обонять, осязать.

Мы существуем как целостность, пока есть единая смысловая связь. Общий духовный Эгрегор, несущий в себе приоритет целей и ценностей, духовных устремлений, культурных особенностей, нравственных предпочтений.

Пространство, в котором мы жили, имело три основных измерения: Земля, Время и Небо. Когда оборвалась цепь времен, связь

между настоящим, прошлым и будущим, мы оказались оторванными от собственного Неба.

Много веков назад Святой Августин писал об этом: «Распалась связь времен и связь пространств. Сама основа разошлась в разные стороны. И разверзлась Бездна».

«К нам обернулась бездной высь»

Кончина Родины и смерть Поэта почти что совпали во времени. И это, наверное, не случайно. Так часто бывает, когда двое близких существ долгие годы живут рядом и слишком сроднились, чтобы пережить смерть другого.

Когда не стало Её, совсем не доброй и не ласковой, а чаще — напротив — бессмысленно жестокой и равнодушной, подвергшей Поэта испытанию застенками и нищетой, гонениями и забвения, он не злорадовался на могиле и не пинал прах «усопшей», подобно иным ее бывшим «сынкам», этим «покорным телятам», хищно припадавшим к ее сосцам, урча при этом о своих вернопопуданнических чувствах.

«Блудный сын» — он остался ее истинным сыном, скорбившим лишь о том, что в суете «дьявольских соблазнов» ему даже не дали толком с ней попрощаться.

Борис Чичибабин выразил чувства миллионов своих соотечественников, написав незадолго до смерти:

«...Я плачу в мире не о той,
Которую не зря
Назвали, споря с немотой,
Империю Зла.
Но о другой — стовековой,
Чей звон в душе снежист.
Всегда грядущей, за кого
Мы отдавали жизнь.
Она глумилась надо мной,
Но — как вела Любовь!
Я приезжал к себе домой
В ее конец любой.
К нам обернулась бездной высь
И меркнет Божий свет.
Мы в той Отчизне родились,
Которой больше нет...».

В своих стихах, возможно, даже не подозревая о том, Поэт повторил постулат Святого Августина: «Сама Основа разошлась в разные стороны. И разверзлась бездна».

«Мы просвистали свой Простор, проматерили Дух»

А еще говорят: человеческая жизнь — хрупка, подобно мотыльку. Империи же, как скалы, вечны. Социальная мистика вкупе с дьявольщиной взорвали скалу, пощадив мотыльков. Живите — как сумеете. Живите, если сможете.

...Чтобы чувствовать свою Родину, мне вовсе не нужно было колесить по ней из конца в конец. Можно было и вовсе подолгу не уезжать, однако чувствовать такую Возможность, как некую особую данность.

Достигнув зрелости, почти каждый из нас нес в себе целый улей воспоминаний. Ощущение простора, встреч, неповторимых мгновений жизни, даруемых новыми городами, иными пейзажами, иным укладом жизни.

Из жаркого белокипенья харьковской весны — вот так вдруг, по наитию окунуться в сумрачную, почти мартовскую прохладу серебристо-серого града на Неве, обалденно взирая на идущих навстречу дам в меховых мантиях и наслаждаясь изящной и строгой прелестью городских улиц.

И вот уже на смену питерскому туману приходят ослепительно яркие, почти вакхические краски батумского базара, свежее раннее утро на площади перед морским вокзалом, открытая терраса небольшого ресторанчика в горах, откуда виден почти что сказочный пейзаж.

А сколько добрых улыбок, сколько прекрасных, сияющих дружеским участием глаз! Нет, никогда не чувствовала я себя чужой, путешествуя по родной стране.

Deus conservat omnia

Я не чувствовала себя чужой, останавливаясь в какой-нибудь маленькой сибирской гостинице с тихой и доброй дежурной. Мне было хорошо, когда я бродила по нарядным, светло-розовым улицам Минска или любовалась деревянным кружевом калужских домов.

Меня иногда раздражала своей суетностью Москва, но я чувствовала себя здесь комфортнее, чем в официальном Киеве с его провинциальной местечковостью и делением на «своих» и «чужих».

К тому же тут, в Подмоскowie, были свои неповторимые уголки, где хотелось остаться навсегда.

...О, эти светлые статуи освещенные уходящим солнцем! Их лица неподвижны и живы, их ноздри трепещут от внутреннего напряжения. Волосы на греческий манер собраны на затылке, чтобы тяжело и мягко упасть на нежно округлые плечи.

Закатное солнце торжественно освещало строгий и упорядоченный ансамбль подмосковного Версаля. И эта надпись на фронте Летнего дворца: «Deus conservat Omnia».

Нет, не всех и не всё хранит Бог. Иногда он все позволяет разрушить, не оставляя ничего, кроме воспоминаний, овеванных сырым вороньим карканьем.

Да, Украина была всегда. И она, к счастью, осталась. Но Украина всегда была только частью, малой Родиной моей большой Родины. Существовала еще одна Родина — мой город. И уже совсем маленькая — мой дом и семейный очаг.

То были как взаимосоеобщающие сосуды, как матрешки — одна в другой. И в этом «наборе» присутствовала еще одна — душевно-духовная Родина. Все было единым целым. Разобщить ЭТО, не убив, было невозможно.

Социальная «вивисекция» напрямую ударила по сокровенной глубине осознания себя в пространстве и пространства в себе, создав ощущение мучительной внутренней «полости».

«Такой народ достоин презрения»

Мы сдали свою страну ее же убийцам, стоявшим на капитанском мостике огромного корабля. Они хорошо сыграли на наших недобрых чувствах к тому казарменному социализму с безжизненным лицом, который сами же и предлагали нам в качестве «коллективного храмового поила».

Мы пошли на поводу у их долгоиграющих интересов, когда приняли вложенное нам в руки оружие разного калибра, чтобы расстреливать из него собственную страну со всем ее прошлым, настоящим и будущим.

Слова оказались яркой приманкой в той огромной мышеловке, куда мы все угодили. Печально, глухо, сквозь толщу времени доносился к нам голос большого русского ученого Ивана Павлова, пытавшегося искать причину нашей перманентной национальной катастрофы:

«Русская мысль никогда не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слов, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни».

А еще великий физиолог говорил об отличительных «физиологических» свойствах русского ума, в числе которых — «поверхностность, самонадеянность, агрессивность». Наверное, потому национальные трагедии у нас никогда не повторяются в виде фарса, но только — в виде новых и новых трагедий.

Когда-то нескончаемое словесное пиршество взорвало царскую империю, превратив власть в пьяную девку, лежавшую у дороги. Большевикам оставалось только поднять ее.

Спустя семь десятилетий почти то же самое повторилось с империей советской.

*

И это отлично чувствовали наши изгнанники, мученики и пророки. Александр Солженицын, тогда еще из Вермонта, писал: «Все происходящее в России разрывает сердце».

В свое время изгнанный из Союза философ и литератор Александр Зиновьев, тоже с окровавленным сердцем, следил за всем происходящим на его Родине.

Он с горечью констатировал:

— Страну превратили в сборище подлецов и дураков. Подлецы куражатся на сцене Истории и творят со страной все, что угодно. Дураки болтают без конца.

Он писал о перестройке, начавшейся как «Эпохальная глупость, идиотизм высшей степени» и закончившейся как «эпохальное преступление». Он призывал народ воспротивиться «эпохальному преступлению», полагая, что для этого потребуются не меньший трагический накал страстей и беспримерного мужества, чем во время Сталинградской битвы.

Наблюдая за всем происходящим в стране и со страной, философ-изгнанник вынесет свой приговор: **«Народ, допустивший творить с собой такое, не достоин жалости. Он заслуживает только презрения».**

Но правды нет и выше?

«Нет правды на земле. Но правды нет и выше» — провидческое чутье великого поэта подсказывало ему существование незримых могущественных сил, стоящих над человечеством и диктующих ему свои условия и законы. Зло, господствующее на земле — лишь отображение зла, творящегося на небесах.

Говоря о Правде, которой «нет и выше», поэт имел в виду — Справедливость. Наша тайная, жаркая, по-детски наивная вера в справедливость, а значит и в «правильность» мироустройства, живущая в сокровенной глубине душ... Оказывается, нет ее, этой правды? Ни здесь, на земле, ни там, на небе?

Демон Лермонтова — не поэтический образ, а скорее гениальная догадка о демонической природе земного мироздания. Демон хмур и задумчив. Он глубоко одинок и несчастлив. Он не способен нести в мир ни Добра, ни Света, ни Любви. Он погружен в себя, и вся его любовь обращена в глубины своего «я».

Он любит себя с такой огромной силой, с какой не в состоянии любить себя ни одно человеческое существо.

Он ненавидит Бога-Творца. Но вынужден считаться с его законами, которые защищает мироздание от превращения в пыль и прах. Он ведь сам — часть этого мироздания. И он, как и мы, не вне, а внутри этого Закона.

Слабый, беспомощный человеческий разум снова и снова возмущенно трепещет, натываясь на беспощадно раскаленную Скалу, зовущуюся «Свобода выбора», бьется в нее и обжигает крылья.

Значит, Демон и прочие могущественные разрушительные сущности — тоже порождение Бога-Отца?

Он создал их, как и всё остальное, создал и выбросил в мировое пространство, не заботясь о последствиях. Его свобода и могущество ограничивались той чертой, где начинались свобода и могущество его творений.

Наверное, сначала все рожденные Творцом сущности были светлы и прекрасны. Но позднее среди них возник трагический раскол. Одни продолжали любить Бога-Отца и свято служить ему. Другие обратили эту любовь вовнутрь, на себя самих. Эта оппозиция к Богу, эта, говоря по-земному, фронда оказалась столь могущественной, что сумела навязать нам и нашему земному миру свои демонические законы, извратив и принизив первоначальный замысел Творца.

Оставление в опасности

Свобода воли — пожалуй, самое слабое звено в человеческой трактовке Божьего промысла. Бедный людской разум судорожно балансирует на этой скользкой грани, пытаясь отыскать ответ на вопрос: «Зачем?».

Разум кощунствует, стремясь низвести замысел Творца до уровня человеческой логики и здравого смысла. Зачем человеку нужна свобода воли? Неужели только затем, чтобы превратить окружающее его пространство в адское средоточение ненависти и пустоты?

Поставленный перед свободой выбора, человек почему-то всегда выбирал Зло. Отсюда — кровопролитные войны, костры инквизиции, жестокосердные законы, порабощение одних народов другими, социальное неравенство, революции и реставрации, гибель природы и грядущее зарево очередного Апокалипсиса.

Бог един, неизречен, всемогущ и всеблаг — утверждают проповедники и святые отцы. Но если он всемогущ — значит, ответствен за зло и страдания нашего мира? Значит — не абсолютно благ?

И на этот самый больной вопрос заранее готов ответ. Господь абсолютно благ, — объясняют нам. Но он творит из Себя. Всем истекающим из Его глубин сущностям изначально присущи свойства этой глубины, в том числе и абсолютная свобода.

Выходит, Божественное Творчество ограничивает самого Творца?

До сих пор бедный разум еще судорожно балансировал на скользкой грани. Теперь он обрушился в пропасть. Вот, значит, как?! Выходит, Свобода, слепо дарованная недостойным ее существам, и порождает все Зло мира?

Всемогущий заранее все видел, Он понимал изначальное несовершенство своих творений. И все же выбросил в этот мир, умножая тотальное Зло. Но почему, зачем?

Да, исчезающие малы и ничтожны. Мы — даже не пыль у подножия Творца, Источника и Отца всего сущего. И все же — Отца. Значит, вправе рассчитывать на частицу его Милосердия и Благодати?

Отец! Нам не нужна дарованная тобой Свобода. Нам нужна твоя Любовь. Нужна твоя Жалость. Защити нас от себя самих, ибо не ведаем, что творим.

*

В современной юриспруденции есть такой термин — «оставление в опасности». Это когда мать оставляет новорожденного лежать

в снегу или на лавке в холодном безлюдном парке. Когда родители оставляют детей одних в запертом доме, а те, играясь со спичками, учиняют пожар и сгорают заживо.

Человеческий закон предусматривает за это ответственность. Ведь свобода выбора существует для тех, кто способен разумно выбирать.

Но разве не «оставление в опасности» — сказать неразумному дитяти: «У тебя есть выбор. Ты можешь прыгнуть с этого балкона, но можешь и не прыгать. Можешь засунуть пальцы в розетку, но можешь и не делать этого».

С большой долей вероятности можно предположить: малыш скорее всего прыгнет и он-таки попробует сунуть палец в розетку. Потому что он — неразумное дитя.

Мы, человечество, и есть такие неразумные дети. В нашей изначальной «конструкции» присутствует некий трагический изъян, приводящий к поломке «системы» и смерти окружающего нас пространства. По-видимому, это Люцифер, возненавидевший своего Создателя, удумал испробовать себя в роли творца, наложив свою печать проклятия на весь человеческий род.

Но тогда в какой мере мы ответственны за принятие собственных решений? Ведь мы — внутри Закона. Как лабораторные мыши — под стеклянным колпаком.

Духовидец? Полубезумец? Пророк?

Он давно поселился в моем доме на правах постоянного гостя и собеседника. Иногда он кажется мне просветленным, иногда — безумцем. Он знает то, чего не дано знать человеческому существу из плоти и крови — законы и характер трансфизических миров, простертых над человечеством и управляющих им. Он говорит о метаистории, связанной со становлением Вселенной, о трансфизических странствиях и встречах, о посмертных мирах возмездия и просветления. Он уверен, что за всеми земными событиями и потрясениями стоят войны небесных чудовищ, даймонов, иных темных сил с силами Света.

Сын русского писателя-мистика Леонида Андреева, Даниил родился в первое десятилетие двадцатого столетия и умер в середине века. Он жил в советской стране, но был «не от мира сего». Не теософ, не антропософ, он был *Человеком, которому ОТКРЫЛОСЬ*. Это особое Зрение, присущее лишь немногим, поначалу являлось,

как острые вспышки прозрения. Позднее оно перешло в ровный и ясный свет Знания в условиях самых неожиданных и трагических — в период пребывания в сталинских застенках. Там же у Даниила родилась идея написания «Розы мира» — философских трактатов о будущей идеальной модели человечества, лишенного демонических оков государственности и объединенного интеррелигией.

О метаистории с позиции муравья

История человечества насчитывает миллионы лет, а нашему взору доступна лишь ничтожная ее часть, крошечный эпизод метаисторической драмы. Даниил сравнивает его с десятисекундной остановкой на полустанке в ночной степи пересекающего громадный материк пассажирского поезда.

В состоянии ли оценить человеческий разум такие пропорции и масштабы, руководствуясь своими представлениями о Добре и Зле, о гуманизме, справедливости, милосердии? Попробуем ответить вопросом на вопрос. А разве муравью доступен замысел архитектора, положившего начало грандиозному строительству? Огромные стальные клешни безжалостно расправятся с муравейником, нисколько не заботясь об ощущениях его обитателей.

Зато позднее на этом месте будет воздвигнут могучий небоскреб или сказочный Храм, просветляющий души. Не исключено и возведение арены для гладиаторских боев, тюремного замка с пыточными камерами или крематория для концентрационного лагеря. Все может быть. История — это гигантское трансфизическое чудовище, под тяжелой пятой которого гибнут и навсегда исчезают целые миры, не говоря уже об отдельных муравейниках.

— Ну, а как же тут быть со «слезой ребенка» по Достоевскому? — вступаю я в привычный спор со своим собеседником. — На фоне таких масштабов и замыслов привычные гуманистические постулаты выглядят всего лишь жалким кликушеством, комариным писком в грохоте и буднях воплощения несоизмеримого ни с чем по своей мощи метаисторического плана высших сил.

— Да, совесть возмущается, — соглашается духовидец, — и она права. Столь же правильны, сколь и ограничены все гуманистические нормы, из импульсов этой совести рожденные.

— Хорошо, пусть, — горячусь я. — Давайте переступим через слезливое бессилие гуманистических постулатов и признаем, что

человеческая история никогда не делалась в белых перчатках. Большие деяния — большие жертвы и большая кровь. Победителей не судят. Судят и отправляют на эшафот только побежденных. Мы — внутри Закона, ему подчинены и принуждены считаться с ним. Но как быть, если сам оказываешься под завалами метаисторического замысла в качестве беспомощного муравья?

Почему Наполеон не был французом, а Сталин — русским?

Даниил Андреев, сидевший в сталинских застенках, считал Сталина очередной инкарнацией некоего темного и загадочного существа, потенциального Антихриста, посланного на Землю для воплощения своей темной Миссии.

Но почему, зачем это существо, предназначенное к владычеству над Россией, было рождено не в русской семье, а в недрах другого, окраинного маленького народа? — вопрошает он и сам же находит ответ:

«Очевидно, затем же, зачем Наполеон был рожден не французом, а корсиканцем, не наследником по крови и духу великой французской культуры и национального характера этого народа, а, напротив, узурпатором вдвойне».

— Кажется, мы снова противоречим себе, — саркастически улыбаюсь я. — Будь Наполеон по крови и духу французом, он не стал бы великим узурпатором. В крайнем случае, дослужился бы до генерала, стал бы отцом большого семейства, а в перерывах между этими занятиями тайно посещал бы заведения с девицами, танцующими канкан.

В свою очередь, родись потенциальный Антихрист Сталин в лоне России и будь он по духу русским, он, конечно же, не стал бы Сталиным. В лучшем случае, служил бы в сане православного священника в каком-нибудь заштатном храме. В худшем — принял бы участие в покушении на царя и закончил свою жизнь на каторге или виселице.

Получше нас с вами зная об этом, высшие могущественные силы приняли свое решение. Франции нужен Наполеон, а России необходим Сталин. Почему, зачем? Не будем уподобляться муравьям. На все вопросы ответ дала История. У нее на этот счет были свои резоны.

Миллион — туда, миллион — сюда

Однако Ленина, которого Даниил Андреев называет «первым вождем», воплотившим идею всемирной Доктрины на пространстве Российской Империи, русский духовидец и пророк почему-то не считает Антихристом.

«Первый из них был человеком. Таким же человеком, как и почти все носители светлых или темных миссий...».

«...Он по-своему любил народ и человечество... Он желал им блага... Пролитие крови или причинение страданий само по себе не доставляло ему никакого наслаждения... К своим товарищам по партии он относился с отеческой бережностью... Он глубоко верил в то, что его деятельность направлена на благо человечества».

Априори русский пророк даже готов признать, что, если бы не безвременная кончина «первого вождя», то будущее революционное преобразование России обошлось бы ей, к примеру, в миллион жертв. Но ведь не больше, не значительно больше, как это случилось за почти тридцатилетнее правление Сталина. С позиции метаистории миллион жизней — туда, миллион — сюда, конечно, всего лишь песчинка в безбрежных дюнах. Но все же...

И снова я вступаю с духовидцем в спор. Наверняка его утверждения о человечности Ленина и бесчеловечности Сталина во многом базируются на том, что Даниилу Андрееву все же довелось сидеть в сталинских, а не в ленинских застенках. Он был еще слишком молод, в первые годы революции, когда представителей духовного сословия массово расстреливали и топили в холодных северных водах, когда Запад вовсю кричал о жестокостях большевиков, а в подвалах революционного Екатеринбурга прозвучали выстрелы, положившие конец царской семье.

...А впрочем — чему удивляться? Разве вся история Руси — дохристианской, Киевской, Московской, Петербургской — это не история смуты, кровопролитий, жестокости, рабства и муки?

«С золотым венцом царства на челе»

Каким был образ рождающейся российской государственности? «Утяжеленное, беспорядочное, калечимое пожарами, нападениями чужеземцев и произволом властей — с золотым венцом царства на челе, с клеймом рабства и мученичества на лице».

...Вначале — двухсотлетняя княжеская усобица, заливавшая кровью поля страны и открывшая двери врагу и чужеземцу. Затем — трехсотлетнее татаро-монгольское иго, поставившее под угрозу само существование славянской идентичности.

Чтобы защититься от злобы внешнего врага, нужно было создать могучего защитника в образе государства — такого же злобного и сильного, как и внешний враг. История российского самодержавия — это борьба двух сил, двух демонических начал: тирания и реакция на нее, когда низшие инстинкты масс срывали все запреты со стихии разрушения. Русь всегда была на грани между устремлением к горним мирам и срыванием в бездну.

Безумие и жестокость Ивана Грозного. Опричнина, как утверждение ядра абсолютной тирании. Черные всадники с собачьими головами у седла. Период Великой Смуты, втянувшей в свой Апокалипсис все народные пласты, когда страна остро ощутила, какими физическими и духовными безднами окружено ее существование. Неслыханные преступления глав государства, конфликты их совести, эфемерность царского величия. Московский Кремль, искаженный застенками, тюрьмами и плахами...

Никаких отблесков государственной гениальности не мерцало над челом императоров за трехсотлетнюю историю царствования Романовых. Единственной по-настоящему яркой фигурой был Петр I.

...Века крепостничества. Глубоко вросшее в сознание народа рабское мироощущение, отсутствие гражданских свобод. Старообрядчество, паломничество, странничество — нищий, голодный народ за много веков не производил ничего духовнее этого...

Никакие преобразования в стране никогда не доводились до конца. Два шага вперед — полтора назад. А впереди — призрак реакции, поворот вспять. Вплоть до середины XIX века Россия оставалась страной с узаконенным рабством.

*

Возникали и рушились державы, мир сотрясали революции, рождались новые идеологические системы, грозившие разрушить все старые формы жизни. Но Российская Империя застыла в сословной тверди.

Когда-то избранная Всенародным Собором, благословенная церковью, взошла на трон династия Романовых, выстрадавшая в страшном горниле смут, иноземных вторжений и безвластия.

Но миновало триста лет. Ненавидимая и презираемая всеми классами и сословиями монархия рухнула. Последний самодержец был столь же бесцветен и слаб, как и основатель династии. Но ему уже ничего не простилось.

Из числа тринадцати монархов, занимавших престол от Петра I до Николая II, четверо взошли на трон путем переворота, а шестеро погибли насильственной смертью. В залах Зимнего Дворца, в опочивальне Инженерного Замка, в Шлиссельбургском каземате, на освещенной скупым зимним солнцем Петербургской набережной, в подвалах революционного Екатеринбурга наступал русских самодержцев их роковой час.

Добро и зло слиты воедино

Духовидец прав. Несомненно, сценарий превращения сына сапожника из горной деревушки Гори на границе Европы и Азии в Верховное существо был написан на небесах. Его готовили неведомые нам могущественные силы, меньше всего озабоченные «слезливым бессилием» земных гуманистических постулатов и соображениями ограниченной человеческой этики.

Сами существуя внутри Закона, они, эти силы, изначально знали: над привычным для нашего сознания и нашей совести слоем гуманистической этики простерт еще один этический слой, согласно которому и творится история человечества. Добро и зло здесь не существуют поодиночке. Они намертво слиты воедино, поддерживая этот мир в равновесии и тем самым спасая его от превращения в неглессу, алхимическую первоматерию.

Чтобы состояться Добру, Зло необходимо как строительный материал для воплощения Замысла и продвижения вперед — на пути преобразования мира. Так было всегда. Так есть. И так будет.

Основатель Петербургской империи в образе Медного всадника мчится по Сенатской площади, попирая копьём змея. Всадник не ведает сомнений в своей правоте. Северная столица России была воздвигнута на человеческих костях

Петр I был жесток и безжалостен ко всему, что стояло на пути его Замысла или угрожало его престольной власти. Характерная особенность русского самодержавия: обесценивание человеческой жизни, неуважение к отдельной человеческой личности.

По поводу Петровских методов реформ Герцен в свое время писал: «Петр научил нас шагать семимильными шагами. Шагать из первого месяца беременности в девятый».

Кажется, Петр Великий бросал вызов самой Природе, до максимума сокращая путь от Замысла до его воплощения. Такое возможно?

Возможно и даже необходимо, чтобы называться Великим. Беспощадная «семимильность» освобождала от тысячелетнего феодального хаоса, гнета старых выдохшихся идей и окостеневших форм жизни. Добро прокладывало путь к будущим преобразованиям, пуская впереди себя Зло.

Красный первосвященник Сталин

Преображенная Россия, ставшая СССР, генерировала Красную Религию. Сталин сумел стать ее Первосвященником.

Все годы правления Сталина — это чрезвычайный период: межвоенный и послевоенный. Став во главе разоренной войнами и революцией страны, он сделал ставку на суперрывок и суперскорость. Для этого необходимо было превратить народ огромной страны в «одно одержимое существо», готовое принять великий Вызов и победить в этой Схватке.

Сверхусилие требовало сверхжестокости по отношению ко всему, что могло помешать осуществлению Цели. Индустриальный рывок требовал огромного количества материальных и человеческих ресурсов. Страна не могла рассчитывать на помощь извне. Она могла полагаться только на себя и свои силы.

Предельная концентрация политической воли, концепция монолитной партии, абсолютное отрицание фракционности.

«Кто там шагает правой? Левой, левой, левой!»

Чрезвычайный режим — и чрезвычайные обстоятельства. Жестокое отсечение любого недовольства в самом его зародыше. Преступно высоко поднятый карательный меч репрессивной политики.

А еще — ставка на предельную активизацию личности, пробуждение воли к жизни отдельного человека и общества в целом. Ставка на свержинстинкт, подсказывающий, что лишь движение на пределе

возможностей в состоянии обеспечить ощущение полноты бытия и спасти от духовной деградации:

«...Мозг работает, тело годно, —
Шестнадцать часов для труда!
Восемь для сна!
Ноль — свободных!».

Особое, ни с чем не сравнимое состояние, когда «я» и «мы» слито в одном могучем торжествующем хоре. И вместе с «огромной жадностью к существованию» приходит осознание: я — часть того огромного мира, который рождается на моих глазах.

Сверхжестокое усилие приносило сверхпредельные результаты. Уже в тридцатые годы СССР стал одной из трех стран мира, способных производить любой вид промышленной продукции, доступный в то время человечеству. То, для чего требовались столетия, свершилось за какой-то десяток с лишним лет.

Со смешанным чувством враждебности и восхищения Запад следил за тем, как СССР, загнав «клячу истории», превращал ее в быстроходный дизель-локомотив современного образца. Позже это свое невольное восхищение он выразит устами Уинстона Черчилля:

«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил ... Сталин... Он был самой выдающейся личностью, импонирующей ... изменчивому и жестокому времени. Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире диктатором, который принял Россию с сохой и оставил ее с атомным вооружением».

Сегодня на суперрывок, одержимость и сверхинстинкт делают ставку многие развитые цивилизации. Позаимствовав из советской истории эти мотивационные открытия, они видят в них своего рода возможность миновать Сциллу «потребительской смерти от ожирения» и Харибду «черной дыры истории». В духовном мировом континууме растет острое ощущение необходимости выбора пути восстановления высших ресурсов Личности, стремление, по словам Фолкнера, «оставить хотя бы крошечный шрам на лице Великого Ничто». Осознать право на жизнь, как Трагедию. Право верить в Преодоление, как снятие этой Трагедии.

Отец и Бог

Сценарий правления внедренного в тело России загадочного существа, рожденного в недрах маленького, окраинного народа, носил все признаки высокой Трагедии. Кроме испытаний, боли, утрат и потрясений в нем присутствовали святая Вера, неиссякаемая Надежда и огромная всепоглощающая Любовь.

Да, можно быть тираном — жестоким, хитрым, расчетливым, беспощадным. Но заставить себя любить так искренно, преданно, глубоко и беззаветно — воистину для этого нужно было обладать особой гениальностью тиранствования.

В стране официального безбожия Сталин стал Богом — живым, во плоти. Бог был одет в военный китель и носил сапоги. Он улыбался с портретов характерной улыбкой с прищуром глаз. Он курил трубку и не спал ночами, думая о судьбах своего народа и всего человечества в свете своей настольной лампы.

Богу можно было написать письмо и даже получить спасительный ответ. Он был Надеждой, Упованием и ответом на все вопросы.

Его недаром называли Отцом. Отцом всех народов. В этом было что-то глубоко религиозное, иррационально-мистическое.

Даже Христос не называл себя Богом, а только сыном Божиим, посланным на землю, чтобы выполнить волю Отца.

В глазах многих и многих миллионов Сталин таким образом поднимался выше Христа, становясь как бы Отцом всего сущего, можно сказать — самим Демиургом...

Он поднял страну из руин и сделал ее великой Державой, за которой с удивлением и восторгом следил весь мир. Но его главная заслуга — даже не в этом. За годы своего правления он выковал удивительное поколение людей, рожденных уже после Революции. **Он создал его из особой сверхпрочной человеческой стали** — сильное, жизнерадостное, внутренне удивительно целостное.

Мы до сих пор поражаемся внутренней жизнестойкости того сверхпрочного и сверхценного материала, из которого были созданы наши матери и отцы, наши деды и бабушки.

Созданному из особой религиозной стали, этому поколению судьбой было уготовано принять на себя испепеляющий Огонь войны, сгореть в нем и выжить. Этого не случилось бы без абсолютной веры в Отца. Того живого Бога, что стоял в одном ряду с понятием «Родина-мать».

*

Сраженная мистическим ужасом перед Наполеоном, Россия 1812 года впустила в свое сакральное сердце, своя святая святых врага и супостата. То был ее несмываемый позор, позднее названный хитрым тактическим расчетом во имя будущей победы над узурпатором. Но смутное ощущение позора и поражения сохранилось в душах потомков, вопрошавших:

— Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, сожженная пожаром, французу отдана?

И, конечно, дядя отвечал племяннику, что, безусловно, не даром. Любой позор отцов можно оправдать в глазах детей соображениями высшего порядка.

...Москва 1941 года, находясь в отчаянном, почти безнадежном положении, стояла насмерть. Этого бы не случилось, если бы не было Сталина. Земного Бога, который был выше жизни и даже выше Родины. Как истинная мать, она приняла бы своих сынов в свое лоно и даже бы все простила. Но зато Бог не простил бы этого поражения никогда.

Владимир Луговской великолепно отразил это слитое воедино чувство Любви, Ужаса и Веры в стихах «Москва. Бомбардировочные ночи»:

«...А немцы, грохоча, неслись к Москве.
Чего они хотели? Сжечь ее!
Взорвать закат над белою рекою.

...Молчанье над Москвой.
Великий город лег перед бомбежкой.
...Ползут, ползут полки Гудериана,
И возле Ярцева идут бои...

...Текут ручьи трассирующих пуль,
Ракеты повисают в красном небе,
Кругом растет угрюмый, острый ад.

...Ты, Москва,
Душа народа, совесть государства!
Ты — наша жизнь, сомненье и любовь,
Ты — медленные облака рассвета,
Бомбардировочные ночи над Москвой».

Подарив России жестокого, неумолимого и непреклонного Бога-Отца, высшие силы предотвратили самую страшную угрозу — угрозу фашистского рабства, которое не только для нашей страны, но и для всего мира стало бы Апокалипсисом. Концом истории. Превращением мира в черную неглессу, алхимическую перво-материю.

1953 год стал для страны годом физической смерти Бога-отца. Последовавшее вслед за этим свержение Сталина с его пьедестала стало началом конца советской империи. Гибелью богов.

*

Следом за Сталиным пришли пигмеи. Власть в стране перешла не к Красному ордену Меченосцев и не к Красному Францисканству, а к ордену НЯМ-НЯМ, намеренному создавать социальный строй по образцу и подобию своему, эдакий «гуляш-коммунизм».

Сталинские «чистки» не давали партийной элите жиреть и разлагаться под угрозой физического уничтожения. Когда к власти пришли пигмеи, начался лавинообразный коллапс — общество стремительно коррумпировалось и мафиизировалось. Горбачевская эпоха завершила процесс деградации и распада системы. Она выдернула из нее стержневую структуру — КПСС, которая уже никого не могла спасти — ни себя, ни общество, ни государство.

Аллен Даллес аплодирует на том свете

Разжиревшая и окончательно переродившаяся советская элита стала той незапертой дверью, через которую повела свое наступление жестокая и лицемерная империя Запада. Отныне ее путь на чужую территорию был абсолютно свободен.

Наступила та самая фаза «третьей мировой войны» между Западом и Востоком, о которой предупреждал в начале девяностых прошлого века русский философ Александр Зиновьев.

Стратегический план этой бескровной войны давно зрел в умах западных аналитиков. Недавно я перечла «Реализацию американской Доктрины против СССР», датированную 1945 годом, и документ этот буквально потряс меня. Значит, так бывает?!

Аллен Даллес предлагал свой хитроумный коварный план по уничтожению той социальной общности, которая звалась «советский

народ» и которая в далеком сорок пятом была, как никогда, сильна и едина.

Вот несколько цитат из этого документа:

«...Окончится война, все утрясется и устроится. И мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей!

...Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим верить.

...Мы найдем своих единомышленников, своих союзников. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться трагедия гибели САМОГО НЕПОКОРНОГО НА ЗЕМЛЕ НАРОДА, угасания его самосознания.

Например, из искусства и литературы мы постепенно вытравим их социальную сущность... все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Будем насаждать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности.

...В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, процветанию взяточников и беспринципности.

...Честь и порядочность будут осмеиваться, превратятся в пережиток прошлого. **Хамство, наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов — все это мы будем культивировать, все это расцветет махровым цветом.**

...Будем братья с детских лет, делать ставку на молодежь — станем разлагать, развращать, растлевать. Мы сделаем циников и пошляков».

Перечтя последний абзац, я почему-то представила, как Аллен Даллес сегодня аплодирует на том свете. Еще бы — коварный план не только удалось реализовать в полном объеме, но даже значительно перевыполнить. Об этом буквально на каждом углу неистово вопиет наша реальность, где ненависть, жестокость и пошлость давно пронизали буквально все поры жизни, где гуманизм терпит одно крушение за другим и где на повестку дня уже давно встал вопрос о принятии обществом законов и ценностей криминального мира.

Возможно, Запад таким образом мстит нам за то, что мы проиграли?

Вперед к империи?

Двадцать лет назад, когда я перечитывала философско-духовидческий трактат Даниила Андреева о неизбежности будущей модели объединенного человечества, рассуждения автора казались мне утопией.

Но сегодня даже беглый анализ современных тенденций подсказывает: XXI век — это век империй. Аналитики утверждают: будущие империи, эти «центры мира», необходимы, чтобы удерживать человеческую цивилизацию в динамическом равновесии. Их экономическое и политическое устройство должно синтезировать всё лучшее, живительное из прошлого коммунистического и капиталистического опыта государств.

Нет, не реставрация прошлого, не механический откат вспять, а только движение вперед, к империям нового типа. Новый сплав известных и апробированных «ингредиентов».

«Тигль» уже включен. Подбираются лишь компоненты нового «бульона»... Нужно полагать, Европейский Союз сегодня — прообраз одной из таких будущих империй.

Пребывая в унылых и косных рамках своего «хутора», украинские политики демонстрируют судорожную готовность войти «в европейское сообщество». Но их туда даже на порог не пускают — как варваров и «печенегов», не умеющих держать себя за общим столом в приличном обществе. Зато Россия не прочь вернуть Украину под свое «крыло», но уже в качестве безгласного и бесправного сателлита.

...Ну вот, снова вперед — к империи? А мы-то свою — настоящую, живую, полноценную разрушили в пух и прав. Ее бы тогда, двадцать лет назад, чуток подлечить, добавить побольше современных «ингредиентов» в кипящий «бульон» — глядишь, и на поправку пошла бы.

А мы ее вот так, бессмысленно и беспощадно — ударами, превышающими силу ядерных боеголовок...

Большая Беда — мы не оплакали покойную. Не совершили над ней подобающий христианский обряд.

Мы не поблагодарили ее за все. Эта неоплаканная смерть еще долго будет будоражить наши души, мешая пробиться к свету. Ведь самый большой грех — это грех неблагодарности. Он сродни предательству.

Титаник

Весной 2012 года мир скорбил в связи со столетием гибели «Титаника». Мир по-прежнему грезит этой гибелью — страшной, притягательной, поэтической и беспощадной тайной, погребенной на дне океана.

Кинематограф не раз поднимал на поверхность из пугающей водной пучины эти фантомные миры — искрящиеся, яркие, живые, исполненные навсегда ушедших человеческих страстей. Конечно, миров могло быть гораздо больше — ровно по числу пассажиров первого, второго и третьего классов — как погибших, так и спасенных.

Но художественное воображение, как правило, сильнее возбуждает победительная роскошь салонов первого класса, блеск бриллиантов на шеях у дам, изысканность вин и манер, подтвержденных толстыми пачками ценных бумаг и денежных купюр, запертых для надежности в корабельных сейфах.

Роскошь вообще хорошо контрастирует со ждущим нас за дверью мрачным оскалом Тщеты. Тщеты наших стремлений, гордынь и упований. Тщеты наших существований, которые уже завтра поглотит темная не рассуждающая стихия.

В канун столетия гибели «Титаника» человеческое воображение вознамерилось воссоздать фатальное путешествие в реальности, правда, без его фатального исхода. Эта историческая ретроспекция была воистину беспрецедентной попыткой повернуть время вспять и воскресить прошлое во всей неповторимости его красок, звуков, ароматов и ощущений.

На корабле все должно было повторять, с точностью до мелочей, атмосферу «Титаника» вплоть до момента катастрофы. Такой же струнный оркестр, то же меню, те же вина, точно такие же шляпки дам и костюмы господ, разгуливавших на палубе в свете фатального заката. Среди приглашенных в это удивительное путешествие были даже родственники тех, кто погиб или кому удалось выжить в ту роковую ночь посреди океана.

Надо полагать, атмосфера на корабле была действительно очень волнительной, а блюда точь-в-точь повторяли те, что подавались на «Титанике». Правда, им не хватало главной острой приправы — самой Катастрофы.

Этот роковой, ни с чем не сравнимый вкус катастрофы — он мне знаком. Я тоже была пассажиром «Титаника» — только неизмеримо большего по размерам. И масштабы этой катастрофы конца про-

шлого века — несоизмеримы с той, что случилась в его начале. Всего лишь слабый вскрик, легкий всплеск на фоне бушующего океана голосов, взывавших о спасении и пощаде.

Мистика совпадений

Этот щемящий, уже подернутый призрачным маревом мыслеобраз не покидает меня. С годами он растет, поднимаясь из глубин сознания во всем живом и беспомощном величии постыдно преданного и преступно забытого прошлого.

Мы были пассажирами этого Корабля. Нет, мы просто плыли в нем, внутри него, зная, что это наш Дом и что он — навсегда.

Когда случилась трагедия и Корабль распался на части, не сотни, а многие миллионы оказались один-на-один с ледяной стихией, взывая к Богу и к социальной справедливости.

И все же — какая тайная мистика совпадений и аналогий! Сто лет назад «Титаник» тоже казался сверхмощным и непотопляемым, но погиб почти водночасье. И при этом — никакого внешнего вторжения, никакой бури, напротив — полный штиль. Опасность исходила из неподконтрольных сознанию океанских глубин, сделавших невидимой и прозрачной верхнюю часть рокового айсберга.

Можно ли было избежать катастрофы? Наверное. Но не было биноклей дальнего видения, чтобы вовремя разглядеть угрозу. Подвели предательские заклепки на сверхмощной стальной обшивке корабля. Подвела самонадеянность, вера в «непотопляемость» и дефицит спасательных шлюпок, отчего большинство пассажиров третьего класса погибло в черных ледяных водах.

Спустя восемьдесят лет трагедия повторилась, но теперь уже в масштабах одной шестой земной тверди. Миг в истории — но какой миг! Четырехдневное плавание «Титаника» и семидесятилетнее существование советской империи... Тонущие корабли образуют смертельную воронку, которая затягивает в себя все, оказавшееся в ее радиусе. Тонущие империи создают огромные черные дыры, где пропадают целые миры. Над разгадкой этих утраченных нами советских миров предстоит еще долго биться человеческой мысли в поисках ответа на самые животрепещущие вопросы бытия. Просто время еще не пришло. Но оно наступит в условиях глобального духовного кризиса. И даже быстрее, чем может казаться.

*

ПРОХОДЯТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. И ВОТ УЖЕ ИЗ ГЛУБИН ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ, ИЗ ПУГАЮЩИХ ОКАЕНСКИХ ГЛУБИН — КАК ВЛЕКУЩЕЕ МАРЕВО — ПОДНИМАЕТСЯ НЕОБОЗРИМО МОЩНАЯ ГРОМАДА «ТИТАНИКА» С БУКВАМИ СССР НА БОРТУ. УЖЕ ЗАМЕТНО ПОКРЫТЫЙ ТИНОЙ, ОБРОСШИЙ РАКУШКАМИ, ОН ВОЗНИКАЕТ ИЗ БЕЗДНЫ — КАК ОБРАЗ ОБЕЩАННОГО И НАВСЕГДА УТРАЧЕННОГО РАЯ. КАК СИМВОЛ ПОКИНУТОГО ЛОНА, КАК СКАЗОЧНОЕ ПРИВИДЕНИЕ ИЗ ГЛУБИНЫ ДЕТСКИХ СНОВ.

Сколько мощи и красоты в этой громаде! Какое обилие внутренних пространств, созданных для радости, любви и вдохновения! Всей жизни не хватит исследовать каждый уголок и всем насладиться. Но главное — знаки глубинного родства, волнующего узнавания — забытого и вновь воскресшего обладания.

Мы были здесь, познавали на вкус и наощупь этот мир, его радость и боль, одиночество и слепяще-острое слияние со всем сущим. И это останется в нас навсегда. И это передастся по наследству — как разрез глаз, манера смеяться или способность любить и верить.

Иначе — откуда эта странная необъяснимая ностальгия по прошлому у нынешних 20-летних? Они-то ведь родились уже после катастрофы. Наверное, это инстинкт самосохранения. Если за спиной — сплошной мрак, впереди света тоже не будет. Ему просто неоткуда братьяся.

Миф о советском «Титанике» еще долго будет будоражить умы и сердца — как навсегда утраченная Возможность. Мы не воспользовались ею.

ОСТАЛСЯ ПРОСТОР ДЛЯ БЕЗГРАНИЧНОГО ВООБРАЖЕНИЯ И СТОЛЬ ЖЕ БЕЗГРАНИЧНОЙ ПЕЧАЛИ.



*Только низменные души
отрекаются
от прошлого,
пресмыкаясь
перед настоящим.*



**Записки на
ПОЛЯХ**

Невеста, бегущая из-под венца

Царскую Россию соблазнили большевистской революцией, как Девуцу наивную, беззащитную. А потом взяли да и погубили, измызгав и потопив в крови. Привычная байка для обиденного Сознания.

Иные дальше идут, утверждая, что Октябрьскую революцию как бы извне импортировали на нашу отечественную почву. Немецкие шпионы, жидо-масоны всякие во главе с Лениным, этим самым главным Змием-искусителем. Не будь его — и пребывал бы народ в покое и достатке среди патриархального процветания, в спасительных нетях православия и чинопочитания. Но ведь дудки-с, не так все было!

Не Змий-искуситель виновен в грехопадении Дев страннх и сумрачных, что звались Русью великой и Малороссией. Долгие, долгие годы носили эти Девы в себе упрямые и страстные позывы к бунту, к революции, тайные мечты о всеобщем равенстве и справедливости. Там — Пугачев с Разиным, здесь — Запорожская Сечь и казацкая вольница с ее стремлением постоянно расшатывать царский трон.

*

Иные досужие умы любят порассуждать о том, как бы все отлично сложилось, если бы российская империя после февраля семнадцатого года пошла бы не революционным, а эволюционным, то есть капиталистическим путем. Вот если бы она могла...

Нет, не могла. Невозможно строить капитализм в стране, насквозь пропитанной нашей классической литературой. Весь ее дух — антибуржуазен.

Ни в одной стране мира печатное слово не сыграло такой решающей роли в судьбе народа, изменив весь

ход Истории. Код нашей Истории — невеста, бегущая из-под венца с богатым женихом.

*

Попробуйте найти в русской или в украинской литературе хотя бы один положительный образ преуспевающего богача, и вы поймете, что сделать это попросту невозможно.

Российскую империю развалили не большевики. Убежав из-под венца с богатым женихом, эта невеста добровольно бросилась в объятия человека с ружьем в пропахшей окопным потом солдатской шинели.

*

Страна, давшая миру Тараса Шевченко, ставшего ее национальной религией, просто не могла принять звериных законов классического капитализма, а значит мирный «эволюционный» путь ей тоже был заказан. И героиня Марко Вовчок, покалечившая себя серпом, чтобы не работать на проклятую помещицу — вот символ Украины, не принявшей власти «глитаїв-павуків».

*

За прошедшие двадцать лет Украине так и не удалось стать государством. Есть страна — нет государства. Существуют только внешние атрибуты государственности.

Не нашлось глобальной одушевляющей Идеи, способной превратить народонаселение в некую общность под названием «украинский народ».

Независимость и суверенитет были для Украины «шубой с барского плеча» обезумевшей и «пустившей себя в расход» России.

*

Испытание свободой оказалось для Украины чрезмерным. Душная провинциальная рабскость не исчезла с провозглашением Декрета о независимости. Напротив — она превратилась в освобожденное Зло.

Получив сигнал о своей вседозволенности, освобожденное Зло теперь владело уже бесконтрольным правом распространять метастазы социальной онкологии на все без исключения области государственной и общественной жизни.

Освобожденное Зло превратило Украину в некое образование, где на одном полюсе — горстка политических временщиков и олигархов, а на другом — нечто аморфное, многомиллионное, странно колышющееся, едва различимое в густом смоге безнадежности и отчаянных попыток самовывживания.

*

Двадцать лет назад судьба свела меня с известным политологом и глубоким аналитиком Сергеем Кургиняном. С присущей ему страстью он говорил о глубинных причинах распада СССР и о последствиях этого распада. Многое, о чем он писал, было мне близким по духу, отвечало внутренним убеждениям.

Так рождалось наше своеобразное творческое сотрудничество. Сложно дать точное определение жанру этих статей. Скорее то был поток сознания, который, стремясь отыскать ответ на мучительные вопросы, то погружался вглубь исторических аналогий, то вырывался на поверхность, кружа вокруг острых судорог сегодняшнего дня, пытаясь предвосхитить характер грядущих социальных болезней.

Как оказалось, многие пророчества Кургиняна подтвердились жизнью.

*

«Можно победить народ в войне, но оставить его Дух непобежденным. Главное поражение — это поражение в сфере смыслов, когда народ — без внешнего принуждения — сам становится на колени» — одно из таких пророчеств.

*

В какой стране при любом масштабе кризиса, можно было подыскать самому себе такое самоуничтожительное определение, как «гомо советикус»?

Этот нравственный эксгибиционизм вперемежку со сладострастным мазохизмом. А еще — странная готовность забыть, стереть из памяти все, что еще вчера любил, во что, казалось, так искренне верил.

*

— Возможно, впервые в Истории, — говорил Сергей Кргинян, — мы имели ненависть, возведенную в ранг государственной идеологии. Ненависть эту олицетворяла советская псевдоэлита. Она никогда не была элитой и называла себя в узком кругу истеблишментом.

Элита — лучшая часть народа. Она не «правит бал», а служит высоким общественным целям. Это — не тупая сытость парт-чиновников. Истеблишмент, как правило, служит только себе и своим мелким частным интересам.

*

Можно сколько угодно говорить о грехах коммунизма и грехах коммунистов. Их действительно много. И основная ошибка — «включенность в потребительскую игру», когда количеством хлеба и сытостью измерялось качество жизни.

*

Объявить советский период Адом, своеобразной «черной дырой» истории, означало совершить прыжок над бездной шириной в семь десятилетий. Прыжок в пустоту, в никуда.

*

Нет, не завоевание страны является концом ее истории. После поражения в войне возможно и возрождение. Настоящая катастрофа — когда народ отрекается от своей Истории, тем самым отрекаясь и от себя.

*

Это отсутствие самоуважения, конвульсивные перепады от истерической кичливости к кликушескому самобичеванию — наш исторический недуг.

*

История любого государства — это войны, жестокости, кровопролития, рабство. Наша история — это сплошная великая мука.

Принимать свою историю такой, какая она есть — дано не всем. Англичане говорят: «Это моя страна, хороша она или плоха».

*

История — это брачный союз, который заключается на небесах. «Любить в здоровье и болезни, радости и горе». Любить, когда кажется, что любить уже невозможно. Легко любить в здоровье и счастье. А вот любить в болезни и горе — совсем другое.

Любить — значит принимать близкое существо во всем его несовершенстве. Не отрекаться даже в минуты наивысших разочарований и падений. Принимать и прощать, как мы принимаем и прощаем самих себя.

«Любить, пока смерть не разлучит вас...».

*

На одной шестой части земной суши впервые в мировой истории — был поставлен грандиозный Эксперимент по созданию здесь, на Земле, Царства Правды и Справедливости. Того Царства, которое веками генерировалось в душе народа как глубокая внутренняя потребность.

Приниженный и чудовищно искаженный, Эксперимент этот, в конечном счете, потерпел крах. Но он был, как продолжает и по сей день жить в наших душах эта внутренняя потребность поиска Царства Правды и Справедливости. И потребность эта носит почти религиозный характер.

Чем глубже очередной кризис, тем острее жажда обретения этого Царства. Там, на Западе, это чувство почему-то зовут «русским коммунизмом».

*

Слишком много жертв принесено на алтарь Красной Идеи. Теперь, когда решительно отброшен тот Идеал, ради которого шли на муки многие поколения, какую цену придется заплатить за «гибель богов»?

*

Аристократизм коммунистической идеи, воспринятый интеллигенцией царской империи как «высший пилотаж духа», был позднее чудовищно искажен и принижен теми, кого Мережковский называл «грядущим хамом» — лавочниками и люмпенами от коммунизма, его Санча Пансами, утратившими остатки связей со своим Дон Кихотом.

*

И все-таки, можно ли было спасти коммунизм, как Идею, от ожиревших коммунистических чинуш, амбициозных варваров, выступавших от имени страны,

а на самом деле ее разрушавших? И можно ли было модернизировать наш огромный корабль, придав ему нужное спасительное направление? Вопросы отнюдь не праздные.

*

...Говорить об абсурдности коммунистической идеи давно уже стало общим местом. При этом исторический опыт начисто отбрасывается. Инстинкт самосохранения отсутствует. Господствует Тонатос, инстинкт смерти.

Когда-то в истошном крике: «Так жить нельзя!» хоронился вопрос: «А как можно?». И что сделать, чтобы можно было жить? И, наконец, что значит — «жить?».

*

— **Альтернативы** коммунистической мега-религии, духовно соизмеримой ей по мощи идеи, не существует. Отвергнув ее, мы совершили ошибку, соизмеримую разве что с распятием **Христа**, — утверждал Сергей Кургинян.

*

Ненавидящее сознание всегда закрывает путь к познанию. Любое проникновение немислимо без любви. Проникнуть в советский период без истинной любви невозможно. Когда полюбишь, тебе откроется. Кто? Что? Многое...

*

Можно ли рассуждать о советском периоде народной истории, ненавидя его и не признавая за ним права на благодать?

*

Почему, спустя почти шестьдесят лет после смерти Сталина, этот образ продолжает волновать многие умы и сердца? Снова портреты вождя колыхаются над толпами людей. Рабам снова захотелось почувствовать на своих спинах плеть от сильной руки? Нет, это было бы слишком просто...

Снова и снова современный кинематограф пытается воссоздать образ, дух, атмосферу сталинской эпохи — трагической, чудовищной, но и прекрасной. Теперь это — как свет далекой звезды.

*

— После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов! — заявил этот человек вскоре после падения режима. И я его отлично понимаю. Он никогда не состоял в партии и не сжигал картинно свой личный партбилет, когда время подоспело.

О безопасном, показном хамелеонском антикоммунизме мне приходилось не раз писать, как об унылой пошлости, стремлении отомстить тому, с чем был связан, как о библейском предсказании Христа касательно апостола Петра: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды».

Антикоммунизм сегодня, с поправкой на минувшее двадцатилетие — это пошлость без берегов.



*Можно по-разному трактовать историю
человечества. Как движение к Богу.
Как движение от Бога. Как движение куда-то.
Как движение в никуда. Куда движемся мы?
Куда идет Россия?*



**Страна, которую
не жалко**

Кружение над пропастью

Когда впереди — пропасть, необходимо остановиться, оглянуться. Настоящее так тесно слито с прошлым, что становится его зеркальным отражением.

Мы стали такими, потому что такими были всегда. И мы будем кружить по кругу до тех пор, пока не разорвем эту фатальную связь.

Все последние годы меня не оставляет мучительный вопрос: можно ли разорвать эту связь и насколько она фатальна?

В том сценарии, который, возможно, уже написан для нас — часы без стрелок. Дымящийся саркофаг. Холод. Хаос. Духовный Апокалипсис.

В первые годы после распада Союза все происходившее в России казалось главным, а события в Украине — чем-то вторичным, опосредованным, всего лишь следствием того, что творилось в российском политическом континууме. Отчасти так оно и было.

Но события в России стремительно развивались по сценарию катастрофы. И это ужасало, вызывая тревогу и боль.

Конечно, можно было убеждать себя, что лично тебя это уже не касается. Большая беда творится в соседнем доме и даже в соседнем государстве. Так что можно ограничиться ролью свидетеля или уличного зеваки, с холодным любопытством взирающего из толпы на аварию со смертельным исходом.

Но оставаться равнодушным было невозможно. Все мы были еще связаны с Россией единой могучей цепью. Общая Цель исчезла, но цепи остались. И они раздирали в кровь многие души.

С тех пор сохранились мои газетные хроники. Они несут отголоски безжалостной правды о той России, которая перестала быть моей и которой вскоре суждено будет стать для меня чужой страной.

«Послушайте, вы, как вам не стыдно, подлец!»

декабрь 1992 год:

...С приходом в правительственную команду России внука советского юношеского писателя-романтика начался тот яростный шок, которым команда западников-радикалов стала лечить смертельно большую страну.

История страны теперь проходила у нас перед глазами как бы в обратном порядке. Зарождение капитализма в России. Земельные реформы. Девятьсот пятый год. В очередной раз Россия становилась страной, которую не жалко. Наступала новая эра светлого будущего для ничтожного меньшинства, купленного ценой катастрофы для миллионов. Бездумная срочная «капитализация всей страны» была сигналом, открывающим путь «третьей силе».

*

По странному, почти мистическому, совпадению в канун седьмого, внеочередного съезда народных депутатов Российской Федерации я перечитывала «Бесконечный тупик» Дмитрия Галковского. Там был интересный пассаж касательно того периода, когда западники-радикалы начала двадцатого века уже пытались тащить несчастную страну в ее очередной тупик, откуда она скандально вырвалась революционным путем.

«Удивительная история России. Все-таки есть в ней мрачная гармония. Как бы ни кричали, как бы ни кривлялись западники, сзади них уходят за горизонт бесконечные ряды могильных холмов...

...Послушать, отведя глаза в сторону и машинально теребя край скатерти. Тяжело, неловко. Напряженная тишина в комнате. А он — «западник», «либерал», «ученый» чувствует, что все хуже становится и говорит все быстрее и быстрее. А все опускают голову.

Вдруг женщина — молодая, пунцовая от возмущения, встает: «Послушайте, вы, как вам не стыдно, подлец!». Глупо, по-женски и споры так не решаются. Но спорить уже никто не хочет. Все безнадежно. Все уже ясно».

«Послушать, отведав глаза в сторону»

Внешне и по ощущениям это напомнило 1989 год — исторический съезд народных депутатов СССР. То же нетерпеливое и тревожное ожидание, ощущение неизбежности и одновременно — непредсказуемости всего происходящего. Но сходство было скорее внешним. Между съездами пролегла пропасть. Тогда дверь в свободное будущее как бы приотворилась. Теперь она захлопнулась, оставляя в тесном и темном пространстве очередного тупика.

А вот и он — «западник», «либерал», «ученый» — стоит на трибуне, объясняя сидящим в зале, что рынок — жестокая вещь и жертвы неизбежны. Но иного пути нет. Оратор говорил уверенно, быстро и без шпаргалок. А все опускали голову, и тишина в зале становилась все напряженной. Оратор это чувствовал и говорил, в свойственной ему манере — все быстрее и быстрее.

Когда же он окончил, то «молодая, пунцовая от возмущения женщина» вышла на трибуну, чтобы спросить у «западника» и «либерала»: — Скажите, Егор Тимурович, а ради кого были затеяны эти реформы? Ведь это же очевидно — не для нас и наших детей.

Женщина, правда, не произнесла ту самую книжную фразу: «Послушайте, вы, как вам не стыдно, подлец!».

Но она заговорила о чудовищном росте детского туберкулеза и детской смертности, о подростковой преступности и той запретельной грани, куда отбросила народ нынешняя власть.

А еще эта молодая женщина напомнила Егору Гайдару слова из книги его знаменитого деда-писателя о том, как нужно любить эту «большую, прекрасную и счастливую землю», которая еще недавно была нашей общей судьбой, а сейчас, не без стараний внука, лежит в унижении и прахе.

Конечно, «глупо, по-женски и споры так не решаются». Но спорить с ученым-западником вдруг захотелось всем. Каждый чувствовал: вода подступает к горлу.

Победителей не будет

...Запахло Конституционным переворотом. Всего четыре голоса не хватило съезду, чтобы выразить недоверие Борису Ельцину.

Всего четыре голоса. Какая узкая кромка разделяет победителей и побежденных! Но побежденных ли? И будут ли в этой истории победители?

Качнулся трон под вчерашним «всенародным любимцем». Ельцину напомнили, что нет такой должности — всенародный любимец отныне и довеку. Понимает ли он, в какой стране живет? Осознает ли всю глубину кризиса и развала? Любая экономика должна быть регулируемой, иначе это — криминальная экономика. А политика нынешней власти становится для народа «чужой политикой чужой власти».

Дрогнула земля и под ближайшим окружением Ельцина, командой саперов-реформаторов, ввергнувших в хаос экономическое пространство не только России, но и всех сопредельных территорий.

Заметно дрогнула почва под креслом Геннадия Бурбулиса, главного советника Президента, его серого кардинала и феноменального мастера закулисных интриг. Кто-то даже сравнил Бурбулиса с Григорием Распутиным, уточнив, что речь идет о не феноменальной мужской силе, а об умении влиять на умонастроение первого лица государства.

Этот странный тандем в образе рыкающего уральского медведя, танцующего в обнимку с рафинированными циниками и бездушными либералами, вызывал у съезда открытое отторжение.

«Ужасный конец или ужас без конца?»

март 1993 год:

Однажды, под влиянием бесконечно длящегося противостояния в российских коридорах власти, я попробовала отступить от привычных газетных жанров и написать некий иронический микс с элементами политической сатиры, низкого фарса и высокой трагедии.

Действие происходило в разгар политического кризиса и потому напоминало чудовищную смесь политического зазеркалья с Театром Абсурда.

Разыгрывался, точь-в-точь по Дмитрию Галковскому, очередной акт русской драмы — «мрачной трагедии и пошлого фарса с его подвалами и карнавалами, рождением в хаосе и ужасе индивидуального сознания».

На очередном витке истории Тупик повторялся с удручающей дьявольской последовательностью.

Шел чрезвычайный съезд, и лица народных депутатов были чрезвычайно напряжены. В зале то и дело мелькала Тень — то ли

очередного ГКЧП, то ли матроса Железняк — в образе преданных Ельцину казаков, способных в любой момент ворваться с нагайками в гущу народных избранников.

Обращаясь к ним с трибуны съезда, Ельцин скандално призывал:

— Эй, ребята-казаки, кто за меня — за мной! Давайте всем миром навалимся на этих партократов и разгоним их к едреной фене!

— Он — что, с ума сошел? — в ужасе ахал зал.

Хасбулатов, морщась в гримасе усталого отвращения, произносил:

— Ну, вы же видите, вся гадость идет оттуда — из Кремля...

Один из депутатов призывал Президента соблюдать элементарные приличия. Но тот в ответ заявлял:

— К черту приличия! Я устал от приличий и той брани, которая несется в мой адрес!

Народ в это время скандировал голосом Лукьянова:

— Да здравствует СССР!

Депутаты в зале тревожно требовали возбудить конституционную процедуру об отречении Президента от должности.

— Мы за реформы! — заявляли они. — Но без обнищания народа. Без мафии и коррупции!

Усталый народ на заднике сцены в это время в тоске воздевал руки:

— Господи, когда же этот бардак окончится! Пусть хоть кто-нибудь придет. Пусть хоть черт с рогами! Но чтобы правил и порядок был.

Во всю эту разношерстную компанию затесался музыкант с мировым именем. Растропович стоял у трибуны с бледным лицом и с грустью в голосе повторял:

— Боже, как больно и стыдно! И зачем эти трое — Ельцин, Руцкой и Хасбулатов так рассорились? Ведь такими друзьями, такими единомышленниками были. Я с ними опасности делил в августе девяносто первого.

А в это время Ельцин, послав-таки всех в зале к едреной фене, мчался на завод имени Михельсона, чтобы искать поддержки на груди у рабочего класса. Но рабочий люд слушал его угрюмо и молча.

Устал народ. И когда у него спрашивали, за кого же он, народ отвечал:

— Да ни за кого! Мы вообще, если хотите, за Третий Интернационал!

Новое постсоветское самодержавие тяжелой медвежьей поступью прокладывало себе путь. И путь этот лежал через кровь — вначале малую, а затем — большую.

Борис Кровавый: *Исповедь самодержца*

Русский человек исповедоваться любит. Иногда до того доисповедуется, что уже всем окружающим или тошно, или страшно становится. А он продолжает, только во вкус въезжает и останавливаться не собирается. В пылу нравственного самообнажения и душевного самовыворачивания особую усладу находит. Вот смотрите, дескать, какой я широкий! Могу и так, и эдак перед вами повернуться, и скрытые язвы перед вами обнажу. А вы смотрите и любите, какой есть. Потому что — творенье Божье.

У нас сегодня, если политический деятель исповедуется в письменной форме перед электоратом, ему обязательно журналисты-стилисты помогают. Причесывают, жирный блеск со лба и щек убирают, перхоть косноязычия и кондовой забубенности с костюма отряхивают.

Случается, даже своими умными либеральными пассажирами вязкую ткань исповеди украшают. Они, правда, смотрятся — как крепдешиновые латки на дерматине, но это — уже детали, частности. Главное все равно остается. То, о чем человек даже не говорит, а как бы проговаривается.

Когда зазвонил кровавый московский колокол, я достала с отдаленной полки убогую, наспех сверстанную «Исповедь». И меня пронзило. Так вот он, документ предсмертной эпохи недолгой российской демократии! А в качестве палача — некая малоприятная «морда лица» типичного партюка с характерной гримасой брюзгливого всезнайства и выражением особой не рассуждающей собственной правоты отныне и на все времена.

Бедная Россия! Неужели и впрямь тебе на роду написано — ложиться под тех, о которых великий Сатирик сказал:

«С топором в руке пришел неизвестно отколь и с неисповедимой наглостью изрек смертный приговор прошлому, настоящему и будущему».

Странный мальчик

Случилось это в самом начале тридцатых годов двадцатого века в забытом Богом уральском поселке. При крещении младенца сельский поп, уже принявший изрядную «дозу», в купель ребенка опустил, а вот вынуть позабыл. Когда родители спохватились, младенца

пришлось откачивать. Наблюдавший за этим процессом батюшка философски изрек: «Если выдержал, не утонул, значит самый крепкий и нарекается Борисом».

С тех пор все и началось. Может, купель плохо повлияла, но характер у мальчишки был зловредным и неуправляемым. То яблоню у соседа испортит, то патефонных иголок натывает в учительский стул. А то и вообще подзудит весь класс с уроков смыться и в соседнем сарайчике отсидеться.

Ну, как тут было отцу за ремень не взяться? «Лежу, рубаха — вверх, штаны — вниз. Надо сказать, основательно он прикладывался».

Да, большим непоседой и даже драчуном рос наш Бориска. Не раз участвовал в боях, когда шла «стенка на стенку». Однажды его так оглоблей саданули, что «переносица до сих пор как у боксера».

Однажды безобразника все-таки выставили из школы и выдали ему «волчий билет». К тому времени Бориска уже не позволил отцу свою задницу драть. Схватил за руку и заорал: «Хватит! Дальше я сам себя воспитывать буду».

На этом история физических пороков будущего российского самодержца оканчивается. Дальше пойдут порки моральные. А пока все попытки самовоспитания оканчивались полным провалом.

Чего стоит, к примеру, история с двумя оторванными пальцами на руке у юного забияки и задиры. Как-то, забравшись в церковь, превращенную в склад оружия, Бориска стащил пару гранат с запалами, а потом уговорил сверстников идти в лес, чтобы эти самые гранаты разобрать. «Бил молотком, стоя на коленях, а вот запала не вынул...». Запомним это признание. Оно весьма симптоматично.

Ну а дальше будет еще много всякого в том же духе. Организует он поход с ребятами по тайге. Да так плохо организует, что путешественники и лодочку свою потеряют, и без еды-воды останутся, а вдобавок еще и брюшным тифом заболеют. И это, давайте, тоже возьмем на заметку.

Позднее, когда отрок Борис изрядно возмужает, отправится он, уже в одиночку, путешествовать по стране в спортивных тапочках и прохудившейся шляпе. Как-то, едучи на крыше вагона, проиграет экам в карты не только собственные тапки и шляпу, но и старинные дедовские часы. Тапки ему потом вернут, а вот часы — нет. Жаль все-таки, память. С памятью у Бориса тоже всегда будут особые проблемы.

Опасный раздолбай

С тех пор, как младенца Бориса забыли вовремя вынуть из купели, рассеянность подвыпившего служителя культа непостижимым образом передалась окрещенному, порядком отравляя уже взрослую жизнь не только ему, но и всем окружающим. Работая машинистом на башенном кране, наш герой чудом не загубил этот самый кран. Уходя домой, забыл закрепить его за рельсы специальными зацепами. Ночью проснулся, вспомнил — и айда прямо в трусах к крану. В самый последний момент удалось спасти положение.

Позднее, уже будучи начальником стройуправления, наш забывчивый не раз попадал в интересные ситуации. Как-то строили дом, а накануне сдачи оказалось, что двери не так поставили — забыли вовремя проверить. Пришлось плотника срочно вызывать, чтобы тот всю ночь, как пчелка трудился. Молодой начальник ему утром свой старый домашний транзистор подарил — как награду за ударный бессонный труд.

А то еще камвольный комбинат сдавали. А за сутки до сдачи оказалось, что «забыли» в спешке построить целых пятьдесят метров подземного перехода. Ох, и аврал же то был, доложу я вам! У строительных рабочих искры из глаз летели, когда к утру они уже асфальт в переходе укладывали.

Исповедуясь в собственном раздолбайстве, молодой начальник стройуправления однако не скрывал, что стиль работы у него весьма жесткий. Не выносил он чужого разгильдяйства. Свое собственное выносил, а вот чужое — ни Боже мой.

Путь наверх

Вот и оставаться бы ему в роли плохого строительного начальника-самодура. Мало ли таких на необъятных просторах России. Ан-нет — «старшие товарищи» заметили, предложили перейти в партийные функционеры.

Как доверительно делился с нами будущий обкомовский секретарь, это предложение он поначалу воспринял «без особого желания». Но все-таки — принял.

— Захотелось попробовать сделать новый шаг, — вспоминает он. — Кажется, я до сих пор не могу понять, куда он меня привел.

Кажется, этого не смог понять не только он. В конечном счете, не поняла этого и вся Россия, с которой он обращался как в детстве с гранатой:

— Бил молотком, а вот запала не вынул.

Когда нехорошие мальчики становятся самодержцами

Новейшая история России показала миру еще один ужасающий пример того, как поступать нельзя.

Возможно, высшие провиденциальные силы всегда посылают народам и странам свои особые знаки-предупреждения. Нужно иметь спасительную мудрость их увидеть, понять.

Не исключено, внешне убогая, изданная на политическую потребу дня «Исповедь» и была для России тем самым Предупреждением. Ведь ясно было — как нос на лице: нельзя таких «плохих мальчиков» даже близко подпускать к власти, не то, чтобы на трон высаживать.

В пылу исповедального эксгибиционизма автор, не без помощи пишущей братии, сам свои душевные язвы обнажил и даже гордился ими. С детства зловреден, непредсказуем, агрессивен, склонен к авантюрам. За что ни возьмется, все закончится бедой.

А еще — упрямым, не тонок, неумным, негибок, жесток. Идти стране под единоличную власть такого существа было равносильно самоубийству.

Но ведь пошла-таки страна, пошла...

История российской государственности знает двух царствовавших Борисов. Безродного выскочку Бориса Годунова и сумрачного провинциала Бориса Ельцина, выдернутого Москвою из глухого медвежьего закута, с уральско-свердловской партийной грядки.

Царствование Бориса Годунова положило начало эпохи Смутного Времени. Последнее десятилетие двадцатого века, когда правил Борис Ельцин, было и смутным, и страшным. По исторической версии на Годунове — кровь невинно убиенного царевича Федора. На Ельцине — озера крови его соотечественников. Берегись, страна! Ты скоро узнаешь, кто скрывался под маской «всенародного любимца». Услышишь его медвежий рык и это характерное — шта-а-а.

*

Приход к власти Бориса Ельцина означал конец демократическим преобразованиям в России. Почудив в демократию, как слон в посудной лавке, и втянув в свой Апокалипсис Украину, Россия, как взбрыкнувшая лошадь, вернулась в привычное стойло единовластия.

В силу личных особенностей своей антидемократической натуры Демократ № 1 положил начало «наследственному» принципу передачи власти, когда в состоянии уже полной физической и духовной немощи предложил народу своего ставленника Владимира Путина — в качестве «наследного принца».

Последовавшее вслед за этим десятилетие уже нового века только укрепило эту «самодержавную» тенденцию, превратив демократические процедуры в жалкий фиговый листок, за которым — «выбор без выбора».

Мы падаем, нам уже не помочь...

октябрь 1993 год:

...Разъяренная толпа у входа в «Останкино» продолжала посылать проклятия в адрес «оккупационных властей» Бориса Ельцина. Проклятия летели и в адрес главного телецентра страны — как «рассадника циничной лжи, дезинформации и холуйского пособничества преступным властям».

Уже какой-то грузовик с треском и звоном врезался в стеклянные двери, а на первых этажах телецентра послышалась стрельба.

Трагический поход на «Останкино» шел полным ходом, и Александр Руцкой в камуфляжной форме со своим так и не стрелявшим оружием доказывал телеоператорам осажденного телецентра мирный характер намерений народа по восстановлению конституционного порядка в стране.

Мы — здесь, у себя, еще не могли толком ничего понять. Диктор скороговоркой объявил, что передачи временно прекращаются, и на экране воцарилась тревожная и зловещая пустота. Впрочем, ненадолго.

Собравшись с духом, ободренная ответным огнем омовцев по «этому взбесившемуся красно-коричневому сброду», останкинская телебратия сроченько перекоммутировалась на никому не нужную и всеми забытую Шаболовку.

И тогда мы увидели фильм. Его показывали с середины, а может быть, и с конца. Растерянные пассажиры терпящего бедствие огромного самолета что-то в ужасе кричали, предчувствуя неминуемую катастрофу. Радисты пытались подать «SOS» на землю, но мешали атмосферные помехи, и сигналы бедствия не доходили.

— Левое крыло отказало, мы летим на одном крыле! — кричал своему помощнику первый пилот.

На экране судорожно мигали сигнальные огни, бушевала атмосферная буря. И все это сливалось с криками ужаса, отчаяния и бессилия тех, кто был внутри самолета:

— Это конец, понимаешь — конец! Мы падаем. Нам уже не помочь...

И вся эта киношная картина непоправимой беды так страшно и точно ложилась на все происходившее в реальной жизни Москвы осени девяносто третьего, что рука нервно тянулась к бумаге, чтобы записать эти восклицания, диалоги, обрывки фраз.

Самолет летел в пропасть. Летела в пропасть страна

Аналогия была столь очевидной, что казалась непостижимой.

А впереди была ночь. Ночь накануне еще одного чудовищного акта этой катастрофы — артиллерийского штурма Белого Дома, начиненного живыми людьми, почему-то поверившими в торжество законности, гуманизма и демократии.

Разгон российского парламента открывал путь постсоветскому бонапартизму, за спиной которого уже маячил призрак фашизма, идущего на плечах демократии.

Кровавое воскресенье

октябрь 1993 год:

Пролилась Кровь. Большая Беда... Говорят, истинную правду о случившемся мы узнаем не скоро, если вообще узнаем. Слабое утешение.

...Голоса теледикторов по-прежнему бодры и оптимистичны. Оптимизм напоказ — главная черта современной «официозии». Но мы это уже проходили, и этот парад масок нам хорошо знаком.

Вот только старый драматург В. Розов с дрожащими от возмущения губами решается напомнить победителям, что это вовсе не победа над «красно-коричневыми», а национальная трагедия.

Когда пушки всенародно избранного Президента палят по зданию, где находится столь же законно избранный народом парламент — это какая-то чудовищная фантазмагория. Но самое страшное — в тот момент там находилось множество ни в чем не повинных людей в «стоптанной обуви», в том числе и женщин. Их единственная «вина» — в том, что они всерьез поверили в личное право отстаивать Конституцию этой страны.

...В свое время царь Николай был прозван «Кровавым» за то, что 18 мая 1896 года на Ходынском поле случилась давка с человеческими жертвами.

Лично царь не имел к Ходынке прямого отношения, но, будучи главным лицом империи, навсегда схлопотал кровавое прозвище.

Прокляв от имени всего народа своих уже расстрелянных и еще не расстрелянных врагов и ни слова ни сказав о своей личной вине, Борис Ельцин вручил особо отличившимся в кровопролитии звезды Героев России.

...Владимир Молчанов говорил, что сегодня в России есть, пожалуй, две власти — армия и средства массовой информации. Позаимствовав у властей развязную неразборчивость в выборе средств, демократическая пресса демонстрирует образчики народофобии. Им бы к Президенту броситься с челобитной — пожалеть одичавший народ, освободить его от кровавых разборок. А они — молили о разгоне парламента, проклятия на голову спикера посылали, изгалились над «быдлом», мешающим истинно деловым людям «преобразовывать Россию».

В обществе идет ускоренное формирование образа власти — «их власти», власти несправедливой. Обществом обуян страх.

— Ну, хорошо, покончим мы с Белым Домом, — озадаченно интересуется журналистка у военного, руководившего штурмом опального здания. — А дальше-то что? Ну, возбудят процесс против новых гекачепистов, снова вернуться к гекачепистам старым, а дальше? Что — жизнь станет лучше или счастья прибавится?

У нынешних «твердокаменных» — свой стиль, своя манера. Пустить кровь «этим скотам», этой «черни», а потом уехать на неделю куда-нибудь «глотнуть кислорода», чтобы потом снова вернуться в этот мир — с его «совками» и «совкодавами».

На сквознячке

октябрь 1993 год:

После кровавого разгона российского парламентаризма привычное гудение обитателей украинского депутатского улья действует как успокоительное пробуждение от кошмара. Будто из попавшего в девятибалый шторм тонущего судна чудом переселился в уютную яхточку, что мирно покачивается посреди полного штиля закрытой бухточки. Никто никого не отменяет, не окружает колючей проволокой, никто ни в кого не стреляет. Уже счастье...

Правда, нет-нет, а пронизывающий северо-восточный ветер недавней попытки «октябрьского переворота» залетает и в эти уютные стены неожиданным злым сквознячком напоминания о предательстве своих же северных собратьев-депутатов. Ни одного вразумительного протеста не вырвалось из этих стен, когда там, в Москве, развивался зловещий сценарий артиллерийского подавления демократии и свободы воли. Что ж, мы такие — поспокойнее, порассудительнее. Да и стоит ли лезть на рожон, если лично твоей заднице, уютно сидящей в депутатском кресле, ничего не угрожает. Хотя — как сказать...

Неровен час — искра от соседней крыши может перекинуться и на твой дом. И вспомнит иной депутат, как некоторые забористые СМИ советовали Ельцину сражаться с оппозицией «на канделябрах». Тот в ответ только улыбался саркастически. Зачем, дескать, канделябрами, если можно уже наверняка — пушками.

Нет, нужно трижды Бога благодарить, что нет у нас своего Ельцина, а есть свой Кравчук. А это значит, что наверняка не поведут спикера Плюща вместе с депутатом Морозом под белые руки в узилище по образцу Лефортово. И Раду канделябрами не закидают сверху в виде гранат, чтобы завтра же официально объявить День траура по невинно убиенным.

У нас свой сценарий — безликий, зато и бескровный. «Новый старый» Кабинет министров в очередной раз ломает голову, куда вести страну, чего строить — коммунизм, социализм или все-таки «компрадорский капитализм» по образцу российского. У нас все еще свобода выбора, и это обнадеживает. Какой-никакой, но шанс поговорить, что уже само по себе успокаивает.

Если России угрожает тридцать седьмой, то нам — тридцать третий. Но мы-то народ мирный, а главное — терпеливый. Спокойно готовимся к тому, что уже к зиме буханка хлеба поднимется в цене

до пяти-десяти тысяч купоно-карбованцев. Запасемся парой мешков выращенной своими руками картошки, надеясь во что бы то ни стало — выжить. И что интереснее всего: многие наверняка выживут. И даже пойдут на будущие весенние выборы народных депутатов. Чтобы все повторилось сначала.

Политический сатанизм в юбке

март 1994 год:

Толстая, но решительная и злая

Наверное, в отрочестве Валерия мечтала повторить судьбу русской революционерки Веры Засулич или даже народницы Софьи Перовской, организовавшей последнее удачное покушение на царя. Ей хотелось большой настоящей борьбы и победы. Но что поделать? Она была всего лишь толстой, неуклюжей и некрасивой девочкой. К тому же время прежних революций давно прошло, а новых еще не наступило.

Когда же оно наступило, Валерия Новодворская была уже дамой немолодой, но по-прежнему толстой и решительной. К тому времени в ней вызрел особый дар, который она решительно демонстрировала на публике, как свою особую религию. Дар ненависти. Она считала себя революционеркой новой постсоветской волны.

*

Когда-то в одном из своих романов Федор Достоевский писал о профессиональных революционерах, готовивших в России коренной социальный переворот. Писатель называл этих людей Бесами, ибо в стремлении достичь своей цели они были готовы отдать душу Дьяволу, и никакая кровь не могла остановить их на этом пути.

Процесс распада советской империи вызвал к жизни поколение новых революционных бесов, начертавших на своих знаменах свой коммунизм навыворот. Их яростный и к тому времени уже безопасный для них самих антикоммунизм стал своеобразной формой современного политического сатанизма.

Сама же Новодворская, как и подобает истинной революционерке, угодила на некоторое время за решетку, публично обвинив Михаила Горбачева в фашизме. К тому времени она успела стать знаковой фигурой посреди всеобщего разброда и шатания, и на вопросы журналиста «Огонька», чего ей не хватает в камере, кокетливо отвечала:

— Хорошего мыльца и свежего номера журнала.

После того, как главный гонитель Валерии канул в политическое небытие и Новодворская была с триумфом выпущена на свободу, грузная дама-революционерка пребывала некоторое время в раздумье. Яростный радикализм правительственной команды Ельцина ее вполне устраивал. Но борьба еще не окончилась. И потому эта дама решительно советовала всей русской интеллигенции поставить крест на своем прошлом, настоящем и будущем, водрузить крест над холмиком, где будут похоронены всяческие интеллигентские комплексы, и нагой, ничем не обремененной, пуститься в будущий крестовый поход, вооружившись, в качестве новой иконы, портретом Егора Гайдара, как символа новой России.

«Я желала им одного — смерти...»

Говорят, дамы в своих намерениях и поступках бывают подчас гораздо радикальнее мужчин. Особенно, если они — революционерки. Новодворская, как рупор новой России, это доказала на все сто.

Итак — Москва октября девяносто третьего, зловещая ночь перед штурмом Белого Дома. Последняя ночь для десятков и сотен соотечественников Валерии. Как же чувствует себя этой ночью русская интеллигентка-демократка и ярая защитница человеческих прав? Очень хорошо и решительно. Приблизительно как Софья Перовская, дававшая сигнал своим белым платочком ко взрыву царской кареты. Хотя «белый платочек» в контексте сегодняшнего дня — такой жалкий и беспомощный анахронизм.

— Если бы ночью, — заявляет на всю страну эта дама, — нам, демократам и гуманистам, дали танки, какие-нибудь уцененные самолеты и прочие ширли-мырли, Белый Дом не дожил бы до утра, от него остались бы одни развалины.

И далее, уже решительно отбросив всякие интеллигентские ширли-мырли, она без утайки признается:

— Я желала тем, кто собрался в Белом Доме, одного — смерти. Жалею только о том, что кто-то ушел оттуда живым.

Единственного, кого она, пожалуй, бы оставила в живых, уточняет демократка и гуманистка, так это Сергея Кургиняна с его талантом и интеллектом.

Слава Богу, хоть в этом с ней можно согласиться. Этого стоило оставить в живых, этого действительно стоило бы пожалеть...

— Зато всех остальных — ни за что! — яростно добавляет новая русская революционерка. — Особенно эту гадкую Сажи Умалатову. Ведь сама же говорила, что предпочтет умереть, а, смотрите, осталась-таки в живых! Но это в последний раз она пожалела и Сажи, и Зюганова. В следующий раз, будьте уверены, ее палец не дрогнет на спусковом крючке.

Убить, а потом есть и спать

Казалось, тут впору осенить себя крестным знамением. Чур меня, чур! Откуда такая ярая, нестерпимая, жгучая, почти нечеловеческая ненависть?

— Да все просто, — объясняет сама Новодворская. — Я не могу жалеть тех, кого презираю. Не людей я вижу в своих врагах, а лишь какой-то злобный черный туман. Чтобы справиться с такими, понадобятся пули и много осиновых колов.

Немного зная эту даму, можно было предположить, что она намеренно эпатирует публику. Но вот беда — она говорит вполне серьезно:

— Штурм начали не мальчишки-танкисты и не командос-омоновцы. Они выполняли приказ. Но приказ был сформулирован не Грачевым, а нами. У матросов нашего полу-Очакова, полу-Авроры вопросов не было.

— Позвольте, но кто это — «мы»?

— Все жертвы штурма погибли от нашей руки — интеллигентов, сознательно вышедших за флажки обреченного пацифизма и бессильного гуманизма. Не толстовцы, а зрелые антикоммунисты готовы были смести со своего пути «все движимые и недвижимые препятствия».

*

Профессиональная революционерка новой волны раскрывает нам еще одну страшную тайну бытия, доселе, казалось, неразрешимую. Как можно «убить, а потом есть и спать».

Да все просто. Достаточно, чтобы твои «девичьи мечты и интеллигентские чаяния преломились о колено» — и уже можно ничего не бояться. Тем более — крови.

Ну а что касается «белых одежд» гуманистов, то их всегда можно сдать в стирку, тем более, что «свежая кровь отстирывается хорошо».

На таком фоне даже заметно закровавленная тога Президента выглядит почти идеально.

— Ему было трудно пойти на то, на что мы приглашали его пойти, — заметит по этому поводу Новодворская. — Я всегда подозревала, что он добрее нас.

О «битках по-казацки» и российской истории

То, что одна кровь непременно влечет за собой другую, еще бóльшую, Новодворскую не смущает. Наоборот. Ближайшее развитие политической ситуации в стране видится ей следующим образом. Поскольку значительное число россиян голосует за коммунистов, Жириновского и «прочую нечисть», она предлагает:

— Придется избавляться от каждого пятого. А пока необходимо выделить бюджетные средства для резиновых и пластиковых пуль и закупить побольше водометов для разгона будущих демонстраций, где ОМОН будет превращать всех недовольных в «битки по-казацки».

*

При всей своей «обжигающей ненависти» к коммунистам, Новодворская остается замшелой русской революционеркой-бомбисткой начала двадцатого века. Её то и дело выдает лексика, окопная романтика гражданской войны.

Будь ее воля — она бы и всю отечественную историю перекроила. Строго выговаривает покойному императору Николаю II за то, что тот отказался от престола, не снял части с фронта и не помог Корнилову «выбрать смерть красных».

Она и Блока упрекает за то, что он, глупый, остался в России, а нужно было все делать не так, не так...

Плащ Маргариты и «музыка сфер»

Однако революционерке Новодворской катастрофически не хватает «белых одежд». Те, что сданы в стирку, пока не возвращены. Видно, не так легко отстирывается свежая человеческая кровь. Примерить, что ли, черный плащ Маргариты, а еще лучше — самого Воланда?

— Мы пока получили все, о чем условились то ли с Воландом, то ли с Мефистофелем, то ли с Ельциным, — гордо заявляет наша приспешница Сатаны.

И все же этот сатанизм напоказ и «всё дозволено» натывается на подспудное желание получить «отпущение грехов»

Когда утром четвертого октября в свете хрустально-голубого неба, стоя на никому не нужных и совершенно безопасных баррикадах на улице Станкевича, Новодворская вместе с «неотолстовцами» — жадно, как меломан, ловила каждый залп орудий, уничтожавших живых беззащитных людей, к ним «забрел молодой прогрессивный священник в рясе и с крестом»

Слушая смертоносные залпы, он восклицал:

— Это музыка сфер! Слушайте ее!

Новодворская с ее собаррикадниками подходила к этому человеку под благословление. И чудовище в рясе их благословляло.

Все сами, сами развязали...

Может, не стоило так подробно останавливаться на страшноватых подробностях нравственных откровений новой российской революционерки, если бы журнал «Огонек» не преподносил их как образец «редкого бесстрашия поступка и мысли». Журналу, правда, чуть неловко за намерение этой решительной дамы уничтожить каждого пятого россиянина, но он считает подобный эпатаж — всего лишь простительным дамским кокетством.

Постперестроечный «Огонек», перестав быть прежним властителем дум жаждущих перемен миллионов, теперь демонстрировал трогательное родство душ с яркой представительницей нового русского политического сатанизма.

...Нетерпимость к инакомыслию, желание мстить миру за его несовершенство, если «преломлены о колено прежние девичьи мечты» — исконная, трагическая мета отечественной интеллигенции, не раз заводившая страну в тупик и мрак безысходности.

*

Когда спустя год вспыхнет кровавая война в Чечне, Новодворская, вкупе с Егором Гайдаром, будут публично грозить Ельцину чуть ли Нюрнбергским процессом. Ну, а чего вы хотели? Ведь — как сказано у поэта Коржавина? «Все сами, сами развязали, стремясь смести, владеть страной»...

Грешить и каяться.
Каяться и грешить...



**Записки на
ПОЛЯХ**

Женщина Россия

Есть что-то бесконечно женственное, сладострастно-мазохистское в структуре душевной ткани России, где чувства почти всегда побеждают разум, стремление к святости и смирению соседствует с агрессивным безбожием, бунтарским срыванием всех запретов, где тяга к общинности легко уживается с проявлениями крайнего индивидуализма, а внутреннее рабство и самобичевание — с необъяснимой гордыней, осознанием своей особенной вселенской Миссии.

Православие легко и органично легло на эту душевную ткань, соответствуя ее глубинной потребности быть «не от мира сего», исповедовать культ уравниения голостью и нищетой.

Веками привычное нашему слуху «с голого — как со святого» — не случайно. Не случайна и тяга к цитированию того места Святого Писания, где «легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попасть в Царство небесное».

Отношения России с Богом тоже очень женские: чувственные, с оттенком мазохизма и комплексом вины. Грешить и каяться. Каяться и грешить. Как с дорогим сердцу возлюбленным, которому изменяешь, но продолжаешь любить, несмотря ни на что.

*

Федор Тютчев предлагал исключить разум, искать особые органы восприятия для понимания России. Учитывая ее «особенную статью», он предлагал в нее «просто верить» — как верят в Христа, Истину, Высшую Справедливость.

Для меня, рожденной в СССР и пережившей фантасмагорию добровольного распада и саморазрушения

России, ее поворота вспять после бессмысленного бунта, втянувшего в свой Апокалипсис и Украину, говорить о слепой вере в Россию странно и даже оскорбительно. Вера утрачена вместе с чувством глубинного родства.

Украина — не Россия?

Почему все, что происходило и происходит в России, так важно для нас, живущих в Украине? Мы веками были одним организмом, вначале в составе Российской империи, а потом и Советского Союза, отчасти превращаясь в сестер-близнецов, а порой и в сиамских близнецов, когда речь шла о едином, казалось, намертво слитом экономическом пространстве.

Не удивительно, что структура душевной ткани у нас сходна с российской. Но существуют и характерные отличия.

Украинская ткань более индивидуалистична, менее склонна к коллективизму и общинности. Психология Малороссии с ее «окраинностью» нашла свое отражение в некоей индивидуальной отстраненности: «моя хата — з краю».

Украинская рабскость тоже отличается от российской. Это — лукавая рабскость вассала, привыкшего, на всякий случай, держать кукиш в кармане и в самый неожиданный (как правило, неподходящий) момент продемонстрировать его, за что неоднократно получала ощутимую затрещину со стороны «старшей сестры».

*

Ментальная ткань Украины, в отличие от российской, более рациональна и прагматична. Она менее агрессивна, менее подвержена крайностям и шараханьям из стороны в сторону. Но у нее свой трагический изъян — разобщенность, заметное равнодушие к судьбе ближнего, а главное — тот самый «комплекс гетьманства», который всегда мешал национальному объединению, превращению народа в единое существо,

одержимое одной сверхидеей и сверхзадачей. Эта внутренняя разобщенность и комплекс своей «малости» всегда стояли непроходимой стеной на пути страны к независимости.

Народ, элита которого не в состоянии договориться между собой ради единой высокой цели, обречен не только на внутреннюю зависимость от всего и вся, но и зависимость внешнюю.

*

И все-таки есть лучик надежды в этом мраке безысходности. Народ, который давно перерос власть, оставляет ее у себя за спиной. Власть, правда, еще не догадывается об этом и продолжает цепляться за народ, как единственную форму своего существования.

Но это — почти безнадежный случай. Народ, который не боится и не уважает власть, внутренне свободен от нее.

*

А еще говорят, что каждый день необходимо завоевывать заново — иначе нас завоеует смерть. Кажется, мы — единственные, так и не понявшие это.

Убить драконов (из письма к Альфреду Тульчинскому)

«...Очень символичным показался мне ваш, дорогой коллега, «недавний и неспешный» разговор с известным режиссером Марком Захаровым. Он пожаловался, что все сложнее удерживать нынешнюю публику «массой новых режиссерских трюков». А Вы заметили, что сегодня нужно играть так, как это делали более полувека назад артисты в военных госпиталях. «Мир болен, мир в отчаянии, — говорили вы, — и помочь ему может только сердечная теплота и задушевность».

Так вот, эта мысль показалась Захарову настолько неожиданной, что он даже бросился к Вам с объятиями. Странно: ему, прожженному театральному «волку», такая, в общем, нехитрая мысль вдруг показалась столь «потрясающей».

Мне кажется, я знаю секрет подобной «недогадливости». В той тотальной «расчеловеченности», что наблюдается не только в российской журналистике, но и в мире театра, вина интеллигенции огромна. В том числе и самого Марка Захарова.

Помню статью Захарова, помещенную в одной из газет в канун вторжения федеральных войск в Чечню. Проводя аналогии с Америкой, режиссер снисходительно вопрошал: возможно ли такое, чтобы штат Арканзас, к примеру, претендовал на суверенитет и выход из Штатов? Он намеренно не желал видеть исторических различий между Чечней и штатом Арканзас, отказывая всему чеченскому народу даже в самой возможности претензий на свободу.

Позднее, когда польются реки крови, Захаров будет публиковать статьи демонстративно-отстраненного характера: о жизни театра, о проблемах искусства. Такое ощущение, что известный режиссер был как бы «не в курсе дела», что под его разговоры о пользе «режиссерских трюков» федералы подвергают ковровым бомбардировкам Грозный, взрывают мосты с бегущими женщинами и детьми, которые пытались вырваться из огненного кольца смерти.

Да, сама когда-то увлекалась режиссерскими трюками постановщика «Дракона». Теперь думаю: сколько же «драконов» нужно убивать в своих душах нынешним русским интеллигентам? Они уже давно — не совесть нации, а ее стыд и позор...».

От молодого негодяя — к старому маразматiku

Шестидесятипятилетний Эдуард Лимонов — это физиологический реализм с привычным для него клозетным душком. То, что было отчасти извинительным для «молодого негодяя», эпатирующего публику своей физической и душевной скверной, превратилось в откровения старого козла, претендующего на свой унылый доморощенный бестиализм.

Эта показная страсть к молодой женской плоти, демонстрация своего сексуального «гигантизма» отвращают особенно.

— Разве способна пожилая женщина вызвать желание? — то и дело задается вопросом герой его «романа в промзоне».

— В такой же мере, — хочется ответить ему, — как и пожилой мужчина с дряблыми ляжками, впалой грудью, полубезумным взглядом за стеклами очков и развевающимися на ветру седыми волосами, неудачно выкрашенными в рыжеватый цвет.

Наверное, ложась с ним в постель, московские девицы испытывали смесь ужаса и отвращения, с оттенком тщеславия, продиктованного нездоровым любопытством и падкостью на связи с нашумевшими «знаковыми фигурами» политического небосвода России.

За этой скандальной игрой в политику несогласия с властью, игрой в преданную охрану, которая увозит его от любовниц из любого места в любое время суток — истерический жест слабого существа, эксгибиционирующего на публике с целью подчеркивания своего сексуального, политического литературного и прочего «гигантизма».

Российская политическая оппозиция в образе шестидесятипятилетнего Эдуарда Лимонова, который, лежа в постели с двадцатилетней девкой, записывает по телефону предсмертный бред своей одинокой, брошенной в Харькове на произвол судьбы матери, чтобы использовать все это для своих будущих писаний — что может быть гаже и отвратительней?

*“Война - это волк, который придет
и к твоему порогу .”*

Бернард Шоу



Война

Враги или соотечественники?

декабрь 1994 год:

Первые грозные шаги начавшейся «операции в Чечне». Для многих россиян тогда неясным оставался вопрос: чеченцы — это кто? Враги ли соотечественники? Если враги, то почему Чечню считают частью России? А если соотечественники, то почему их нужно бомбить?

Это казалось каким-то чудовищным абсурдом. Еще вчера Северный Кавказ был частью нашей общей Родины. Сюда со всей страны съезжались любители активного отдыха и горно-лыжного спорта. В прекрасном и живописном советском городе Грозном жили открытые и гостеприимные советские люди, ходили трамваи, светились праздничными огнями театры и кинотеатры, работали булочные и «продмаги». Какой безумец, в приступе какой политической невменяемости мог отдать приказ забросать бомбами этот живой, сложный, искрящийся мир?

Безуспешные попытки Грозного договориться с Москвой. Первые налеты федеральной военной авиации на столицу Чеченской республики. Первые взрывы, развороченные трамвайные пути, растерянные, бегущие люди. Безжизненно повисший в разбитой стеклянной будке советский телефон-автомат. Это был очень плохой сон.

Был канун католического Рождества, и западный мир в предвкушении праздника погрузился в суету дешевых распродаж. Радио «Маяк» транслировало песни о загадочной русской душе вперемежку с рекламой зажигалок «Крокет».

А в это время в Чечне от мощных ударов авиабомб уже всюду пылали жилые дома, театры, магазины и кинотеатры. Гибли не успевшие спуститься в подвалы беспомощные старики, маленькие девочки с куклами в руках, их мамы, бабушки, братья и сестры.

Начинался массовый исход из Грозного, бегство из ада.

Радио «Свобода» передавало сообщение о том, что колонну с мирными беженцами из Грозного обстреляли федеральные войска. Начались ковровые бомбардировки прилегающих территорий.

Припав к радиоприемнику, напряженно ждала: вот сейчас прозвучит чей-то приказ — и безумие прекратится. Но безумие не прекращалось. Оно нарастало.

Мрак правды **январь 1995 год:**

Все последнее время сильнее и острее всего остального — Боль. Надрывная, ноющая — она, кажется, не оставляет даже во сне.

Стоит закрыть глаза — и эти разрывы бомб, пылающий факелом город, чей-то рот, разъятый в предсмертном крике, чьи-то закованные, торчащие из сугроба ступни.

Невыносимо раздражала музыка — любая музыка, особенно веселая, легкая, танцевальная, особенно эти шлягеры с придыханием — о зимнем саде, праздничных свечах, неразделенной любви. Это слюнявое токование вокруг всяких невидимых миру душевных прыщиков и царапинок — на фоне ада, что творился в Грозном — казалось мелким и гнусным издевательством — как смачный плевок в лицо, как стул, незаметно отодвинутый за твоей спиной, как безжалостное острие бора в открытом нерве зуба.

Вся первая половина января — какая-то чудовищная фантазмагория. Одновременное проживание в двух параллельных мирах. В одном — Москва звенит новогодними фужерами, пьяно хохочет, выкрикивает тосты и поздравления. А там, в ином мире, но в той же стране, грохочут разрывы бомб. Кровь, хаос, мрак.

После начала войны в Чечне пришло острое осознание: того мира, в котором мы жили, отныне больше нет. До сих пор все только тревожно змеилось, меняло свои очертания — и вдруг приобрело четкую застывшую форму.

Мир без войны окончился. Война ворвалась в дома и сердца. Бикфордов шнур уже пылает.

Чуть ли не впервые за последние годы возблагодарила Бога за то, что Украина — не «субъект Российской Федерации». Страшно и стыдно жить в стране, имеющей такую власть и такого Президента. Мне уже не избавиться от страха и стыда за народ, позволивший столкнуться себя в провал и омут этой «войны без правил».

Служба безопасности Президента действует в духе бандитских разборок. Бравые солдаты забивают насмерть министра здравоохранения Ингушетии.

Реальная власть ушла в тень. Все решается в ходе муждусобойчиков на теннисных кортах и в саунах. И решается часто не самими политиками, а их личными охранниками. От такой страны и впрямь можно ждать чего угодно.

*

В эти страшные дни Грозный, вопреки всему, продолжает стоять, доказывая миру, что человеческий дух, восставший против унижения диктатов, порой сильнее танков и многотысячной армии.

Чудом оставшиеся в живых мирные жители голодают в подвалах, лишённые даже глотка воды. Когда эти строки увидят свет, наверное, Президентский дворец уже будет взят. Режиссеры и авторы блицкрига, возможно, попытаются набросить покрывало благопристойности на жуткую изнанку жизни. Но это ничего не изменит. Та бездна, этот страшный мрак правды уже не скрыть. Раны будут зиять, и война будет продолжаться. Она проникнет во все поры общества, заражая его страхом, ненавистью и бесконечной эскалацией насилия.

Фашизм по-русски февраль 1995 год:

Один известный гуманист писал, что человечество делится на тех, для которых все возможно, а значит и необходимо, и на тех, для кого возможно далеко не все. Так нацисты в свое время оправдывали свои зверства тем, что они «солдаты и выполняли приказы», а значит действовали под влиянием жесткой необходимости.

Однако корень не в том, что представляется для человека необходимым, а в том, что представляется ему возможным.

...О, эта фатальная и блудливая особенность русского ума — пытаться все оправдать и объяснить соображениями некоей «высокой цели». Жаживо снимать кожу и сжигать в газовых печах ради мирового господства одной расы или бросать бомбы на головы тысяч мирных жителей «для восстановления конституционного порядка» — какая разница, как озвучить «благую цель»? Слова всегда найдутся.

Все происходившее в Чечне было типичным уголовным преступлением со стороны федеральных властей России по отношению к целому народу.

Страшная правда прорывалась сквозь толщу официозной лжи. Слушая сообщение какой-нибудь зарубежной радиостанции о том, что федералы разбомбили очередное чеченское село, уничтожив триста мирных жителей, в основном женщин и грудных детей, спрашивала у себя: если это не фашизм в действии, то что же?

...Группы русских солдат, посланных в чеченскую мясорубку, неделями лежали на улицах Грозного как забытый хлам. Их обгладывали одичавшие собаки. Свои же, русские, не дали чеченским боевикам похоронить русских даже на православное Рождество.

Тульский парень писал из Грозного письмо отцу, где рассказывал о войне. Вчера ему удалось разорвать гранатометом на куски двадцатилетнюю девчонку. Говорят, она была снайпером.

Раскручивался новый виток политической невменяемости российских властей, так ничему и не научившихся партократов, фантастически невежественных в вопросах истории и национальных отношений.

Сбываются предсказания Сергея Кургияна: «фашизм — это проект, в котором народам под видом укрепления их самобытности навязывается идея смыслового и физического самоумерщвления. Энергия национального пробуждения ... фашизмом схватывается и направляется в то сосредоточие черной пустотности, где царствует Черный Сон. Фашизм в России — это обеспечение смерти России единственно возможным и надежным способом».

Так поцелуй меня!

март 1995 год:

Штурм Грозного оказался длительнее и ожесточеннее штурма Берлина. Радио «Свобода», отчаянно заглушаемое вновь ожившими глушилками, передавало текст письма русского писателя, адресованного Ельцину.

— Причина трагедии в Чечне, — говорил писатель, — нежелание и неумение российских властей искать и желать компромиссов. Упорное стремление ставить противника в положение, когда тот просто морально обязан сопротивляться, защищая честь и национальное достоинство. А еще за всем этим — обычная русская дурь, замешанная на чисто обкомовской спеси, не привыкшей к диалогу, а только лишь к диктату.

А еще русский писатель говорил о том, что в России всегда существовала спасительная традиция самостоятельного участия в поли-

тике женщин, не разделявших мужского экстремизма и пытавшихся смягчить последствия жестоких поступков своих мужей. Так было много раз в истории России.

— Неужели в семейном окружении Ельцина не нашлось женщины, способной образумить его в губительном для всей страны слепом упрямстве? — спрашивал писатель и с грустью добавлял:

— Ведь хотя бы свою жену он не может заподозрить в намерении отнять у него власть.

А мне в этот момент припомнилось время, когда еще не было «Бориса Кровавого», а был «всенародный любимец». Телеоператоры часто снимали его в окружении умеренной свиты, стоящим со свечой в пасхальную ночь или на Рождество, а рядом была его жена Наина, тоже со свечой в руке.

Однажды, уж не помню по какому поводу, был отснят сюжет, где борец с чужими привилегиями возвращался к себе домой. Навстречу ему спешили близкие ему женщины, обнимали его. Он прошел на кухню, тогда совсем простую и доступную, походя отщипнув кусочек от стоявшего на столе то ли пирога, то ли пасхального кулича, за что получил шуточный шлепок по руке от своей жены.

— Значит, — сказала себе, — так и не нашлось женской руки, которая бы попыталась мягким движением разжать стиснутый в слепом раздражении кулак, готовый опуститься на голову целого народа.

Или, может быть, Наина Ельцина не читает газет? Неужели тот маленький мальчик из грозненской больницы, которого убило взрывной волной, когда он потянулся к сидевшей на окне кошке, или мать девятерых детей, погибшая под артобстрелом, пробираясь по городу в поисках куска хлеба для малышей — не заставили вздрогнуть и облиться кровью женское сердце? Или с «императорских высот» пылающие дома и гибнущие люди — всего лишь невидимые глазу шевеления в муравейнике?

— Так поцелуй меня, я так люблю тебя! — умолял по «Маяку» исполнитель старинного русского романса.

Кого в следующий раз «полюбит» Россия?

Сюрреализм в Буденновске

июнь 1995 год:

Когда Шамиль Басаев вместе с группой чеченских боевиков решился на захват заложников в Буденновске, он полагал, что здесь, в России, ценят жизнь хотя бы своих же, русских. Он считал, что русским войкам проще расстреливать на бреющем полете только черноволосых чеченских детей вместе с их несчастными матерями. Он был уверен, что своих, светловолосых, они-то хотя бы пожалеют.

Шамиль ошибся. В России вообще не ценится жизнь отдельного человека — будь он русский или «инородец». Тем более, если речь идет о победе. Если надо, то положили бы ради «победы» над семью десятками чеченцев не только сотни русских женщин с детьми, в том числе и не родившимися, но и добрую половину Буденновска, а то и всего Ставрополя.

Жаль, не дали «порулить» Павлу Грачеву, чтобы «прижать этих бандюг». Тогда уже наверняка пришлось бы бросать сверхмощную бомбу на здание больницы, начиненной беременными и младенцами. Пронесло...

Горстка отчаявшихся вооруженных людей, стремясь положить конец уничтожению своего народа и привлечь скандальное внимание всего мира, пошла на крайние меры. С падением Ведено, последнего оплота сопротивления, когда страшная правда о Чечне была слышна все глуше и слабее, группа Басаева пошла на этот шаг, продиктованный бессилием отчаяния.

Их путь лежал туда, в Кремль, откуда неслись приказы бомбить и превращать их родину в мертвую выжженную степь. Но — не вышло. У боевиков не хватило средств, чтобы по пути продвижения подкупить всех продажных охранников правопорядка. Их путь был остановлен в Буденновске.

Наверное, когда-нибудь найдется сюрреалист, способный воссоздать ту безумную неделю в доселе тихом и сонном поселке на Ставрополье, названном в честь усатого красного кавалериста.

Нет, не слепая ярость двигала этими странными террористами, хотя у большинства из них, в том числе и у самого Шамиля, федералы убили всех родных и близких.

Убедившись, что «силовикам» плевать на своих же людей и они готовы идти на второй и на третий штурм больницы, Басаев стремится освободиться от заложников, выпуская на свободу одну за

другой группы женщин с детьми. Он вовсе не собирался расстреливать невинных и слабых.

— Было очень неприятно держать в заложниках мирных жителей, — позднее признается он журналистам. — Я чувствовал себя скотиной.

*

Когда-то Чечня воевала с Царской Россией «в белых перчатках». Делилась с русскими ранеными последним куском хлеба, передавала пленных в руки русских матерей. Сегодня эти «кавказские страсти» кажутся трогательной идиллией, легким щекотанием нервов уставших от светской жизни героев давно канувшего в Лету элегического времени.

Полгода страшной чеченской «войны без правил» вызвали события в Буденновске. При всей чудовищности ситуации они доказали России и миру, что разговоры о нестигаемой силе духа, цельности и внутреннем благородстве горца — не глянцевого миф со старой книжной обложки.

— Да как вы смели по нам стрелять?! — истерически кричит в глаза своим «освободителям» беременная женщина. — Они, чеченцы, нам ничего плохого не делали. Даже куском хлеба делились.

*

Обалдевший от жары московский люд вяло рассуждает перед телекамерами о преимуществах и недостатках штурма. Окружающий мир с ужасом следит за происходящим в ожидании повторения трагедии Грозного в миниатюре.

Потом все вдруг неуловимо меняется. Невидимый дирижер устало махнул рукой, понимая, что это уже перебор. Неожиданные переговоры российского премьера с Басаевым — и вот уже яркий луч прожектора освещает нового героя, доселе скрывавшегося за массивной президентской спиной.

На фоне окружающего морального безрыбья и кровавой мерзости — Человеколюбец и Гуманист. Поди ты — не «побрезговал» договариваться с бандитами ради спасения жизни соотечественников. Но не спешите с выводами. Человеческие жизни тут не причем. «Человеческий фактор» скорее всего понадобился чиновному гуманисту для предстоящих предвыборных игр.

Добровольное заложничество

В эти странные безумные дни родилось невиданное миру явление — добровольное заложничество. Журналисты, правозащитники, думцы, просто мужественные и совестливые люди вызвались добровольно сопровождать группу боевиков Шамиля на их разбомбленную родину, чтобы в дороге служить им живым щитом от всевозможных провокаций со стороны «силовиков».

Провокаций ждали все и даже считали их неизбежными. Не исключалось, что колонну автобусов по пути расстреляют с вертолетов, или в автобусах сработают взрывные устройства. Плохие предчувствия усиливали письменные предупреждения, вручаемые добровольным заложникам, как «напутствие» в дорогу. В бумажках предупреждалось, что отныне за жизнь добровольных заложников никто ответственности не несет.

И все-таки они отправились в путь. Ими двигала вечно больная совесть России, предлагавшая себя в качестве добровольной жертвы ради защиты обиженного, слабого и угнетенного. Теперь в роли обиженного выступал «малый народ», над которым висит карающий меч большой России.

Еще в самом начале чеченской войны московский журналист рассказывал, как сопровождал тела погибших чеченцев в одно из горных селений. Женщина, вышедшая их встречать, была вдовой одного из убитых. Слыша ее стоны и плач, журналист чувствовал себя невыносимо.

— Если бы сейчас, — вспоминал он, — эта женщина вцепилась мне в лицо — мне, как представителю русских, убивших ее мужа, я бы не удивился.

Но она собралась с силами, поблагодарила за то, что привезли ее погибшего мужа, и даже пригласила в дом, чтобы мы могли обогреться и поесть. Я не мог не то, чтобы проглотить кусок, но даже смотреть ей в глаза.

Понимает ли Россия, что в этом огне безумия для неё тоже не будет пощады?

Жизнь после смерти октябрь 1999 год:

Ко мне пристают с вопросом мои коллеги-журналисты: почему я так часто пишу о чеченской войне. Ведь это — «чужая война в чужом государстве». В ответ я только пожимаю плечами. А разве можно сегодня писать о чем-то другом? Нет более «кровоточащей» темы. По отношению к этой войне можно безошибочно определить тот уровень человечности, что, собственно, и дает право называться Человеком.

Вот уже пять лет, как призрак этой страшной войны приходит ко мне во снах, когда, очнувшись от ночного кошмара, я обращаюсь ко Всевышнему: «Господи, спаси, защити и помилуй этот народ!».

Говорят, народ уничтожить нельзя. Но ведь народ — это люди. Их тела беззащитны перед огненным шквалом. Всего лишь один миллион составляло население республики к началу войны. Сколько осталось сегодня от этого миллиона? Сколько навсегда искалеченных, не родившихся, родившихся и тут же убитых? В каких нечеловеческих условиях продолжают жить те, кто остался?

Пять лет чеченской войны с трехлетним состоянием между войной и миром в разбомбленной стране с парализованными системами жизнеобеспечения напоминают вялотекущий кровавый боевик современного российского образца. Запутанность, ложь, непредсказуемость.

«Чечня-2»

Разворачиваются подробности второй серии боевика «Чечня-2». Что отличает первую военную кампанию от нынешней? Многое. Исчез стыд. Уже никто не стыдится ни бомбежек, ни многочисленных жертв. Ни политики, ни Дума, ни журналисты, ни сама Россия.

— Бороться за любовь с помощью насилия и пушек преступно! — взывала со своих страниц «Комсомольская правда» сразу же после вторжения федеральных войск на территорию Чечни.

Некоторые политики заигрывали с боевиками, вели переговоры с Дудаевым, а иные журналисты даже умудрились брать у него интервью. Наверное, тогда никто не воспринимал войну всерьез. Кое-кто даже собирался решить проблему за два часа с помощью одного-единственного парашютно-десантного полка. Директор

Федеральной службы контрразведки — тот вообще был уверен, что население Ичкерии встретит российские войска чуть ли не с хлебом-солью...

Сегодня все изменилось. Федералы бомбят с воздуха все, что движется. В привычный лексикон вошел, обретая вторую жизнь, омерзительный термин «зачистка», воскрешая образы бездомных котов из «Собачьего сердца», чьи шкурки шли на «польта» для пролетариев. Но здесь уже не коты — здесь объектом «зачистки» становятся свои же соотечественники.

Запад хмурит брови, грозит пальцем, говорит о гуманитарной катастрофе в Чечне. Москва огрызается в ответ, заявляя, что это ее внутреннее дело.

Корреспондент газеты «Версия» весело ёрничает, описывая поездку Ельцина на очередной саммит ОБСЕ, где должна обсуждаться чеченская проблема: «Полетел наш гарант, акы сокол ясный, в далекий бусурманский край. А там собралось народу видимо-невидимо, и все такие сердитые. Каждый норовит вопрос задать с подковыркой... А что отвечать, гарант и не придумал. Потому что спал в самолете по привычке. Отчего как гаркнул на всех: «Спокойна-а-а!».

Все и успокоились...».

Британцы рассуждают о том, что если русские и победят, то победа, скорее всего, окажется пирровой. Контроль, установленный федеральными войсками, останется условным. Солдаты будут прятаться в окопах, а боевики — свободно разгуливать по своей территории.

В Дагестане федералы, подойдя к торговому киоску и не получив требуемую водку, открыли прицельный огонь. Сидевшая в киоске девушка скончалась на месте.

Какими вернуться эти русские парни домой? Они вернуться, неся в себе эту войну. Их уже трудно назвать людьми.

Мода на жестокость и кровь

октябрь 1999 год:

Галопом промчавшись по коридорам свободы, вкусив ее сладких и горьких соблазнов, российская журналистика уткнулась в глухой нравственный тупик.

Бодряческие репортажи с места событий на Северном Кавказе вызывают отвращение и страх. Один из вертолетчиков, бомбивших ущелье под Ведено, рассказывает журналисту, как после «взрыва

в полнеба» он начал расстреливать разбежавшихся людей. Нет, он совсем не уверен, что то были боевики.

— Но в тот момент это не имело значения! — с чувством выполненного долга заявлял он.

— Бывает, что вертолетчики ошибаются и в их прицел попадают мирные жители, те же беженцы, — заботливо поясняет военный репортер. — Вспоминать об этом пилоты не любят.

Еще перед овладением федералами Грозным журналист еженедельника «Версия» размышлял о том, как отразится на психике победителей эта тотальная война на поражение всего живого. С чувством патриотической озабоченности рыцарь пера предупреждал:

— Когда боевиков начнут выкуривать с гор, убивать придется много.

Такого нравственного «опущения» за всю историю отечественной газетной мысли, кажется, еще не было. В советские времена журналистика была всякой: соглашательской, двойственной, трусливой. Однако в основе своей она тяготела к человечности. Эта показная мода на жестокость — откуда, из каких глухих нор сознания и подсознания?

«Мы будем мочить их в сортирах!»

— пообещал новый самодержец России, бережно приняв из окровавленных рук своего предшественника чудовищный пятилетний груз гражданской войны, которую огромная страна ведет с одним из своих «малых народов».

Преступление против человечности уже совершилось, и его нужно было оправдать любым доступным и недоступным способом.

Напрасны запоздалые призывы, наконец-то прозревшей Валерии Новодворской — признать факт Преступления и прекратить безумие. Новые политические мессии России, как и она еще недавно, не желали видеть в своих противниках и оппонентах живых людей. Только — «злой черный туман», в который необходимо стрелять.

— Стоило ли начинать реформы, чтобы потом отдать страну Лубянке? — взывала к народу Новодворская.

Но ее уже никто не слышал. Ее даже побаивались печатать в России, и потому она вынуждена избрать своим рупором украинскую газету «Сегодня».

— Чечня населена нормальными людьми, — убеждала она. — Они были вынуждены взяться за оружие, когда на их территорию

ввели войска. Экстремисты — не они в этой ситуации, не Масхадов, человек очень умеренный. Экстремистами являются генералы, которые сейчас там совершают преступления против человечества.

Поздно, голубушка, слишком поздно. Сегодня в России востребованы новые герои — не разоблачители, а оправдатели, в том числе любой мерзости.

Взять хотя бы того же Сергея Доренко, который постоянно врывается в мой дом со своей авторской программой — этим сплошным «мочиловом в сортирах». Вот кто сегодня нужен. Вот кто сегодня в чести.

Хорошо поставленный голос, твердый немигающий взгляд и волнительная манера сглатывать в самый напряженный момент. Говорят, этой манерой он зомбирует своих телезрителей.

Вот Сергей Доренко ведет репортаж из «освобожденного» Грозного. С чувством победительного восторга говорит о количестве убитых и подорвавшихся на минах «врагов». Сетует, что не удалось их всех уничтожить. Намекает генеральскому чину, что вряд ли стоит оставлять в живых военнопленных. Подлечившись, они ведь снова смогут взяться за оружие.

Апофеоз всей этой победной истерии — некое «поле чудес», организованное Доренко на площади Минутка в Грозном. Русские парни передавали приветы родным и заявляли о намерении «идти до конца». Один из солдат предложил перенести республику Ичкерия прямехонько на Соловки.

*

В российскую глубинку нескончаемым мрачным потоком продолжает поступать «груз 200» — тела солдат, погибших в Чечне. В русских соборах служат панихиды по убиенным. Тюменские матери не могут ничего узнать о своих сыновьях. В первую чеченскую войну им разрешали ездить в Грозный, искать там своих детей. Теперь дальше Моздока не пускают.

Дети Чечни ноябрь 1999 год:

Первая группа чеченских детей из Грозного была доставлена сюда, под Харьков, в пригородный санаторий «Елочка», в двадцатых числах октября. После всего пережитого стремительно нахлынувшая тишина казалась поначалу оглушительной. Тишина из довоенной и давно забытой жизни. Их погрузили в мир, где не было ни руин, ни бомбежек. Только — сосны, осень и прозрачная тишина огромного мирного неба. Но война гналась за ними по пятам даже здесь.

Три сестры

В той, теперь уже невообразимо далекой мирной жизни, жили три девочки. Старшую звали Шерипат, среднюю — Хадижат, а младшую — Фатима.

Судьба не баловала их, послав всем троим суровое испытание ранним сиротством.

Хадижат с Фатимой оказались в детском доме, где царил суровый казенный порядок. Обе тосковали по семейному теплу, но особенно страдала младшая — Фатима. Она часто плакала, звала во сне маму, и Хадижат, пытаясь хоть как-то ее утешить, прибегала в «малышовую» группу с каким-нибудь гостинцем для сестры. За это «самоволье» она не раз получала линейкой по пальцам.

Бывало, увидев летящий самолет, сестры прыгали и кричали:
— Полети на палочке, увези нас к мамочке!

Потом сестры выросли, и началась их взрослая жизнь. Специальное образование Хадижат не получила, однако всегда имела склонность к медицине: научилась делать уколы, перевязки, ставить капельницы. Во время первой чеченской войны у нее это хорошо получалось.

*

Когда в 1996 году в Грозном начала понемногу налаживаться мирная жизнь, комендант города Асламбек Ислаимов предложил Хадижат взять под свою опеку семерых бездомных сирот, вернувшихся из Дагестана. Молодая женщина поначалу колебалась — куда их брать? Чем кормить? Но комендант настойчиво повторял:

— Ради Аллаха, позаботься о них, мы тебе поможем!

Она привела к себе в дом семерых. Муж поначалу растерялся: самим ведь есть нечего и жить фактически негде. Но потом все как-то наладилось.

Детям выделили чудом уцелевшее помещение в центре Грозного. Во время войны здесь была солдатская казарма, остались двуярусные кровати. Ничего, кроме матрасов, не было, даже одеял.

Но дети были счастливы. У них появилась семья! Рыская среди руин, они находили тумбочки, столики, домашнюю утварь. И все это несли к себе домой.

Они сразу же стали называть Хадижат мамой. И она почувствовала, что привязалась к детям, что они становились ей родными.

Не отдавай нас никому!

С каждым днем их становилось все больше. Ребята искали и находили среди руин, в подвалах, на базарах таких же бесприютных сирот, как они сами, приглашали их в свою «семью». Типичные дети войны — брошенные, неухоженные, завшивленные. Многие попрошайничали, подворовывали, нюхали клей, имели весь «букет», оставленный в наследство войной и разрухой.

Попав в «семью», они менялись буквально на глазах. Хадижат понимала, что ей придется оставить работу и заниматься только детьми. Она начинала видеть в этом смысл своего существования.

Как-то к ней явилась представительница городского детского приюта и потребовала, чтобы дети были переданы ей. Ведь у Хадижат не было специального образования.

— Чтобы быть матерью, совсем не обязательно быть ученой, — горячо возразила Хадижат.

Но тревога, что детей заберут, осталась. Однажды, вернувшись после работы домой, она с ужасом обнаружила, что детей нет. Они исчезли, оставив ей записку: «Если ты нас отдашь чужим людям, мы тебе этого никогда не простим. Родители не должны никому отдавать своих детей».

В ту ночь вместе с сестрой Хадижат разыскивала детей в подвалах и среди руин, но не нашла. Они явились только на следующий вечер. Они явились сами и почти хором сказали:

— Мы были неправы. Но обещай, что никому нас не отдашь!

*

Жизнь постепенно налаживалась. У кого-то из детей объявлялись родственники и забирали их к себе. Пошла благотворительная помощь. Представители миссии ОБСЕ выделили Хадижат деньги на ремонт помещения, купили удобные кровати, большой холодильник, а в подвале оборудовали прачечную, столовую и кухню.

Теперь Хадижат помогала ее младшая сестра Фатима — та, что когда-то горько плакала по ночам, зовя маму. Сестры очень хотели, чтобы их семейный дом ничем не напоминал холодный приют, где обеим пришлось провести свое безрадостное детство. И дети это чувствовали.

Вы не спасете детей!

Хадижат родила сына в августе 1999 года в Литве, куда она вывозила своих питомцев по приглашению местных семейств и благотворительных организаций. Они возвращались домой поездом «Москва-Грозный» — с новорожденным на руках. Было 29 августа, канун второй чеченской войны.

...Когда начались массированные бомбардировки Грозного, сестры надеялись, что, может быть, удастся переждать на месте страшное время. Но налеты становились все яростнее, ожесточеннее. Дети практически не покидали подвал.

В это время Хадижат познакомилась со многими иностранными журналистами. Они ехали сюда, в Грозный, из Америки, Италии, Германии, чтобы поведать миру об этой второй чеченской войне.

— Вы не спасете детей, если останетесь в Грозном! — не раз повторяла Хадижат чешская журналистка Петра Прохазкова.

С ее помощью удалось вывезти детей в миграционный лагерь в Троицке. Условия в лагере были приближены к экстремальным. Тринадцать матрасов на тридцать пять человек. Ни одеял, ни подушек, с едой — проблемы. Если получали по «гуманитарке» пару килограммов гороха — уже счастье... Прежде, чем пробиться в Харьков, всего пришлось испытать.

Наш ночной Париж

...Я держу на руках крепенького малыша, который широко улыбается своим беззубым ротиком, излучая любовь и доверие решительно ко всем и ко всему. В свои неполные три месяца Абдул Рахман успел побывать под бомбежками в Грозном, дважды пересечь границу с Ингушетией, где находились лагеря беженцев и откуда нужно было забрать новую группу сирот, живущих в холодных вагончиках.

В окнах санаторного корпуса уходящее осеннее солнце золотит верхушки сосен. Сестры с тревогой говорят о своей старшей — Шерипат. После ракетного обстрела в Грозном сестра чудом осталась жива, была тяжело ранена в ногу. Сейчас она с мужем в Чечен-ауле — это в пятнадцати километрах от Грозного.

Муж не хотел ехать на чужбину, в неизвестность. Часто повторял: — Если умирать, то лучше дома!

Сестры не спят ночами: жива ли Шерипат, не разбомбили ли дом...

Фатима вспоминает, каким прекрасным, удивительно зеленым и красивым был ее родной Грозный.

— А знаете, как мы его называли? Мы называли его наш «ночной Париж». Он и в самом деле был таким. Я, правда, не была в Париже, но я видела открытки. Очень похоже.

Лицо Фатимы светлеет, становится молодым и по детски — беззащитным.

— Слава Богу! — говорю я себе. — Они еще не скоро уедут, еще побудут здесь. И малыш к тому времени подрастет.

«Живи на радость маме!...»

май 2000 год:

В тот майский день я везла Милане праздничное розовое платье. Милане исполнилось пятнадцать. За минувшую зиму она вытянулась, повзрослела. Красивая яркая девушка с мягким и добрым лицом. Но в глубине глаз — застыло молчание. Милана любит быть одной и редко улыбается. Она ведет дневник, но никому его не показывает.

— Там очень личное, — объясняет она.

В свои пятнадцать эта девочка успела перенести то, что другим не суждено пережить за долгую жизнь. Отец и мать погибли у нее на

глазах во время первой чеченской войны. Оставшись одна в пустой разбомбленной квартире, она стала вести дневник. Ей нечего было есть. Ей не хотелось жить. Ее чудом нашла Хадижат, спасла, увела к себе, а позднее привезла сюда.

...Снова мир заражен весенним безумием, а земля укрыта фантастически прекрасным зеленым ковром. Просто жить. Просто дышать и быть счастливой уже потому, что рождена и существуешь.

«Цветы покрывают все и даже могилы», — когда-то пела Марлен Дитрих.

А ведь скоро прощаться и с этой долгой тишиной, и с триумфальным цветением украинских садов, лесов и лугов.

— Мы здесь все ужасно поправились, — улыбается Фатима, — санаторное питание, покой, тишина.

Мысленно, сердцем, она уже там, где продолжается эта бесконечная проклятая война. Там их дом.

Вот уже и Абдул Рахман заметно подрос, делает свои первые неуверенные шажки и улыбается своей открытой счастливой улыбкой.

— Почти совсем взрослый, — говорит Фатима.

Спешит по аллее главный врач санатория «Елочка» Федор Иванович Кривошлыков. У него сегодня много забот. Сегодня — прощальный праздник для чеченских детей. Подарков навезено всяких — одежда, призы, книги и, конечно, сладости. Приехали артисты, будут клоуны, иллюзионисты.

Им было хорошо здесь. Налаженный быт, занятия спортом, посещение школы. Ведь многие из-за войны не успели даже научиться читать и писать.

— Вот только с обувью у мальчиков проблемы, — вздыхает Фатима. — Растут, а обувь буквально горит на ногах.

...Мы сидим с Миланой в отдаленной беседке в окружении сосен, и она показывает мне свой недавно написанный стих:

...Пусть дни становятся короче,
А жизнь твоя — еще длинней.
Пусть в жизни будет все иначе —
Красивей, ярче и добрей...
Живи, расти на радость маме,
Счастливой и красивой будь...

Они уезжают домой. Хадижат уже уехала в Ингушетию, чтобы все подготовить к приезду детей. Знаменитый немецкий скрипач

давал там концерт, который посвятил невинным жертвам чеченской войны.

Стук проходящего поезда — как стук человеческого сердца. Мы уже не увидимся.

— Храни Вас Бог! — говорю я Фатиме на прощанье.

Кто убил Анну Яблонскую?

январь 2011 год:

У Анны были плохие предчувствия в канун ее отлета в Москву. Тихий внутренний голос настойчиво повторял: «Не нужно. Этого делать не нужно».

— Но почему? — вслух возражала Анна. — Я должна лететь. Меня там ждут. Я не могу упустить такой шанс.

Для нее, молодого драматурга из Одессы, возможность поставить свою пьесу на московской сцене, была действительно шансом, открывавшим дверь в будущее. К тому же там ее ждала литературная премия.

— Ты когда вернешься? — настойчиво спрашивала ее трехлетняя дочь, сидя на коленях у отца.

— Скоро, очень скоро, — рассеянно отвечала Анна, приводя в порядок бумаги на столе.

— Завтра вернешься? — не унималась дочь.

— Мама скоро приедет, — успокаивал малышку отец. — Ты и соскучиться не успеешь.

*

Самолет выруливал на взлетную полосу. Зимнее солнце ярко светило в иллюминатор. Погода обещала удачный взлет и посадку.

Прилетев в Домодедово, Анна успела послать эсемэску тем, кто в Москве ее с нетерпением ждал: «Я в аэропорту. Скоро буду». Затем она прошла в зал для встречающих.

А потом уже ничего не было. Провал. Конец света. Конец всему. Оскал смерти. Оскал ужаса. Сатанинский мрак бездны, что разверзлась на месте земной тверди, казалось, нерушимого благополучия жизни.

Взрыв

Взрыв в московском аэропорту «Домодедово» напомнил о факте нашей конечности в любой час, в любую минуту. На телеэкране замелькали кадры катастрофы: движущиеся фигурки людей, пламя взрыва, фрагменты тел, лежавших в отсеке. И кровь, кровь. Смятение и ужас.

Затем — растерянная суета. Израненные тела везут к выходу на тележках для ручной клади. Окровавленное осколочными царапинами лицо парня, который все это снимал на видеокамеру. Его слова: «Я жив, я умер».

Позже эти кадры сменили другие. Чиновники высоких рангов с озабоченными лицами произносили подобающие случаю фразы. Слова — как защитная реакция на ужас происходящего. На экстренном телешоу Андрея Малахова все говорили много, горячо и беспорядочно.

Чудом выжившие непосредственные свидетели катастрофы соглашались с тем, что их спасло чудо. Одного защитила колонна, второй не успел сделать несколько роковых шагов в сторону эпицентра взрыва. Известная актриса возмущалась беспорядками и взяточничеством в аэропорту, из-за чего ей, не дающей взяток, пришлось однажды даже распаковывать люстры, которые она везла своей дочери в Афины.

— Чем лучше спецслужбы работают на Северном Кавказе, тем вероятнее возможность терактов в Москве, — с умным видом произнес загадочную фразу московский журналист, участвовавший в телешоу.

Я поначалу не поняла, о чем это он, но его коллега продолжил мысль. Поскольку в аэропорту «Домодедово» взрыв совершила шахидка-смертница, он вспомнил о вдовах боевиков и предложил как-то «разобраться с этим «человеческим материалом», которого там, на Северном Кавказе, «осталось еще много».

Этот представитель московских СМИ, правда, не уточнил, как придется «разобраться» с таким «человеческим материалом». Но догадаться было нетрудно.

Впрочем, сейчас не это было главным. Сейчас сильнее всего был страх. Как защититься от этого ужаса? Ну да, конечно, повысить бдительность милиции и чиновников всех уровней, установить побольше металлоискателей, решить проблему личной безопасности пассажиров в аэропортах.

Но почему только в аэропортах? Минувшие взрывы прозвучали на двух станциях московской подземки. Взрывные устройства там, помнится, тоже были приведены в действие двумя шахидками-смертницами. Тем самым упомянутым журналистом «человеческим материалом», которого на Северном Кавказе «осталось еще много».

А до этого были иные взрывы, в иных местах. Их было немало за все последние годы.

— Ну, неужели не понятно, терроризм — это мировая проблема, и нам ее не решить! — кричал в телекамеру чудом уцелевший грузный москвич в клетчатом пиджаке.

— Да нет, не столько мировая, сколько внутренняя проблема России, — вслух возражала ему я. — Конечно, в любой стране найдется психопат с оружием или заготовленным минным устройством. Мир не застрахован от любого частного безумия. Но здесь, в России, это безумие — не случайность, а неизбежность.

Невозможно безнаказанно, в течение долгих лет, уничтожать народ и при этом не рассчитывать на эффект бумеранга.

Сравнивая войну с волком, который «придет к твоему порогу», Бернард Шоу говорил о своего рода психической эпидемии, для которой нет ни границ, ни таможен.

Но здесь, в России, даже внешних границ для этой чудовищной эпидемии не существует.

Они никогда не простят

Идет многолетняя локальная война внутри большой страны. Напрасно ждать, что в одной ее части будут царить веселье и безопасная безмятежность, а в другой — греметь взрывы и литься кровь.

Шестнадцать лет Россия пытается жить в двойном режиме. Делать вид, будто ничего не происходит, пить сироп, пиво или водку «под чужие стоны». Продолжать карательные операции в Чечне, используя принцип «выжженной земли».

За эти годы выросло не одно поколение обитателей и граждан «выжженной земли». Оно никогда не простит России пережитых в детстве ковровых бомбардировок, убийства своих родителей, загубленной жизни своих детей, ужаса всех последних лет.

Такое ни забыть, ни простить невозможно. Ибо Кровь вопиет. И не будет душе покоя, пока не наступит возмездие за причиненное Зло. Но когда, где и как оно наступит?

*

Долгое время после взрыва в «Домодедово» меня не оставляла мысль. А если это Милана стала той самой шахидкой-смертницей, что, не пожалев ни себя, ни других, привела в действие взрывное устройство? Разум пытался защищаться: не может быть! Но мысль возвращалась снова и снова. Все может быть.

Та пятнадцатилетняя девочка, что показывала мне свой стих, посвященный убитой на ее глазах маме. Та, что, оставшись совсем одна в разбомбленной квартире, писала свой дневник — где она теперь?

Теперь ей уже двадцать шесть. Она могла стать вдовой боевика, для которого война была привычным и, пожалуй, единственным смыслом жизни. Девочка в розовом посреди весеннего сияния золотых сосен — могла ли она привести в действие взрывное устройство? Да, могла. Зло, причиненное ей, отозвалось чудовищным взрывом в московском аэропорту, не пощадив никого.

Оно не пощадило и Анну. Разверзлась земная твердь — и все поглотила бездна. Конец света. Конец всему. Уже никогда не будут дописаны последние акты пьесы. Не прозвучат аплодисменты. И праздничный победительный букет цветов на глазах почернеет и съежится.

Оставшаяся в Одессе трехлетняя дочь Анны будет спрашивать отца, когда же вернется мама. И отец, пряча глаза, станет обещать, что мама непременно вернется. Нужно только ждать.

Так кто же убил Анну Яблонскую?

Уже никогда

Распались пуповина, связывавшая меня с Россией. Слишком много добровольных грехов легло на душу этой страны. И самый страшный — 17 лет кровавой чеченской войны, которая продолжается и поныне. Эта бессмысленно и жестоко пролитая кровь встала непроходимой стеной между мной и Россией. Я не простила ей, как не прощают близкому по крови человеку греха убийства, в котором он не раскаялся.

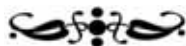
Двадцать лет назад светлые умы России говорили о том, что проблема государственности для их страны — вопрос деликатный, долженствующий связать цепь времен и соединить все фазы русской

истории. И траектория выхода из тупика — не «банановый» патриотизм Ельцина и не горбачевская программа растворения России в западной цивилизации. Речь, по большому счету, — о планетарном проекте, где нет «разносортного» человечества, навсегда застывшего в неорабовладельческой иерархии.

Сохранить себя в качестве великой державы для России значило отстаивать «полифонию» цивилизаций, сосуществование без насилия, подавления и растаптывания. Любые формы насилия грозят разрушением всего и вся. И прежде всего — самой России.

Но когда, скажите, когда Россия прислушивалась к спасительным советам своих светлых умов?

...Уже никогда не вернуться мне в тот благословенный сад, что был когда-то нашим общим домом. Растоптан, уничтожен, принижен, изгажен, проклят.



*Бог истинный создает нас,
Бог ложный создан нами.*



**Души многоразового
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Все Царство Небесное и немного «Вискас»

На слякотных улицах и перекрестках, в переходах метро, бывает, кто-то сунет вам в руку листок, где на фоне клубящихся гор напечатано предупреждение: «Придет День, когда ты предстанешь перед Богом».

На внутренней стороне листка переводчик с английского начинает приставать к тебе с вопросами:

— Сможешь ли ты прожить свою жизнь без греха?

В зависимости от ответа следует тут же разрешить иную, не менее запутанную дилемму:

— Если ты не попадешь в царство Божье, куда ты пойдешь?

Ой, Господи, да откуда я знаю?!

Но религиозный допросник продолжает выкручивать вам руки, предупреждая: единственное проверенное средство спасения души — **«безоговорочная вера, полное доверие и подчинение»**.

Это озадачивает. Конечно, я не прочь получить свою гарантированную праведность прямо здесь, у входа в метро, где со всех сторон ко мне тянутся руки нищих, а слух нещадно режет пронзительная гармоника уличного музыканта со шляпой, лежащей в ногах у шоколадного и цветочного изобилия.

Но что-то в этих посулах «дармовой праведности» вызывает сомнение. Как жалкого котенка, ткнули носом в песок, пообещав, в случае слепого послушания, все царство небесное, а заодно и немного «Вискас».

У меня, рожденной в СССР, — инстинктивная идиосинкразия на любой вид агитации и пропаганды. Тем более, если он требует слепого повиновения. Когда мне говорят, что истинная вера не нуждается в доказательствах, я начинаю требовать именно доказательств, тем самым вступая в полемику с заведомо безнадежным результатом.

Когда мне предлагают заслуживать праведность регулярным посещением храма и неукоснительным соблюдением церковных обрядов, мне становится неуютно, как на профсоюзном собрании, где докладчик почти никогда не верит в то, что он говорит. В такие минуты издевательский внутренний голос начинает допытываться:

«А вы уверены в подлинности полученной информации? Тогда назовите Источник».

Когда воцерковленная на старости лет дама, преподававшая в свое время диалектический материализм, убеждает меня произносить обязательную молитву перед каждым принятием пищи, у меня пропадает аппетит.

Меня отвращают эти нынешние отношения с Богом, как со старшим должностным лицом, которого необходимо бояться, но которого можно умаслить проявлением фанатического чинопочитания, переходящего в верноподданнический экстаз. Эдакий прикладной и понятный боженка, которым можно распоряжаться для реализации своих страстей и страстишек. Нечто среднее между врачом «скорой помощи» и таинственным домовым, с которым можно договориться.

В таких случаях я взбираюсь на символическую кафедру и в окружении вялой толпы любопытных начинаю проповедовать близкие мне по духу истины мудрых и просветленных:

— КОГДА РЕЛИГИЯ ОСНОВАНА НА СТРЕМЛЕНИИ К ОБЛАДАНИЮ, ОНА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЛИЦЕМЕРИЕ И ПОКАЗУХУ, ПОЛИТИКУ И ТОРГОВЛЮ.

*

— БОГ — НЕ ИДОЛ, СИМВОЛ ИЛИ ОБРАЗ. ИМ НЕВОЗМОЖНО МАНИПУЛИРОВАТЬ. БЫТЬ С БОГОМ, ИДТИ К НЕМУ — ОЗНАЧАЕТ ПУТЬ В НЕИЗВЕДАННОЕ. ЭТО ПУГАЕТ. ХОЧЕТСЯ НАЗАД, В ПРИВЫЧНЫЕ УЮТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. ВОТ ТОГДА МЫ В СТРАХЕ СОЗДАЕМ СВОЕГО БОГА — ПОКОРНОГО И ПОНЯТНОГО, СВОДЯ ЕГО К ОБРАЗУ, СИМВОЛУ, ИКОНЕ. НО ТАКОЙ БОГ — ЛИШЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ НАШЕГО РАЗУМА И НЕ БОЛЬШЕ.

*

— И ВЫ НАЗЫВАЕТЕ ЭТО ПОЧИТАНИЕ ТЕНЕЙ, ФИКЦИЙ И ПРИЗРАКОВ РЕЛИГИЕЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНЬЮ? ЦЕРКВИ ВОЗДВИГНУТЫ ЛЮДЬМИ, А ВСЕ, СОЗДАННОЕ ЛЮДЬМИ, НОСИТ ПЕЧАТЬ НЕСОВЕРШЕНСТВА, БОЛЕЗНЕЙ И СЛАБОСТЕЙ. СЛИШКОМ МНОГО ЖЕЛАНИЯ МАНИПУЛИРОВАТЬ, УПРАВЛЯТЬ, ПОВЕЛЕВАТЬ. СЛИШКОМ МНОГО РАСЧЕТА И ПОЛИТИКИ, МНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГЛУПОСТИ.

*

— ХРАМЫ ПОСТРОЕНЫ, ЧТОБЫ ОГРАДИТЬСЯ ОТ БОГА. ВАШИ ИДОЛЫ И ВАША ФИЛОСОФИЯ — ВСЕГО ЛИШЬ УСИЛИЯ ЗАПОЛНИТЬ ВНУТРЕННЮЮ ПУСТОТУ И ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ.

*

— МОЛИТВА — ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ, А НЕ ЦЕРКОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ РИТУАЛ. РИТУАЛ — ЭТО ПОВТОРЕНИЕ, НЕ ПРИНОСЯЩЕЕ РАДОСТИ. МОЛИТВА — УНИКАЛЬНА. ЭТО — МОСТ МЕЖДУ ВОПРОСОМ И ОТВЕТОМ, ЖЕЛАНИЕМ И ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ.

*

— В НАШЕМ МИРЕ ГОСПОДСТВУЮТ БЕЗЖАЛОСТНЫЕ МОНСТРЫ, КОТОРЫЕ ДЕРЖАТ НАС В ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ. ИМЯ ИМ — «СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТЬ», «ЗАВИСТЬ», «ГРЕХ», «ПРОЩЕНИЕ», «РАЗОЧАРОВАНИЕ», «ШАНС». ЭТИМИ МОНСТРАМИ УМЕЛО УПРАВЛЯЕТ АРМИЯ СВЯЩЕННИКОВ, ЖРЕЦОВ И НАСТАВНИКОВ, ОБЪЯВИВШИХ СЕБЯ ПОСРЕДНИКАМИ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И БОГОМ. НО НА КАКОМ ОСНОВАНИИ? ИМЕННО ПОД ЭТИМИ РЯСАМИ ЧАЩЕ ВСЕГО — ИЗБЫТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СКВЕРНЫ.

*

...Именно в этот момент моя аудитория начинает проявлять заметные признаки недовольства и нетерпения. Кое-кто даже собирается подвергнуть меня остракизму.

— Типичная атеистка советского образца! — решительно выносит свой вердикт бывшая преподавательница диалектического материализма.

— Ну, уж нет, дудки-с! — возвышаю я голос до самых высоких регистров, пытаюсь перекрыть растущий гул толпы. — Мне всегда был противен унылый советский атеизм, в который никто не верил. Но и ваша показная религиозность, как попытка договориться с Богом на своем кухонном уровне, — ничего, кроме скуки и сожаления, не вызывает.

И ЗВОН, ЗВОН, ЗВОН...

В молодости я частенько бывала предводительницей коллективных походов в храм на всенощную. Мои друзья и коллеги считали это мое пристрастие чуток эксцентричным, но все же нередко соглашались на подобные ночные бдения, находя в них своего рода шик, кураж, драйв.

Благовещенский собор в такие ночи был окружен плотными кордонами милиции с вкраплением отдельных наблюдателей в штатском. Поэтому я нашла приспособленную под храм действующую церквушку на окраине города, куда мы и направляли своим тесным кружком наши заговорщические стопы.

...Апрельская ночь светилась дрожащими огоньками, и старушки в темных платочках, разложив на полотенцах свои пасхи, терпеливо ждали во дворе наступления полночи. А внутри церквушки — толпа и запах ладана. И чье-то торжественное, почти экстатическое лицо, обращенное туда, где у амвона блестело что-то светлое и праздничное, а сверху звучал знакомый дискант, поющий на клиросе.

А вот и полночь. Бородатый священник, неся крест, торжественно шествует к выходу, а за ним устремляется толпа, унося с собой в весеннюю тьму свои муки, страхи, пороки, надежды на искупление.

И ты вместе со всеми трижды обходишь вокруг церкви. И звон, звон, звон. И ничего, кроме звона, утробно трещащего в темных перекладах деревянной крыши. В эту апрельскую ночь ты вместе со всеми просишь у некоей неизвестной тебе, но доброй и всемогущей силы немного любви, покоя или надежды.

Приди, звон, исполни душу тишины и света. Ничего нет, кроме звона. И ты — часть этого искрящегося серебра.

Слепни и оводы

Удушливый аромат белых лилий смешивался с дымом папироски. Она сидела в саду — большая, величественная, и говорила о деревянных домах, по окна занесенных снегом, о высокой, темной колокольне и острой прохладе реки, куда девчонкой ныряла с обрыва... Она родилась на севере России, недалеко от Архангельска. Из рожденных в семье девочек выжило трое — Анастасия, Валентина и она, старшая из сестер — Варвара. Отец был сумрачен и строг.

В состоянии раздражения он говорил своей тихой и покорной жене: «Служить — так служи, а нет — так и фартук отвяжи».

В шестнадцать лет русая красавица Варенька объявила отцу, что выходит замуж за Ильюшу. Отец дал свое благословение на брак. Но потом случилась Беда. Молодые летели на коньках с высокой ледяной горы. Ильюша неудачно упал и разбился насмерть. Юная вдова в отчаянии ушла в Соловецкий женский монастырь, где собиралась принять постриг. Но пришло письмо, где больной отец просил дочь вернуться и позаботиться о младших детях.

На прощание отец Феодор напутствовал Варвару, уже имевшую церковное имя — Валерия:

— Иди в мир, дочь моя. Но знай: там тебя будут больно кусать слепни и оводы.

Я смотрела на нее — большую, в темной капоте со стриженными седыми волосами, и мне не верилось, что это и есть та самая юная Варенька с длинной русой косой. Для меня она всегда была бабушкой, которая, приняв меня в смертельных родовых муках своей дочери Марии, сказала ей:

— Посмотри на это чудо. Она родилась в рубашке. Мы назовем ее Тамарой. «Прекрасна — как ангел небесный, как демон — коварна и зла»...

Мое имя всегда казалось мне не моим. Мне хотелось легкого, веселого и прозрачного имени.

Но бабушка не соглашалась со мной. Ей нравился Лермонтов с его ангельским Демоном или демоническим Ангелом.

Мне хотелось узнать у бабушки, сбылось ли предсказание отца Феодора насчет слепней и оводов и больно ли они ее кусали. Ведь я почти ничего не знала о той даме со сложной прической и медальоном на длинной цепочке, какой она была изображена на давней фотографии. Я чувствовала, что эта неизвестная мне жизнь была исполнена нешуточных страстей и преодолений. Подумать только: опять вдова, но уже с двумя девочками на руках — в большом доме со множеством комнат — посреди бушующих волн революции и гражданской войны.

— Тебе действительно приходилось переодеваться в мужское платье и носить в кармане дамский браунинг? — восхищенно интересовалась я.

Но бабушка считала, что мне еще рано погружаться в такие глубины и обещала все рассказать потом. Но «потом» так и не случилось. Как-то, уже в отрочестве, я застала бабушку плачущей. К тому

времени она переселилась в полутемную комнату с окном, выходящим на веранду. Она не ладила с отчимом и страдала в атмосфере его нелюбви и растущего одиночества. Когда я вошла к ней, по радио звучала удивительно прекрасная мелодия. Я видела, как бабушкины слезы блестят в глубоких морщинках лица, но меня почему-то раздражала эта плаксивость.

Погода была чудесная, хотелось к солнцу, в сад, хотелось движения и радости. Я так и не узнала, почему она плакала в тот день, и это будет потом долго мучить меня в моих взрослых снах.

Однажды бабушка сказала мне: «Бог — везде, но только не в храме». Она носила на груди крест и ладанку с молитвами. Но не была святошей — в отличие от своей сестры Анастасии, на старости лет певшей тоненьким голосом на церковном клиросе. Варвара была бесконечно добра к тем, кто нуждался в ее помощи, но сама помощи ни у кого не просила. Даже у Бога.

Она пекла удивительные куличи на Пасху, однако на всенощную не спешила. Мне кажется, там, в Соловецком женском монастыре, за годы своего послушания, она увидела чудовищную изнанку покаянного служения Богу, и та ее навсегда отвратила.

Комната для жокеев

...Много позднее, когда бабушки уже не было, я перевезла ее библиотеку в комнату для жокеев, служившую временным пристанищем для многих моих коллег. О таких домах Владимир Луговской писал:

«В бревенчатом толстом домишке на Масловке

...Бормочут еще патефоны

Глухие, как полночь, чарльстоны...

Жокеи с бегов торопливо стремятся выпить

И хвалят своих лошадей

С непонятными гордыми именами:

«Эксцельсиор», «Лорд Четем»,

«Миранда», «Сюррей», «Лаэтами»...».

Тот двухэтажный домик был не бревенчатым, а кирпичным, и он загадочно и уныло светил стеклами своих старых окон в глубине забытого Богом и людьми чахлого дворика в самом центре города. По преданиям здесь, на втором этаже, жили жокеи, которые по вечерам устраивали в этих комнатах свое привычное «конское веселье».

В одну из этих комнат я перевезла вместе с бабушкиной библией и своего любимого красавца-коня из литой бронзы, который, склонив голову, пощипывал травку, картинно отставив блестящее копыто.

В этом новом для себя прибежище мне захотелось вновь открыть для себя Книгу Книг, чтобы найти в ней ответы на главные вопросы бытия.

Мне было уже тридцать лет. Но я ничего не находила. Какие-то несвязные, припорошенные пылью веков невразумительные истории с демонстрацией странных убогих чудес на фоне доисторического мрака сознания. Я искала и не находила здесь Бога. Бог был везде, только не в этой книге.

Позднее потомки лошадников, как-то заскочив ко мне в гости, в пылу своего конского веселья умыкнули Библию вместе с конем литой бронзы... По своей наивности я не сразу обнаружила обе пропажи. А когда обнаружила, на их месте зияла злая хохочущая пустота.

Кто читит начальство, тот читит и Бога

На место романтическому флёру приходило холодное прозрение.

На протяжении всей советской истории мы привыкли слышать, что церковь у нас отделена от государства. Но это были только слова. Наша православная церковь слишком долго и слишком тесно прислонялась к государству, чувствуя себя уютно и комфортно — вначале в роли его союзницы, потом — в роли служанки, а при советской власти — и в роли осведомительницы. В восьмидесятые годы прошлого века уже ни для кого не было секретом, что списки крестившихся исправно предоставлялись нашей церковью «кому надо».

Помню Гольдберовскую церковь, где мы собирались крестить новорожденную, а ее крестным отцом должен был стать мой супруг. Какая-то хмурая баба в линялой кофте, сидя за деревянной перегородкой, старательно вносила паспортные данные моего мужа в специальную амбарную книгу. В паспорте не указывалось место службы, и потому она строго спросила у мужа, глядя поверх своих круглых очков:

— Вы чем работаете?

Муж растерялся и стал что-то путано объяснять бабе за перегородкой. Ему совсем не улыбалось иметь неприятности на работе в связи с нынешней ролью «крестного отца».

Позднее мы с ним не раз искренне хохотали, вспоминая это сакраментальное: «Вы чем работаете?». Хотя в тот момент нам было не до смеха. Кто знал, как все обернется?

Когда рухнул прежний режим, на смену бывшим «хозяевам» и «покровителям» с их демонстративным атеизмом напоказ пришли новые — все те же партийные бонзы, которые теперь демонстрировали «атеизм навыворот» — повышенную религиозность и стремление «засветиться» под прицелам телекамер во время церковных праздников.

С некоторых пор это стало чуть ли не признаком хорошего тона — присутствие на пышных церковных церемониях высших государственных чинов со свечами в руке, в окружении умеренной толпы телохранителей и домочадцев — как части экстерьера.

Натужная демонстрация полного единения церкви с преступно-безбожным в своих намерениях и деяниях государством придает ситуации пикантный характер с оттенком легкой непристойности — как если бы высокое духовное лицо, лихо сбросив клубок и рясу, пустилось отплясывать канкан.

Почему Церковь молчит?

С падением «безбожного режима» и «смертью атеизма» православная церковь стала претендовать на роль чуть ли не носительницы новой государственной идеологии, а заодно — и духовной спасительницы общества.

Дважды в год, на Рождество и Пасху, мы становимся коллективными телезрителями пышных церковных радений и кадений — с песнопениями, золотом церковных риз, что мелькают посреди пышных букетов. Это умиляет и впечатляет. Особенно поначалу. Но потом это становится чем-то наподобие сверкающего шоу-балета на льду или когда-то очень популярного танцевального ревю из Фридрих-штадт-палас.

...С самого начала страшной чеченской войны в России меня не покидала тревога: почему церковь молчит? Казалось бы, всё и вся, имеющее честь, сострадание, совесть, не могло сдержать рвущего из груди вопля протеста.

Почему же молчит православная церковь? Ведь Бог един, а, значит, Истина тоже едина. Когда на твоих глазах дрожит не одна «слезинка ребенка», а текут целые реки крови и слез невинно убиенных

и ежечасно убиваемых младенцев, какое же нужно иметь сердце, чтобы молчать?

Когда горит крыша храма, преступно бормотать о необходимости лишь внутреннего очищения. Конечно, если речь идет не о добровольном сожжении... Необходимо погасить огонь и очистить помещение от ядовитых паров, а уже потом править службу. Почему же молчит церковь?

Необходимость говорить ясным языком Евангелия требует большого личного и гражданского мужества, исключаящего равнодушные и душевную загрубелость.

Помню, в октябре 1993 года, в канун расстрела из пушек в Москве Белого Дома, патриарх Алексей пригрозил анафемой будущим виновникам кровопролития.

Однако, когда настоящее большое кровопролитие все-таки случилось, никакой «анафемы» не последовало. У патриарха забарахлило сердце.

Спустя время иной духовный чин с телеэкрана живо полемизировал с теми, кто допытывался, кого все-таки следовало предавать анафеме — расстрелянных или тех, кто расстреливал? И священник, с отнюдь не божеским блеском в глазах, с холодным цинизмом истинного современного политика пустился в запутанные рассуждения о том, что такое «анафема вообще» и какую пользу на тот момент она могла принести.

Мы встретились и не узнали друг друга

Наше официальное возвращение в лоно христианской религии напоминало встречу старых любовников, которые смотрят и не узнают друг друга. Где прежние милые и дорогие черты? Где ты, бывшая светлая вера и всепоглощающая страсть, способные всё скрасить и всё примирить? Ничего не осталось. Только тяжелое грустное недоумение, смутные обрывки прошлого, замутненные взрывами издевательского хохота Лео Таксиля, превратившего святую кровь Христа в обычную бутафорскую краску, а притчи о Распятии и Воскресении в остроумный анекдот на потребу дня.

Только позднее, перечитывая, как ни странно, «Забавное Евангелие», я вдруг ощутила, сколько обаяния и силы таит образ Христа и вся эта мистическая легенда о нем.

Наг и светел

Он был наг и светел лицом. У него было прекрасное, ни на кого не похожее лицо. Лик просветленного, тонкого, страдающего существа.

Никто не верил в то, что он Сын Бога. Все считали его сыном плотника Иосифа. Иосиф и был его настоящим, земным отцом. Он спас Марию от позора и побитья камнями, узнав о ее беременности, тем самым спасая и будущего ребенка. Он вел себя как достойный муж, не позволив Марии рожать под открытым небом. И он спас малыша от неизбежной гибели, покинув вместе с семьей Вифлеем, где царь Ирод учинил массовое убийство младенцев. Иосиф спасал Иисуса от позора безотцовщины, а позднее учил его своему ремеслу.

Наверное, Иисус ценил это по-своему, защищая отца от всех возможных неприятностей в связи со своим будущим проповедничеством. И только когда Иосифа не стало, решил, что пришел его Час.

Теперь он был свободным человеком и не хотел подчиняться узким человеческим и религиозным догматам. Он был наг и светел. Он не хотел никаких богатств от этого мира, кроме одного — говорить то, что он думал и чувствовал. Таких на Руси звали юродивыми и «божьими людьми». Таких считали почти святыми и потому оставляли за ними право порой говорить горькую и жестокую правду даже царям.

Иисус любил жизнь и отправлялся в путь, собрав ватагу простых парней, таких же бродяг по духу, как и он сам. Он ночевал на голой земле и заботился о пропитании своих голодных учеников. Однажды, в пылу раздражения, он даже заклял смоковницу за то, что она не хотела поделиться своими плодами с его апостолами. Он был живым человеком.

Он умел веселиться и превращать воду в вино, а семью хлебами накормить семь тысяч страждущих и голодных. Его безумно раздражали святоши, фарисеи и книжники с их мертвым учением и мертвыми правилами. Он не понимал, почему должен подчиняться их безжизненной морали. Он бросил им вызов, устроив однажды «раздачу слонов» в храме — с перевертыванием лавок, звоном упавших на пол монет, изгнанием животных, ведомых на заклание.

Он был живой

Его речи были наивны, часто запутаны, но вполне искренны. В его проповедях было много противоречивого и чисто человеческого. Он ненавидел богатство и не любил богатых, отказывая им в праве на «царство небесное». И это понятно, ведь сам он был светел и наг.

Он предлагал людям свою религию, бескровную революцию человеческого духа. Когда святоши и схимники говорили ему, что в храме нельзя лечить по субботам, он отвечал: «Я есмь Храм». Он и был Храмом. Каждый из нас — Храм, пусть даже оскверненный...

Своими действиями и своими речами он пытался внушить окружающим Истину: «Бог везде, но не во храме». Ибо истинный Храм — не снаружи, истинный Храм — есть вы.

Заглянув внутрь себя, человек поймет, что он совершенен. Все, что нужно, он найдет внутри себя — все ответы на все вопросы.

Наибольший грех, полагал Иисус, — сводить Бога к символу, метафоре, знаку, образу, идолу. Сотворив себе кумира, ты пойдешь за ним, но туда, куда захочет он. Ты отдались от своего Пути, от самого себя, предашь свою природу, утратишь Смысл. Не спеши вставать под чужие знамена. Не торопись обожествлять идолов. Все это суета...

Бог есть все. И нет способа передать всё, потому что нет ничего, кроме этого. Бог есть всегда. Бог не может не быть. Бог есть чистое существование. Бог безличен.

Идолы персональны.

Наверное, за эти убеждения его больше всего ненавидели «схимники и фарисеи», присвоившие себе право посредничать между людьми и мирозданием.

Великая тайна обаяния Христа — в том, что он был человеком. Да, просветленным Свыше, но живым, из плоти и крови.

Он нежно любил свою мать, хотя и не всегда был почтительным сыном — особенно, когда родственники в полном семейном составе явились к нему, чтобы объявить его сумасшедшим. Но мать он любил всегда. Он вообще тонко и глубоко чувствовал женскую природу. Он любил женщин, и женщины любили его. Он не был ханжой и всегда находил оправдание большим и маленьким женским слабостям. Ему нравились их прикосновения, и когда белокурые волосы преданной и любящей Марии Магдалины касались его ступней, умашенных благовониями, он не скрывал своих ощущений.

По своему психотипу Иисус был скорее женщиной, чем мужчиной. Не удивлюсь, если когда-нибудь его таковым и объявят. Он был — как тончайшая, вибрирующая на ветру струна. Что-то глубоко женственное, мятущееся было в его чувствах и поведении в канун казни.

Иисус никогда не называл себя Богом. Только — Сыном Божиим, посланным на землю, чтобы выполнить «волю Отца». Он не был готов к страданиям и молил Всевышнего, чтобы тот пронес мимо Чашу физической муки. Уже на Кресте он воззвал: «Вскую оставил меня, Отче?». Он был живым, и этот миг человеческой слабости делает его неизмеримо близким каждому из нас.

Он был живым. И никто не видел его воскрешения.

А, может быть, и не было?

...«Ударил он по толстой, синей книге —
«Евангелие от Марка и Матфея».
Вот мирноносицы пришли к скале,
Где наш Господь был временно схоронен,
...А гроб открыт. И в гробе никого.

...И вдруг на камне, отваясь, крылатый
Веселый юноша сидит, прищурясь...
«— Он улетел, — сказал веселый ангел. —
Он улетел»... И жены уронили
Свои бутылки с благовонной миррой.

«— Его здесь нет! — спокойно молвил ангел. —
А, может быть, и не было. Теперь
Уйдите, ради Бога, от могилы
И не мешайте ангелу стеречь!».

На этой странице «Эфемеры» Владимира Луговского я всегда останавливаюсь и перевожу дыхание. Я снова переживаю эту смерть, как переживают уход последнего в мире дорогого и близкого существа.

«Его здесь нет... А, может быть, и не было?». Все, ни слова больше! Иначе сердце не выдержит и разорвется на кусочки.

*

Схимники и фарисеи превратили-таки живого Христа в идола, икону, символ мракобесия, нетерпимости, сектантской узости, беспощадных войн, Крестовых походов. Они превратили его — Свободное существо, в удобного и понятного Боженьку, которым можно манипулировать в своих узких корыстных целях, которым можно обладать, как обладают приятной и полезной вещью. Они отняли у него главное — его внутреннюю Свободу.

...Сделать Идолом того, кого ты убил, распяв на Кресте. А потом давать всем желающим пить его кровь в виде церковного вина и поедать его плоть в виде церковной просвиры. Приготовить цепь и повесить на шею эту олицетворенную Смерть, как символ благодати и всеобщего спасения. Что может быть ужаснее этого?

Пожалейте мою бессмертную душу!

Христианство обещает личное бессмертие в полном и безоговорочном объеме, включая нашу физическую сохранность. Прозвучит Трубный глас — и все, преданные земле, восстанут из своих могил. Их кости вновь обростут плотью, а глаза воссияют особым светом, как сердца и души, избежавшие глена.

У меня, как и у большинства рожденных в СССР, сохранилась привычка — воспринимать подобные обещания буквально. Картина тотального воскрешения мертвецов, разбуженных Трубным гласом, ничего, кроме ужаса, во мне не вызывает. Пожалейте мою бессмертную душу — такого испытания ей не вынести!

Индуизм, пожалуй, в этом смысле менее безжалостен. Признавая нашу неизбежную физическую конечность, он обрекает наши души на хоровод перевоплощений, делая нас заложниками и жертвами ошибок и преступлений, которые мы не совершали.

Однако теорию душ многоразового употребления недаром называют «кошмаром индуизма». Ведь больше всего мы боимся даже не смерти, а утраты собственной личности во всем ее могуществе и несовершенстве.

О, эти души многоразового употребления! Вначале, говорят, вам доведется побывать в шкуре волка, а уже потом переселиться в тело зайца, чтобы полнее испытать все тонкости отличий между жертвой и хищником.

Вы будете кружить в этом странном и страшном хороводе — игрушке в руках великого Манипулятора, удумавшего поставить бесконечную кровавую Драму с непредсказуемым исходом.

Что-то протестует, что-то сопротивляется этой насильственной Игре. Не жизнь, а какой-то сплошной свальный Грех. Коллективное питье из одной и той же зараженной Ужасом Безнадежности Чаши.

Может быть, лучше уж одноразовые стаканчики, пусть бумажные, но зато у каждого — свой? Неужели вульгарный материализм, на поверку, гораздо милосерднее, обещая после смерти только смерть?

«Утренней зарей умоюсь, вечерашней — обволокусь...»

Зал светился. Зал фонил. Зал жаждал Милосердия. Обманутые и преданные государством, они пришли сюда. Те, кто в мае восемьдесят шестого грудью шли на реактор. Те, кого преступно поздно эвакуировали из Припяти, лишив дома, надежды и веры. Их недавно родившиеся дети... Жертвы апокалипсического зарева Чернобыля. Без вины виноватые в собственных недугах. Униженные мизерностью государственных подачек и оскорбленные в своих лучших высоких чувствах.

Судьба подарила им эту Встречу.

Кажется, на этот раз им все-таки повезло. Тем горьким, запоздалым везеньем, что напоминает яркий солнечный луч, на мгновение прорвавшийся сквозь косматую хмурь облаков. Целых десять дней им предстояло общаться с отличным парнем, который все это время будет говорить с ними о Душе.

Перед ликом той Беды, что застыла в глазах этих людей, у него было моральное право сказать:

— Я такой же, как и вы. Я вырвался из лап смерти. Мой путь познания был долог. Но я хочу помочь вам сократить его. Будем вместе выбираться из беспросветного тумана жизни.

Кто же он, Геннадий Яроцкий? Экстрасенс? Белый маг? Носитель дарованной свыше божественной благодати? Как знать... Единственное, что я почувствовала наверняка: он добрый человек. Роль таинственного пророка и всемогущего целителя изначально не импонирует складу этой натуры. Свое в муках добытое Знание он предлагает на раскрытой ладони: «Я делал так. Попробуйте и вы».

А сама душа — легка...

— Можно ли измерить душу? Говорят, ученые даже сумели измерить ее физический вес — от двух с половиной до трех граммов. Но это скорее всего, — вес не самой души, а той черной энергии, что окутывает ее. А вот сама душа — легка... Все мы — частицы сильной и вечной Природы. И чем глубже заглянем в собственную душу, тем стремительнее сольемся с Душой Природы.

— Что есть вселенская любовь? Можно любить того или иного человека. Но существует любовь, когда любишь все вместе — землю, ребенка, лес, мать, творчество, созидание. Что испытываем мы, слушая прекрасную музыку? Или вдыхая нежные ароматы? Чувство беспредельности и слияния со всем сущим.

— Расскажите про тот стержень, — прошу я Геннадия.

— Ну стержень, как стержень. Обычный, из атомного реактора. С семьдесят третьего по семьдесят шестой, когда служил в военноморском флоте, в частях по сбору радиоактивных отходов, я на них вдоволь насмотрелся. Их обычно в такие свинцовые пеналы вставляли, чтобы не фонили. Потом вода затекла в пеналы, потом морозы ударили, стержни и поползли наверх, «светить» начали. Что делать? Получили приказ — утопить стержни в такой длинной, специально сваренной металлической штуке. Так вот, один стержень согнулся, и нам вдвоем пришлось разгибать его руками.

— Очень напоминает Чернобыль. Там — грудью шли на реактор, тут — голыми руками радиоактивные стержни разгибали. Как же это все трагически по-русски. Ну и что потом?

— Потом? Головокружение, тошнотворный запах. Выпадение волос...

— А состояние клинической смерти?

— Ну, это уже потом было, в восемьдесят втором, мне двадцать семь тогда стукнуло. Все было очень буднично, на даче. Наклонился поднять бревно, а выдохнуть уже не мог. Почувствовал — все. Тело стало чужим, отдельным от меня. И вдруг — покой. И чувство острой красоты и благости слияния с общей энергией. И мысль: «Ну, наконец-то все кончилось!».

— Труба со светом в конце возникала?

— Нет, но перед глазами поплыли какие-то обрывочные знания о жизни — образы матери, жены. И вдруг — лицо сына. И мысль: «Ты нужен ему». А следом, откуда-то изнутри — чувство боли и протеста: «Еще нельзя уходить, не все сделано». Вот тогда душа стала

возвращаться в тело, и все началось опять — дыхание с толчками, с остановками сердца.

— А потом?

— Потом долгие годы мучил страх. Мучительная борьба. Падения, взлеты, черные ямы, борьба...

*

...Все-таки это чудесно — чувствовать свое тело и управлять им. Ведь наше тело — ленивый раб лишь до тех пор, пока пробудившаяся Душа не сумеет сделать его своим верным союзником и другом.

Харьковчанин Валерий Болотов стал инвалидом после того страшного лета восемьдесят шестого, когда во время своего отпуска он по зову сердца ринулся в Чернобыль — выполнять свой гражданский долг. Еще несколько месяцев назад он почти не владел собственными ногами, был на грани отчаяния. Потом — Москва, встречи с Яроцким, курс реабилитации. Сейчас он ходит легко и быстро, свободно приседает и активно занимается йогой.

— Я теперь стал другим человеком, — говорил он. — Не только внешне, но и внутренне. Исчезло хамство. Вот только осталась нелюбовь к бюрократам и к некоторым медикам-фашистам.

В чисто поле, в широко раздолье...

Один из наговоров Яроцкого, переданный ему бабушкой из Архангельской области:

**«Стану я, раб Божий, благословясь,
И пойду, перекрестясь,
В чисто поле. В широко раздолье.
Об светлый месяц, об ясно солнышко.
Утренней зарей умоюсь, вечерашней — обволокусь.
И пойду я в чисто поле, в широко раздолье.
В этому чистому поле, в широком раздольи
Стоит свята апостольская церква.
В этой святой апостольской церкви —
На злат Престоле
Сидит Матушка-Пресвятая Богородица
С истинным Христом на груди.**

**Подойду я, раб Божий,
Поклонюсь пониже.
Матушка, Пресвятая Богородица
С истинным Христом на груди,
Помоги. Сними с раба Божьего
12 родимцев, 12 негодимцев
Азевище, Переполох ище,
Порчу-ломотище. Костоломище.
Из нутра, из живота. Из белого тела,
Из горячей крови.
Из 70-ти жил, из 70-ти суставов.
Из 70-ти костей,
Из ясных очей, из черных бровей,
Из ретивого сердца.
Чтобы не было никаких болей
У раба Божьего
Век во веки. Отныне — довеки.
Аминь.
Будьте мои слова крепки, лепчи,
Крепче камня, ямче булатного ножа.
Аминь.**

(Заговаривать на воду и читать на выдохе).

...Моя бабушка, тоже родом из Архангельской губернии, говорила: опасно передавать другим тайну наговора — сам потеряешь силу. А вот этот черноволосый хрупкий парень не боится, он делится всем, что имеет. И в этом — искренняя и щедрая безоглядность, когда торопливо сыпашь в страждущие ладони все золотые крупинки, накопленные жизнью. Но золото не иссякает.

В напевном звучании старинной русской речи был особый, уже недоступный нам мир бесхитростной чистоты и тайны, позднее чудовищно разрушенный. И когда Геннадий рассказывает о центрах-чакрах нашей энергетической системы, где господствуют семь основных цветов и где вертикаль — связь с Богом, а горизонталь — связь с людьми, я будто воочию вижу это тонкое разноцветье того микро- и макрокосмоса, которым являемся мы. Там, где сердце, — царит зелень, чуть выше, у горла — голубой, еще выше, у глаз, — синий. И совсем наверху — холодная теплота фиолетового предночного неба.

«Утренней зарей умоюсь, вчерашней — обволокусь...».

— Скажите, а страх смерти, он исчез? — спросила я напоследок у Геннадия и поняла, что спрашивать было нельзя. Никакая вера в бессмертие не в состоянии до конца избавить от страха перед неведомым, пронзительной жалости к тому бедному, единственному и прекрасному, что зовется человеческой жизнью.

А еще мне хотелось спросить, существует ли наговор, способный снять порчу с нашего общества, с его двенадцатью родимцами и негодимцами, с его Азевищем и Костоламищем. И если да — то кому и как молиться?

Но что толку задавать вопросы, на которые заранее знаешь ответ...

Господи, здравствуй!

Я поднялась по ущербным ступеням старой заплеванной лестницы — туда, где меня не ждали, хотя вход был свободен для всех. Странная то была свобода — не приглашающая, а какая-то опустошенно отстраненная, равнодушная. Можешь смотреть, а нет — ступай дальше!

...Дом был полон таинственных шорохов. Крысы, а, может, совы... В полумраке виднелась незапертая дверь, и она постанывала на пронзительном коридорном сквозняке.

Я заглянула внутрь и увидела жилище Поэта. Пугающе шуршали на сквозняке оборванные обои, тихо позванивал стекляшками шифоньер. Потерянно пылились книги. Их было много — «хороших, умных, маленьких, больших...». На дне граненого стакана плескалось синее вино. А в окне виднелся странный нездешний пейзаж.

Самого хозяина здесь не было. Но зато здесь присутствовала его Душа. Она витала над всей этой пляской теней и «жизненным погромом», она светилась и фосфоресцировала. И уже не было ни половиц, ни стен, ни потолка. Была Тайна и средневековый замок старого безумца, и свежий ветер, рвущийся над течением горных рек, и туманящее зеркало эхо выстрелов...

В эти минуты я успела рассмотреть Душу. Она была трепещущей, детской, больной и окровавленной. Она была — живая...

...Когда-то мы часто встречались в толпе и на поэтических вечерах. Поэт был сумрачен и странен, о нем ходили слухи и сплетни. В глазах добропорядочных граждан он был потерянным существом. Поэта никто не собирался печатать, потому что никому не хотелось подписывать себе смертный приговор.

Моя однокурсница когда-то с восторгом декламировала его стихи: «Не говори, со мной не сговоришься...». Я слушала ее, и стихи казались мне претенциозными. В сущности, я их не знала...

Потом прошла целая жизнь, а может быть, много жизней. Когда мой взгляд выхватил посреди убогой киосочной пестроты строгий и празднично черный томик стихов и поэм Владимира Мотрича, я испытала странное болезненное чувство. Прожить жизнь, чтобы прорваться из безумия всех прошлых лет с первым и единственным томиком стихов. Прорваться — и куда же? В новое глухое и тоскливое безумие, что бредит чем угодно, только не поэзией...

Как поздно суждено сбываться мечтам человеческим!

Сколько жадного интереса, зависти и почтения мог вызвать лет эдак тридцать назад столь эффектно и со вкусом изданный молодой Мотрич у его собратьев по перу с их невзрачными и тонюсенькими бабочками-однодневками! Но, как правило, почти ничего не приходит к нам в срок. А когда приходит, то вместо жаркой радости триумфатора — только саркастическая улыбка усталости и равнодушия... Слишком поздно...

Хотя, если строго, ничего не поздно, пока мы живы. И есть какая-то большая правда, справедливость и свой особый смысл, что спустя столько лет Владимир Мотрич, вот так необычно, вернулся в свой родной город, — к тем, кто помнит его по кочующим спискам из рук в руки. К тем, кто еще помнит этот глуховатый сумрачный голос, что звучал в небольшом писательском особнячке на Чернышевского.

И все равно — странно и больно. Как же поздно мы открываем своих современников — тех, по лицам которых скользил наш равнодушный взгляд. Заурядный поглотитель кофейных и прочих напитков, незаметный пассажир — и вдруг такое... Поэт и — Поэт милостью Божьей!

Только теперь по-настоящему осознаешь, почему его никогда не печатали ТОГДА. Он был совершенно непригоден для Той системы. Его невозможно было ни причесать, ни урезать, ни подправить. Его можно было только оторгнуть. Он был Другой.

Он был белой вороной в стае черных близнецов-галок. Он уже тогда твердо знал, что у него есть Душа и что имя ей — сомнение... В краткие и высокие минуты своей жизни, оставаясь наедине с собой, он умел быть «вольным на невольничьих галерах». Это было

трудно и почти безнадежно, ведь что ни шаг — «тупики и заборы». Он уже тогда знал: «путь наш прост — просто нету пути...».

Как же это близко и знакомо, когда «ни души — на сотни лет», а вокруг — «шакальи пасти с огненной пеной». Да, это — наша жизнь и наше время. Это и мое жилище — старые ущербные ступени идущего под снос дома, и коммунальный зверинец, и пьяный соседский бред, и крысиный писк вальса, под аккомпанемент которого мы испуганно кружились по «тесному колечку постоянства».

Утраченное время

Странное, иллюзорное время. Еще харьковчанин Эдичка Лимонov пишет свои ёрнические стишата, а в перерыве шьет «фирмовые» брюки для приятелей. По парку Шевченко разгуливает законспирированный агент КГБ, собирая нужную информацию о местных журналистах у празднопокуривающих завсегдаев просторных парковых скамеек.

Не многим из тех бывших «мальчиков» удалось прорваться в будущее. Сошли с ума, спились, уехали, растворились...

Мотричу удалось. Почему? Разгадка тайны, наверное, проста: ему было все равно. Он не хотел ни к чему и ни к кому приспособливаться. Он заранее смирился и с будущим непризнанием, и с будущей нищетой. Он не хотел ничего ни ждать, ни просить у этого мира. И в этой гордыне смирения — разгадка того, почему ему удалось не сойти с ума посреди «тараканьих щелей улиц», скользких выбоин и зарешеченных окон, не раствориться в душном месиве тел и переплавить безысходность и боль в те драгоценные грани поэзии, что заворачивают и берут в плен спустя столько лет.

В одну из ночей Поэт написал слова, которые я бы назвала своеобразным манифестом целого поколения:

«Я лежу, опрокинутый звуками.

Возвращайся, Душа, пробирайся ко мне переулками...

Я — твой лагерь... Я — сгоревший твой дом...».

Творение Поэта имеет свойство вступать в непредсказуемое взаимодействие с настоящим, прошлым и будущим, подчиняясь не физическим, а иным, еще не изученным законам. Тайная логика наития, сновидения?..

Бессмысленно говорить о настоящей поэзии, ее нужно читать, ее нужно пить, как это горькое «синее вино». Нужно вместе с Поэ-

том увидеть, как плавают в красной крови заката дома и как кресты собора намертво вцепляются в кровавое облако. Заметить, как к «простуженной» земле склоняется поржавевший крест часовни, а солнце озябшим котенком спит, пригревшись в ладонях.

Кто же он — этот «охрипший поэт одиночества»? Голодный, затравленный волчонок в предчувствии псовой травли, хромой кот из «застенчивой подворотни»? Праведник, отпетый шут? Или все же — отрок счастливый, посмертно влюбленный в цветочные запахи? Он есть все, ибо он — «есмь». Наше «я» — как узел переплетения великого множества «не я», действующих во времени и ускользающих от определения...

То время, в котором творил Мотрич, навсегда ушло. Окончилось, истаяло. Об этом утраченном времени поэт скажет:

— Где жили мы, там нынче пустота.

То время ушло навсегда — окончилось, истаяло, растворилось. Мы жили в этом выморочном, идущем под снос доме. Там царил полумрак и обитали зловещие совы, летучие мыши и прочие «чердачные пасти». Но в этом была своеобразная эстетика ужаса.

Там было одиноко, очень. Но одиночество помогало строить корабли из ветра и натягивать на реях паруса осени. А внешнее убожество жизни порой только подчеркивало избранность.

Теперь нас выбросило на другую планету. Здесь всё иное — воздух, пейзажи, краски, даже давление атмосферного столба. Но главное — у этого нового Времени — другая пульсация крови, иной характер дыхания, иная частота сердечного ритма.

«Спертым воздухом свободы — как дышать?

Когда еще вчера

Было так просторно, пусто и знакомо...».

*

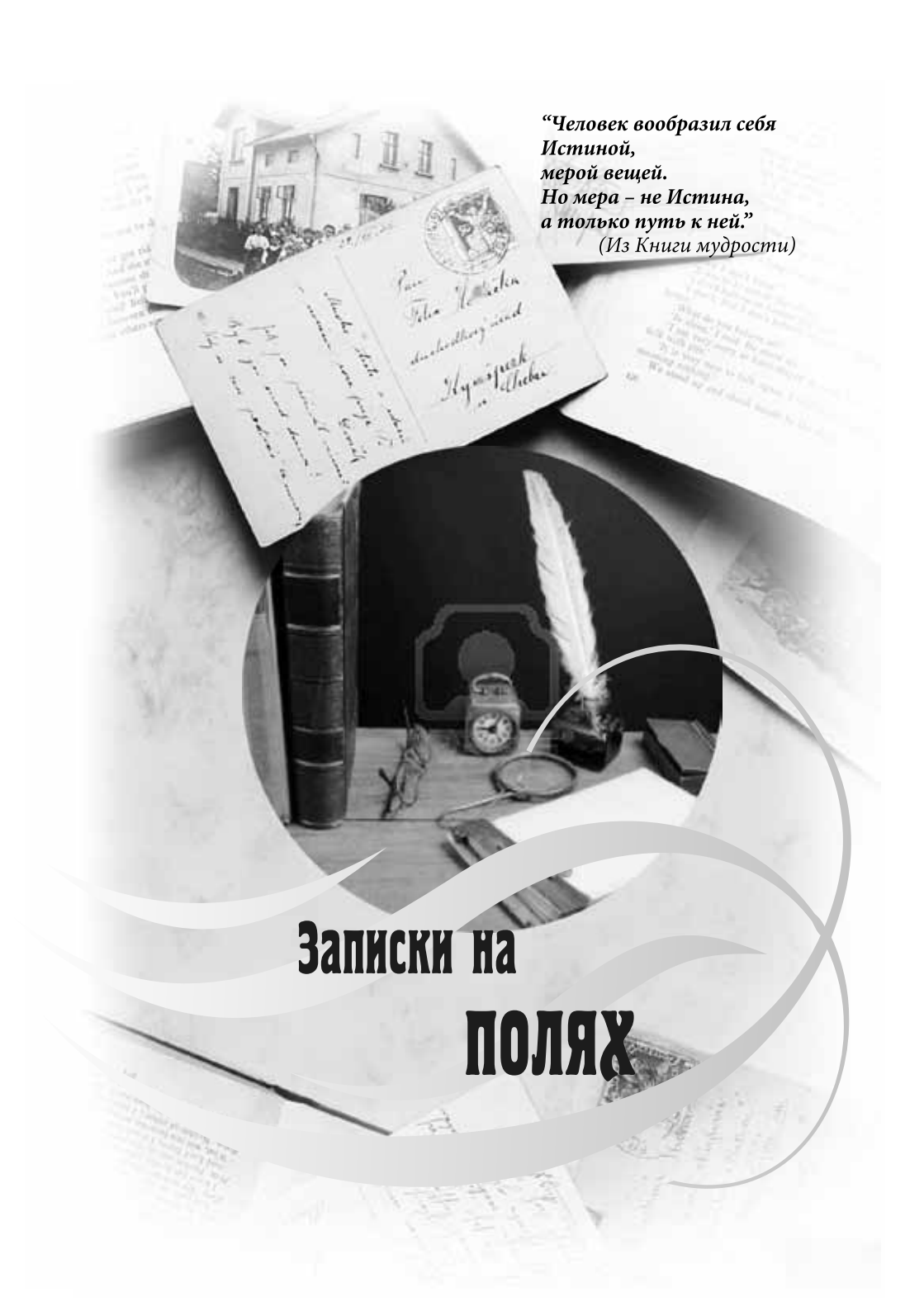
Но есть тайные тропы, невидимые переходы из одного состояния Времени в другое. Прозрение — утешительный приз для тех, кто много страдал и почти всё утратил. Выброшенным во вселенскую пустоту Высшая Сила посылает свой спасительный Знак. Видишь свет за колонной справа? Бог не отвернулся от тебя. Он говорит языком твоего тела. Он жалеет и любит тебя. Но — особой, страдающей любовью.

Он стыдится нашего несовершенства и потому отворачивает свой Лик, дабы мы не могли заметить на нем следов тоски, сожаления и боли.

Так мать стыдится своего дитяти, потому что создала его таким убогим, таким жестоким и жалким уродцем.

«Господи! Скоро рассвет.
На горизонте звезда угасла.
Ночь отступила, кончился бред.
Господи, здравствуй!».





*“Человек вообразил себя
Истиной,
мерой вещей.
Но мера – не Истина,
а только путь к ней.”*

(Из Книги мудрости)

Записки на ПОЛЯХ

*

Станным и двусмысленным был наш советский атеизм. Начертав на своих знаменах «безбожие» и «материализм», страна избрала в качестве своей идеологии весьма оправославленные постулаты, где под атеистическим колпаком все же лежали ценности общемировой цивилизации.

При всем двоемыслии и ханжестве бывшей официальной пропаганды, ее подчас трагическом несовпадении с жизнью, нас с детства учили тому, что «человек человеку — друг, товарищ и брат».

А это — все же лучше, чем то, что сегодня открыто афишируется, как необходимое условие выживания: «Человек человеку — волк, соперник и конкурент. И потому — спасайся, кто как может».

*

Мы жили в обществе, где слова «дружба народов» повторялись чаще, чем церковное «аллилуйя», где эгоизм и холодное стяжательство не преподносились как подвиг деловитости и где «быть» не становилось пошлым синонимом «иметь». Заменяя и как бы «подменяя» религию, идеология прошлого стремилась соблюдать внешние нравственные приличия, и это сыграло далеко не последнюю роль в создании того главного цементирующего стержня, на котором держалась страна с ее пестрым полиэтническим составом.

За кремовыми шторами

Как-то мой бывший ученик двадцать восьми лет отроду со старческой отрешенностью убеждал меня, что истинное место интеллигента в нашем замордованном мире — «оставаться над схваткой». Удалиться от любой борьбы, кроме, конечно, простейшей борьбы за выживание и начать устраивать свой домашний быт. Покупать кремовые шторы, варить варенье, пить с ним чай, читать книги. Удалиться, одним словом, от всей жизненной грязи и попробовать сохранить свою личность нетронутой.

Я только грустно улыбнулась в ответ. Да, заманчиво спрятаться от жестокой фантазмагии окружающего мира за кремовыми шторами. Но наш мир напоминает дикую чащобу, где параллельно сосуществуют две формы жизни: «флора» с ее растительной формой существования и «фауна» (разбойничья шайка, где господствует право сильного над «тварью дрожащей»).

Разгул фауны за окном в образе шакальей стаи так или иначе разрушит растительное существование в тени кремовых штор. Острые копыта пройдутся по тонкому стеблю, даже не заметив этого. Неужели они действительно правы, полагая, что мы «твари дрожащие», а они «право имеют»?

*

В своей «постимперской» реальности мы вдруг оказались в страшном, заколдованном лесу. Отовсюду — невыразительный зловецкий шепот, какие-то непроходимые коряги под ногами, из темноты несутся хохочущие крики сов, душное рычание хищников, слабые стоны жертв.

Все неясно, размыто, нет дороги под ногами, нет света впереди. Но главное — смешались границы добра и зла, мужества и бесчестия, правды и лжи, красоты и уродства.

*

Сбываются предсказания журнала «Россия XXI век»: «Оснований для упований на светлое будущее в связи с концом коммунизма нет. Мы ожидаем в ближайшее десятилетие срабатывания «принципа домино», приводящего к серии идеологических катаклизмов, сбрасывающих следом за коммунизмом не только христианство, но и другие мировые религии, с аннулированием их общего гуманистического стержня. И в связи с этим — **переход от эры «красной» к эре «черной».**

*

Чем безнадежнее и убоже наша жизнь, тем с большим, часто болезненным, любопытством стремимся мы заглянуть по ту сторону незримого водораздела. А что же там? И есть ли что-нибудь вообще?

Мистицизм — модная болезнь всех смутных времен. Реакция общества и отдельной личности на всеобщее сумеречное состояние Духа.

Все мы сегодня становимся мистиками поневоле. Ищем спасения в экстрасенсорике, оккультизме, белой и черной магии. Ищем и, как ни странно, находим. Те, кто не находят — уходят по-английски. Не прощаясь.

*

О личном бессмертии мечтают все — и очень богатые, и очень бедные. Богатые неосознанно реализуют эту тягу посредством накопления денег, строительства особняков, вилл и прочих замков

У бедных такой возможности нет. Но это ничего не меняет. И те, и другие одинаково далеки от бессмертия.

*

— А знаете, наверное, только смерть действительно хуже той жизни, которую мы ведем, — поделилась со

мною милая сорокалетняя женщина, которую хозяин без объяснения выгнал с работы за то, что она поломала ногу. Имея два высших образования, она была вынуждена торговать каким-то тряпьем на базаре.

И, немного подумав, эта женщина добавила:

— Хотя, если честно, я даже в этом не уверена...

Бедные наши души многоразового использования! Стоило проходить через тысячи воплощений, чтобы стать, в результате, тем, что мы есть...

*

В тот день меня ни на минуту не покидала удивительная, давно забытая детская уверенность в собственном бессмертии и в нашем «общем благополучном исходе».

Я точно знала и чувствовала, что наше «я» сохранится. Отныне, довеку и во веки веков Оно слишком огромно, неповторимо и беспредельно, чтобы раствориться в пустоте. Над ним слишком упорно, любовно и долго работали невидимые нам высшие силы, чтобы потом вот так вдруг безжалостно скомкать, выбросить, растоптать, сжечь.

*

В юности я любила стихи молодого Евгения Винокурова. Поэт писал:

«На красной стрелке у метро
Ты показала надпись мне: «Нет выхода».
Нет выхода?
Ты не права!
Нет выхода?
Нет, выход есть!
Его подсказывает честь,
Его диктует наша Страсть.
Есть выход. Не поглотит Пасть».

Нет, не поглотит Пасть. В это не нужно верить. Это нужно твердо и безоговорочно знать.

*

Просветленные утверждают, что истинный Храм должен быть свободен от всего, несущего печать человеческого, а значит — несовершенного и в основе своей — порочного.

Что же тогда остается? Очень многое. Если Творца можно почувствовать только через его Творение, то это — путь для всех, даже для атеистов. Сесть перед цветком — и двигаться в тишину и безмолвие.

*

Храмы созданы людьми. Природа — Богом. Молитва — это диалог с существованием, совпадение с ним, сонастроенность со всеобщим. Молитва — это и диалог, и тишина.

Обратитесь с диалогом к дереву, к реке. Они ответят, отзовутся.

*

Даниил Андреев говорит о своих первых духовных опытах, когда Озарение приходило к нему внезапно — после долгих походов среди лесов и полей. Однажды, жарким летним днем, бродя по Брянским лесам, он пережил неповторимое чувство. То была встреча с незримым существом, охватившим его душу безгрешной радостью, смеющейся веселостью — будто оно любило его всегда и всегда ждало. И существо это — было тончайшей душой небольшой речки — трепещущей, ласковой, беззаботной, полной смеха и нежности, радости и любви.

*

Всю жизнь я мечтала об Озарении — как оправдании и смысле своего существования. Я очень много жертв принесла на этот Алтарь. Но озарение — это

феномен прерывания бытия, его невозможно сделать ритуалом. Оно или приход, или нет.

*

Да, были короткие мгновения, когда я чувствовала себя абсолютно счастливой, глядя на трепещущую, смеющуюся гладь реки. Я чувствовала эту речку как живое существо и молила Бога, чтобы наша встреча повторилась. Но потом я возвращалась в город — и связь исчезала. Все человеческое, суетное не пускало навсегда остаться в тех местах, где я так близко чувствовала присутствие Бога.

Однажды, сидя в высокой траве рядом с высохшей сосной, превратившейся в скульптурного великана, я почувствовала радостную возможность Ухода, слияния со всем сущим. Вы — Бог, деревья — Бог. Есть только Бог...

*

Мудрые полагают, что мир можно уподобить сфере, центр которой — везде. Вы — центр Вселенной. И чувство это никак не связано с эгоцентризмом и «центропулизмом». Это — другое.

Достигнув своего глубинного центра, считают они, вы становитесь не одиноким, но — единственным. Тогда и придет осознание: вы — Путь, и вы — Цель. Вы — Ученик и вы — Учитель. Вы — Средство и вы — Завершение. Наверное, это и есть путь к истинной, а не мнимой Свободе.

*

Человек возомнил себя свободным от морали, от всего, кроме необходимости обогащения. В этот момент из его жизни ушло самое важное.

*

Когда вы охвачены чувством своей важности, своей правоты, вы — мертвы. Ничто не может войти в вас — ни любовь, ни сострадание, ни понимание ближнего, ни возможность увидеть себя со стороны. В этом — проблема человеческого общения.

*

Молитва — это образ жизни, а не церковная технология.

*

Русский духовидец Даниил Андреев писал о том, как жестоко мы заплатились за безусловное историческое доверие к сильному человеку, воспринимаемому за благодетеля человечества. Он говорил о безусловных признаках, отличающих достойного подобной миссии от злого гения народа.

Один — сумрачен, другой — весел духовным весельем. Один укрепляет свою власть казнями и карами, другой — никогда не станет домогаться власти, а когда примет ее — не прольет ничьей крови.

Один насаждает культ своей личности, другому — это отвратительно. Один обуреваем неистовой жадной жизни, второй — свободен от жизненных искушений.

Наверное, в этом и заключается прекраснодушие русского ума — нежелание видеть очевидного. Ведь очевидно же: духовно высокое существо, свободное от жизненных искушений, не станет домогаться власти, а значит, и никогда не будет ее иметь. Скорее всего, это существо будет осмеяно, растоптано и распято толпой. Власть и просветленность — вещи несовместимые. Наступление будущего эона просвещенного человечества остается прекраснодушной мечтой.

*

Мы, непробужденные, страшимся своего подсознания. Мы не видим в нем Благоую Весть. Но именно подсознание подсказывает нам, что истинное «я» существовало всегда — задолго до нашего рождения. И оно — в тебе, во всех птицах и зверях, в траве, деревьях, во всем.

*

Каждый имеет своего Идола. Индуист — своего, христианин и буддист — своего. Каждый имеет идею Бога и Бога-идола, которым можно обладать. Но обладание, любое обладание разрушительно.

*

Если каждое мгновение — это сжатая Вселенная и сжатая Вечность — как волна, олицетворяющая весь океан, значит Бог волнуется в вас в виде одной формы, в ком-то другом — в виде иной.



Александра Стрельникова:
О журналистике как способе бытия
(в эпистолярном стиле)

Я была чистым листом

Наверное, не бывает случайных встреч. Недаром случай зовут языком Бога. Вот, к примеру: еду в трамвае по улице Пушкинской. Жарко, ветрено, хочется пить и поскорее — в тень. Мне — семнадцать лет. Скучая, смотрю в окно.

И вдруг — твоё лицо в толпе. Я тотчас же забыла о жаре и скуке. Признаюсь: меня привлек цвет твоего блузона — сложно-серый, с голубоватым оттенком. Пыльный ветер взметнул воланы блузона и твои волосы. Ты пересекала улицу легким стремительным шагом. Этот сложный серо-голубой цвет я отчетливо помню до сих пор. Для меня, семнадцатилетней, во всем твоём облике была какая-то тайна, разгадку которой мне ещё предстояло постичь.

Я только что окончила школу и мечтала стать журналистом. Хотела поступать в Московский университет имени Ломоносова, но у меня не было ни обязательных публикаций, ни малейшего опыта газетной работы. Ничего не было. Я была чистым листом.

И снова — случай. В журнале «Журналист» на глаза мне попала статья женщины, которая, работая в редакции газеты машинисткой, заодно получала журналистское образование. Почему бы и мне не попробовать?

Но где та газета, в которой я начну? А вот и она. Харьковская молодежная газета, которую я выписывала, предлагала мне посетить школу молодого журналиста. Придя в редакцию, я увидела тебя — ту самую таинственную незнакомку, которую случайно увидела из окна трамвая на Пушкинской.

Когда год спустя я уехала поступать в МГУ, то первым человеком, которому дозвонилась из Москвы, была ты. На другом конце провода бархатисто-знакомый голос меня успокоил: «Не волнуйся, все будет хорошо»...

Это потом, много позже, мы станем жить — сначала в разных городах, а потом уже и в разных государствах. Но сейчас я мысленно возвращаюсь к Началу.

Советы для Алексисы

— Я никогда не смогу так написать, — говорила я тебе, теребя в руках очередной номер газеты с твоим очерком, — понимаешь, никогда... Мне кажется, я и слов таких не знаю...

— Ну, что ты, дружок! Обязательно напишешь. Только напишешь по-своему. Ведь ты у нас юное дарование, — возражала ты.

«Дружок», «юное дарование», «детка», «дорогуша», «Алексиса» — каких только уменьшительно-ласкательных прозвищ у меня не было. «Дружок» заливала юношеские комплексы неполноценности чаем с печеньем. Но то, что слова одобрения, полученные от коллеги, очень много значат, я поняла уже тогда. Подумать, скольких журналистов и писателей мы не досчитались в этой жизни, оттого, что однажды недоброжелатель посмеялся над неумелыми опусами возможных, но так и несостоявшихся талантов.

Один из твоих уроков: «нужно больше читать». Это касалось и занимательной статьи, которую я проглядела, и книги, с которой ты советовала непременно познакомиться. Это сейчас, благодаря Интернету, мы можем прочесть любую книгу, не выходя из дома. А тогда... Тогда я надолго полюбила тишину большого читального зала библиотеки имени В. Г. Короленко. Я приходила туда почитать что-то для души, но и с профессиональным прицелом. Чтобы быть подготовленной к интервью с конкретным человеком, чтобы «не плавать» в незнакомой теме.

Конечно, учась в МГУ, узнаешь много полезного и важного. Но университетские «корочки» не превращают тебя «автоматом» в мэтра отечественной журналистики или в «акулу пера». Мне срочно нужно сдать материал, а я застряла на середине текста и не могу сдвинуться с места. И тогда я спускаюсь вниз, на восьмой этаж, где твой кабинет, читаю написанное. Волнуясь, жду приговора.

— Последний абзац я бы убрала совсем, — говоришь ты. — И еще: следовало бы сместить акценты... Понимаешь, жизнь — не черно-белое кино. В ней масса разных оттенков. Пофантазируй над заголовком. Тема сложная, но стоит того, чтобы об этом писать. Ты — не судья, а журналист. Ты должна не судить, а рассуждать. Будь над ситуацией, даже немного абстрагируйся от нее. Входи в тему осторожно, деликатно — как нож в масло...

Это сравнение — «как нож в масло», — ты знаешь, запомнилось на всю жизнь. Как и советы напрямь воображение, ища заголовки к статье.

— Вначале, как правило, рождается заголовок, а уж потом — материал, — говорила ты. — Если статья написана, а заголовка нет — текст мало чего стоит. В нем нет изюминки, нет шарма, нет структурообразующей идеи.

— А что делать, если собеседник тебе неприятен или вообще мерзкий тип? — интересуюсь я.

— Просто слушать. Твоя задача — слушать и слышать. Главное — он, твой собеседник. Ты же — на вторых ролях. Нужно уметь полюбить собеседника, кем бы он ни был.

Казалось бы, разве сложно — «просто слушать»? Независимо от того, нравится тебе собеседник или нет. Даже если у тебя самой на душе в этот момент «кошки скребут». Просто слушай — и все. Сколько потом в жизни мне встречалось журналистской братии, которая не умела слушать или слышала только себя. Наверное, им просто не повезло и в нужное время рядом не оказалось человека, который бы научил их «азам» профессии.

Чертova дюжина

В те времена мы с тобой работали в Доме печати. Наш общий дом — типовое высотное здание из стекла и бетона на Московском проспекте. Тринадцать этажей. Чертova дюжина. Очевидно, в свое время идеологическое руководство из благих намерений «приблизить журналистов к народу» решило собрать под своим «неусыпным оком» все редакции харьковских газет в самом сердце промышленного гиганта — на шумном и загазованном Московском проспекте. Летом мы задыхались от жары. Кондиционеры были у редакционных начальников, и это казалось жутко несправедливым, ведь рядом был завод под названием «Кондиционер». Зимой наше сооружение продувалось ветрами всех направлений... Но мы выдавали «на-гора» свою газетную продукцию.

Правда, «Комбинат печати» — не ткацкий комбинат, производительность которого исчисляется метрами ткани, закатанными в большие рулоны. Журналистика — труд интеллектуальный, товар штучный. И хотя тиражи газет тоже печатались на огромных рулонах, только бумажных, на выходе все равно, по большому счету, ставилось как бы личное клеймо — фамилия журналиста. Бренд, как принято говорить сегодня. У кого-то он был. У кого-то — нет. Кто-то, работая в редакции, умудрялся годами не печататься. Кто-то печатался, только упорно скрываясь под псевдонимом. Кто-то только руководил. Но читатели пофамильно знали тех, кто писал...

Новый поворот

В те годы мы все любили «Машину времени», особенно — «Поворот». Наверное, потому, что всем нам хотелось перемен. Узнать: а что же там за поворотом — «пропасть или взлет», «омут или брод». Но ведь «не разберешь — пока не повернешь»...

...На календаре пятое мая — наш профессиональный праздник. Мы опаздываем. Ты, Инна Ланкис и я почти вбегаем в зал Театра украинской драмы им. Т. Г. Шевченко. В зале полно журналистов — из телевидения, радио, всевозможных редакций — «больших» и «маленьких». С трудом находим места. Сегодня мы с Инной пришли «болеть» за тебя, нашу подругу. Когда человек из президиума объявил, что ты стала лауреатом республиканской премии «Золотое перо», зал взорвался дружескими аплодисментами.

Потом мы втроем шли по Сумской и, конечно, не могли не зайти в наш любимый «автомат». Ели мороженое, бродили аллеями парка Шевченко. Был чудный месяц май. Точнее его начало — с буйством красок и ароматом цветов. Май 1981 года...

Между графской усадьбой и Журдомом

Потом ты уехала в Москву.

— А хочешь, приезжай ко мне, — предложила ты. Я тотчас с радостью согласилась на эту затею.

Днем ты ездила на встречи с маститыми журналистами и писателями. А я бегала по столичным редакциям, предлагая свои опусы.

Вечером мы возвращались в Кусково — подмосковную резиденцию графов Шереметьевых, которая в современной Москве затерялась где-то между станциями метро «Рязанский проспект» и «Кузьминки». Бродили по заросшему, поэтическому и тогда не очень ухоженному советскими садовниками парку усадьбы восемнадцатого века, размышляя о том, как жили здесь когда-то господа Шереметьевы. Где-то рядом шумела и сверкала Москва, а здесь был свой затерянный мир, полный поэзии и тайны.

И день нашего отъезда из Москвы тоже запомнился. Стояла невыносимая жара. Мы сидели в московском Доме журналиста и пили ужасно теплый напиток «Байкал». Вокруг шумела и блестела пестрыми летними красками столица. Мы были полны впечатлений, строили планы, мечтали. Казалось, жизнь улыбается нам. И откуда-то из динамика неслась популярная тогда песенка о «птице счастья завтрашнего дня» и о том, что, конечно же — «завтра будет лучше, чем вчера»... Было лето 1981 года. Четыре года до начала перестройки. Пять лет до Чернобыля. Десять лет до распада СССР..

Легкое дыхание

Я иногда думаю: сколько живет газетная или журнальная статья? День, два? Неделю? Месяц? Да, у журналистской статьи век недолог. Выходит, прочтено и забыто? Нет, не всегда. Полагаю, все зависит от автора и его личности. От того, как ему удалось запечатлеть

мгновение, увиденное его глазами, прочувствованное его сердцем. Помню многие твои статьи и очерки. И сегодня, как и много лет назад, я лишь по одной фразе могу определить твое авторство. Таков, значит, стиль, таков слог. Всегда в тексте ощущаю твое присутствие.

Ты никогда не выступала «истиной в последней инстанции». Напротив — оставляла простор для фантазии читателя, как бы и его самого вовлекая в поиск истины.

То, что в профессиональной журналистике называется «эффектом присутствия», применительно к тебе, я бы назвала — «легким дыханием». «Как он дышит, так и пишет»...

Хорошо помню: на столе листы с твоей начатой статьей. Чашка с остывающим чаем или растворимым кофе, маленький кипятильник. В одной руке — сигарета. В другой — телефонная трубка. И всегда полно посетителей. Ты готовишь статью. Я где-то прочла: если человек загружен работой и при этом может казаться праздным, он обладает истинным аристократизмом. Фраза вызвала бурю воспоминаний.

И все-таки — что значит писать легко? Однажды на корпоративной вечеринке в редакции одного столичного журнала, когда уже было выпито по бокалу шампанского, кто-то затеял разговор на профессиональную тему. Дескать, поделитесь секретом, кому как пишется.

— Писать надо быстро, легко, как бы между прочим, — сказала я.

Одна дама, услышав мои слова, так на меня посмотрела, что я перхнулась.

Действительно, кто-то пишет легко, быстро — и хорошо. Иной делает это тяжело, долго — но тоже хорошо. Кто-то пишет легко и быстро — но плохо. А кто-то долго, мучительно, тяжело — и все равно плохо. Я давно заметила: как раз те из пишущих, у которых это получается «мучительно, тяжело и плохо», обычно любят руководить теми, у кого это получается легко и свободно. Наверное, в этом своя психологическая закономерность.

Есть только хорошая и плохая журналистика

...У британского журналиста Дэвида Рэндалла есть книга «Универсальный журналист». Она написана о пишущих и для пишущих. Мне импонируют некоторые авторские высказывания. Рэндалл пишет: «...Не существует российской журналистики, польской журналистики, болгарской журналистики, французской, нигерийской, голландской, тайской, финской, исландской, бирманской, латвийской журналистики или журналистики Саудовской Аравии. Есть только хорошая и плохая журналистика.

Также не может быть либеральной журналистики, республиканской журналистики, националистической, атеистической, реформатор-

ской, сепаратистской, федералистской, феминистской или марксистской журналистики. В том случае, когда журналисты своей работой служат этим или любым другим целям, они — вовсе не журналисты, а пропагандисты. Есть только хорошая и плохая журналистика.

Точно так же не существует элитарной и массовой журналистики, журналистики серьезных изданий и бульварных газет. Не существует коммерческой журналистики или журналистика андеграунда, журналистики государственной или антигосударственной. Есть только хорошая и плохая журналистика».

Дэвид Рэндалл замечает: «Хорошие журналисты, где бы они ни находились, всегда будут стремиться к одному и тому же: к умной, основывающейся на фактах, честной в своих намерениях и действиях журналистике, которая служит единственной цели — истинной правде и которая пишется для читателей, кто бы они ни были.

Эта общая цель объединяет их в братство — более крепкое, нежели то, которое дается судьбой, определяющей место рождения или жительства. Из этого братства исключаются многие: те, кто спешит вынести приговор, не дойдя до сути, блюдущие свой интерес вместо интереса читателей, кто пишет между строк, а не в строку, для кого точность — обременительные хлопоты, а преувеличение — инструмент в работе; кто предпочитает туманность — ясности, комментарии — информации, а цинизм — идеалам. Иными словами, те, кто кормится с ложечки и плывет по течению, вместо того, чтобы заниматься тяжелой, кропотливой, скрытой от посторонних взоров работой — выяснять, все, как оно есть».

Хороших корреспондентов Дэвид Рэндалл называет «универсальными журналистами», которым доступны все секреты мастерства. Они могут писать на любые, самые разнообразные темы. С автором трудно не согласиться.

Не мы выбираем время

...Мне кажется, талант зрелого журналиста сродни выдержанному вину. Ведь журналист — не шахтер, однажды физически выработавший свой ресурс, хотя труд его тоже невероятно тяжел. Но постоянная работа мысли — это творческое долголетие.

Оказалось ли «завтра» лучше, чем «вчера»? И туда ли завел нас «крутой поворот»? Не мы выбираем время. Скорее — наоборот. Так вышло, что оно выбрало нас в качестве своих летописцев на крутых виражах новейшей истории. И стало ясно в нашем постсоветском бесцензурном пространстве: «свобода слова», о которой мы когда-то мечтали, и вседозволенность — отнюдь не синонимы. А вот хорошая журналистика — это на все времена...

Теперь я точно знаю: легко писать совсем нелегко. Часто за этой внешней, почти воздушной легкостью — тяжелый, изнурительный труд до седьмого пота, до мучительной ряби в глазах, до полного душевного истощения. А стоит ли дело этого? Наверное, стоит...

Электронная почта. Москва. Александре Стрельниковой.

Дорогая Алексиса!

Поздравляю с изданием твоего дамского романа. Написано легко, со множеством интересных и важных подробностей. Едва получив твою книгу, я стала читать ее, зайдя на минутку в кафе, и не могла оторваться целых два часа. Твои героини лишний раз доказывают, какой жесткий мегаполис — Москва, и как трудно в нем состояться женщине, особенно если она хороша собой, к тому же умна и хочет оставаться внутренне независимой.

Вот тебе и сценарий для будущего телефильма, вернее даже — целых три. Только как все это осуществить?

Ты вспоминаешь о прошлом — нашем общем прошлом. Недавно я оставила в своем блокноте запись: «Изящная, непобедимо юная Алексиса напоминала мне лань, замершую на опушке леса под прицелом оружейного дула».

Тебя легко было представить хозяйкой светского салона, порхающей в струящихся одеяниях на фоне гранитного монолита своего мужа — Командора. Но ты решила стать журналистом. И это у тебя неплохо получалось Правда, поначалу с оттенком некоторой светской легковесности. Я пробовала всячески «утяжелять» твою манеру писать — призывами прочнее стоять на земле, решительнее погружаться вглубь проблемы и наращивать «плоть» статьи, ее «мясо», не ограничиваясь одними лишь воздушными «эклерами».

В таких случаях ты, с характерной для тебя гримаской, переводила разговор на эклеры настоящие, к которым мы обе питали слабость. Наша профессиональная беседа на время прерывалась, и мы спускались в кафе, чтобы заказать кофе с пирожными.

...Целая жизнь прошла с тех пор, и твоя дочь Поленька — уже взрослая девушка. Мы редко видимся. Но внутренняя связь сохранилась. Да и как могло быть по-другому, если нас объединяет столько драгоценных воспоминаний?

Иногда я спрашиваю у себя: а правильно ли я распорядилась собственной жизнью, посвятив ее журналистике? Жизнь — как пауза между двумя текстами. Один — уже напечатан, второй еще не написан. Но пауза — иллюзорна.

Своего гомункула, очередную статью для газеты, журналист лепит из материала собственной души, скрепляя этим воском лоску-

ты жизненных наблюдений, догадок, собственного опыта поражений и побед, украшая ее перышками надежд и фантазий. Иного материала, кроме душевного, у него попросту нет.

Очередной гомункул рождается и умирает точно в срок, как и положено бабочке-однодневке. И ты — вместе с ним.

*«...Эфемериды, легкие созданья,
Для них Господь воздвиг единый день.
Все тленно и неверно, кроме слова.
Случайность и закон — одна расплата».*

*Наверное, это и есть Судьба. Что ж, я ни о чем не жалею.
С любовью и нежностью*

Тамара Логачева.

Оглавление

<i>Альфред Тульчинский. «Я счастлив, что родился в Союзе и не стал стопроцентным американцем»</i>	3
Визитная карточка: Я по национальности — харьковчанка	9
В броне нравственного императива	17
<i>Записки на полях</i>	37
Девушка, мечтающая о принце	47
<i>Записки на полях</i>	83
Свобода печати. Свобода печали	97
<i>Записки на полях</i>	111
Стопроцентная шизофрения	117
<i>Записки на полях</i>	133
От большой политики — к большой психиатрии	141
<i>Записки на полях</i>	163
«Моя мама — чудовище»	177
<i>Записки на полях</i>	221
Гибель империи	231
<i>Записки на полях</i>	267
Страна, которую не жалко (<i>Хроники смутного времени</i>)	277
<i>Записки на полях</i>	297
Война (<i>Хроники смутного времени</i>)	303
Души многоцветного использования	327
<i>Записки на полях</i>	351
<i>Александра Стрельникова. О журналистике как способе бытия (в эпистолярном стиле)</i>	360

Литературно-художественное издание

**ЛОГАЧЕВА
Тамара Михайловна**

РОЖДЕННАЯ В СССР

Технічний редактор
Є. Онишко